**XI**

Весной не было в окрестностях городка более приятного места для выпивки, чем охотничий домик. Он стоял на вершине холма, поросшего соснами, и добраться к нему можно было или по шоссе, которое огибало холм, или по извилистым аллеям сосновой рощи. Здание было построено еще во время первой мировой войны сербскими пленными и служило летней резиденцией какому-то генералу, а позднее перешло в собственность общества охотников, которое стало сдавать его в аренду под ресторан.

В один воскресный полдень в конце апреля двое провинциальных ловеласов медленно поднимались по аллеям на вершину холма. Их опьяняли запахи земли и буйно распускающейся зелени, волновало то необъяснимое томление, которое пробуждает в человеке весна. Ночью прошел дождь, и между соснами ползли прозрачные клубы теплого весеннего тумана, а воздух был наполнен благоуханием смолы и молодых трав. Полюбовавшись с высоты на город, приятели уселись в саду ресторана. Они заказали янтарно-желтой сливовой ракии и заговорили о капризных путях любви.

– Домой я летел как на крыльях, – сказал инспектор. – В темноте едва сумел стереть помаду с губ…

– Выходит, вы только целовались? – спросил директор склада «Родоп».

– Я не решился сразу же идти на большее…

Директор тихо засмеялся, но полицейский инспектор этого не заметил и блаженно потянулся всем телом, обмякшим от хмеля.

– Понимаешь? – продолжал он, лихорадочно закуривая новую сигарету. – Все получилось совершенно непринужденно. И если она начала этот флирт со мной так бурно так естественно… может быть, она меня любит, готова выйти за меня замуж? Тогда прощай служба! Сбрасываю форму и поступаю практикантом в контору ее отца. Через два года сдаю государственный экзамен – и вся клиентура в околии будет моя!.. Ну, что ты на это скажешь?

– Ты был бы хорошим адвокатом, – лениво промолвил директор.

– Да, язык у меня подвешен неплохо.

– Но плохо, что ее папаша изрядный скряга! – Директору не хотелось сразу обескураживать приятеля, и он помолчал, задумчиво похрустывая огурцом. – Он ищет богатого зятя!.. А дед и отец ее теперешнего любовника были ростовщиками еще во времена турок. Денег у них куры не клюют.

– Деньги-то деньги, но не в них одних счастье. Наш приятель человек пропащий, ракия его уже погубила.

– Это верно, однако деньги все-таки при нем. А когда денег много, надо быть сумасшедшим, чтобы от них отказаться. Слушай, братец, теперь все вертится вокруг денег!.. Ты меня спроси: я лучше тебя разбираюсь в этом. Вот тебе пример: богатый человек, дом у него – дворец. Казалось бы, зачем ему торговать собственной женой?… Но склады его набиты залежавшимся товаром. И вот прошлой осенью супруга одного из таких отправилась с Торосяном в Париж. Спустя две недели армянин купил у муженька все его партии товара и сплавил их французскому торговому представительству. Вот как!

– Кто же мог знать, как это произошло? – усомнился инспектор.

– Их видели вместе в одной гостинице.

– А может, они там случайно встретились! – Инспектор старался спасти честь высшего общества. – Может, они просто друзья.

– «Может, может!» Эх ты, инспектор! Ну, рассказывай о своих делах.

– Я думаю, – продолжал инспектор, – если б она решила выйти замуж за него, разве стала бы она затевать флирт со мной?

– О… да еще как! – Директор чуть не расхохотался но, удержавшись, снова положил в рот ломтик огурца и с хрустом съел его. – Впрочем, она относится к тебе достаточно серьезно.

– Правда?

Голубые, но слегка помутневшие от сливовицы глаза инспектора радостно засияли.

– Безусловно, она тебя любит! – Директора внезапно охватило желание подшутить над приятелем. – Лакомый кусочек ты ухватил, инспектор! Большое приданое единственная дочь, воспитывалась в американском колледже. Но вся загвоздка в папе.

– Заставим его согласиться. А если будет упираться, явимся к нему, когда уже обвенчаемся в каком-нибудь монастыре.

Инспектор мечтательно загляделся на сосны, обступившие сад. В воздухе пахло влажным папоротником и фиалками. Воображение рисовало ему богато обставленную квартиру в Софии, адвокатскую контору против здания Судебной палаты и клиентов, которых будущий тесть станет направлять к нему из провинции. Эх, вот это жизнь!..

– Так и будет! – решительно проговорил он, допивая ракию.

– Что? – спросил директор.

– Выйдет за меня, – ответил инспектор.

– Смотри только, как бы чего не пронюхал наш приятель или его отец. Они тебя вмиг уберут с дороги.

– Меня? – Инспектор надменно прищурил глаза. – Как?

– Просто переведут в другой город. Это для них пустяки. При их-то связях.

– Ну допустим, переведут, а дальше?

Пьяные глаза инспектора тупо уставились па собеседника.

– Что «дальше»?… – насмешливо спросил директор.

– А у меня разве нет связей?

– Уж не хочешь ли ты напугать этих людей тем, что ты племянник какого-то проспиртованного отставного генерала? А кто ты на самом деле? Бедняк, мелкий полицейский чиновник на ничтожном жалованье. Да такого любой местный туз может переместить или уволить. Э-эх, инспектор! – В голосе директора вдруг зазвучало сочувствие. – Посмотри на меня: получаю я много, живу широко, делаю что хочу. И все же меня прямо зло берет! Понимаешь? Зло берет!

– Почему? – спросил инспектор.

– Сам не знаю почему, но злюсь!.. Там, наверху, копят деньги, живут во дворцах, открывают счета в швейцарских банках. А мы тут мелюзга, прислужники… Сюртучонок только в этом году отхватил двенадцать миллионов прибыли. Поневоле зло возьмет!

– Высоко летаешь, – осуждающе проговорил инспектор.

– Почему бы и нет? А ты сам разве не высоко залетел, когда задумал стать зятем богатого адвоката?

– Да, но мое желание скромнее.

– Успокойся, все равно ничего у тебя не выйдет. Таким людям, как мы, становится все труднее вырваться из своего круга… Тузы окопались надежно. Если они дают тебе деньги, то требуют за это тоже денег или по крайней мере умения наживать их.

– А мы чем плохи?

– Мы ничтожества и пропойцы.

– Ты опять напился и начал болтать глупости, – с досадой заметил инспектор. – Жалованье получаешь большое да еще премию раз в год, и машина в твоем распоряжении. Будь я на твоем месте, я бы ничего лучшего не желал.

– Нет, желал бы! Директору склада хочется быть районным экспертом, районный эксперт мечтает о должности главного эксперта, а когда станет главным экспертом, пожелает загребать денежки самостоятельно.

– Может, со временем ты и станешь главным экспертом или самостоятельным коммерсантом.

– Да, стану, когда ты женишься на своей… Прости, чуть было не вырвалось скверное слово. Становлюсь циником, черт возьми!.. По горло сыт городскими дамами.

– И потому начал кидаться на работниц? – с усмешкой спросил инспектор.

– Я не кидаюсь, просто они мне теперь больше нравятся. Честное слово.

– Слушай, – серьезно проговорил инспектор. – Ты ведь близок с адвокатом, не так ли?

– Да. Одно время мы часто играли в покер.

– Так вот, при случае замолви ему за меня словечко… Скажи, что я честный человек, имею высшее образование, то да се… Сам понимаешь, что сказать. А я тебе помогу в другом.

– Ты? В чем же ты мне можешь помочь? – насмешливо спросил директор.

– Заставлю Лилу упасть в твои объятия. И упадет, как груша с дерева.

Инспектор скверно и угодливо улыбнулся. Директор почувствовал смутное, давно знакомое отвращение к своему собеседнику. Но сейчас слова инспектора разожгла какие-то угасшие, покрытые пеплом угольки в его душе.

– Как ты ее заставишь? – спросил он.

– Немножко припугну.

– Так, а потом?

– А потом ты встанешь на ее защиту… Понимаешь? Предоставь это дело мне.

Директор одним духом проглотил остаток своей сливовицы.

– Ну и каналья же ты, братец! – сказал он, облизав губы. – Я не люблю добывать женщин таким способом. А впрочем, попробуем, а? Может, что и выйдет.

В распахнутые настежь окна околийского управления щедро вливался запах цветущей сирени из соседних садов. По долине реки, текущей на юг, плыло теплое дыхание Эгейского моря, овевая городок, и потому все здесь расцветало рано. Воздух тоже был теплый и влажный, солнце светило мягко, на ясной синеве неба четко выделялись все еще заснеженные вершины гор. По улице бойко прыгали воробьи, вспугнутые скрипом запряженных волами повозок, от колес которых приятно пахло свежим сосновым дегтем. С пустыря, расположенного против околийского управления и огражденного высоким забором, доносились сухие пистолетные выстрелы. Это полицейские упражнялись в стрельбе. На площади дробно забил барабан. Городской глашатай протяжно объявил во всеуслышание знакомым всем и каждому голосом об очередном незначительном распоряжении.

Инспектор сидел в своем кабинете и медленно перелистывал дело Лилы. За последние месяцы папка заметно разбухла, но серьезных улик в ней все еще не было. Агенты, шпионившие на складах – то были главным образом истифчибашии и мастера, – доносили о деталях ее пропагандистской работы в связи с выборами в профсоюзные организации. Однако слежка за ней в рабочем квартале шла вяло и не давала результатов. Агенты подстерегали Лилу целыми ночами, по она не выходила из дому и никого не принимала. Очевидно, в квартале работала контрразведка, которая знала в лицо полицейских агентов и сразу же оповещала Лилу об их приходе. Интереснее других был один из докладов Длинного. Агент сообщал, что два раза видел, как Лила встречалась около вокзала с каким-то мужчиной. Неизвестный оказался агрономом министерства земледелия. В прошлом он якшался с левыми, но теперь был вне подозрения.

Инспектор закрыл папку и, утомленный работой, посмотрел в открытое окно. Апрельский день, благоухание сирени и размышления об адвокатской дочке делали его рассеянным. Стремясь хоть ненадолго отвлечься от скучных бумаг, он решил проверить, исполнено ли одно из его утренних приказаний. Он дважды нажал кнопку звонка и закурил сигарету. Вошел молодой подтянутый сержант.

– Ну что? Пришла дочь Шишко? – спросил инспектор.

– Ее нет, господин инспектор! Ни на складе, ни дома.

– Куда же она делась?

– Сегодня утром уехала в Софию.

– В Софию? А зачем она уехала?… Что говорит мать?

– Здесь ей не разрешают сдавать экстерном на аттестат зрелости. Она поехала хлопотать в министерстве.

– Пусть рассказывает это кому другому! Наверняка отправилась па партийную конференцию. Надо сообщить в Софию.

Инспектор потянулся было к телефонной трубке, но, вспомнив, что аппарат неисправен, вскипел:

– Слушай, Войников! Что за безобразие!.. Телефон до сих пор не починили. Придется мне кого-нибудь наказать за это.

– Три раза посылал с утра, господин инспектор, – оправдывался сержант. – Техник с почты ушел по делам.

В окно вновь хлынул аромат сирени, и это смягчило гнев инспектора.

– Эх, ну и погодка! – сказал он. – Вот бы сейчас на машине покататься!.. Что скажешь, Войников, а?

– А что ж – давайте поедем куда-нибудь, господин инспектор! Из Средорека вчера вечером звонили, что там опять нашли листовки. Значит, в селе есть ремсисты.

– Махнем туда, а? – Инспектор мечтательно засмотрелся на синее небо, но потом вдруг возобновил деловой разговор: – Слушай, возьми-ка ты списки активистов и немедленно пошли людей выяснить на складах, кто сегодня явился на работу, кто не явился… Отсутствующих немедленно проверить – в городе они или нет.

– Слушаю, господин инспектор.

Инспектор докурил сигарету и, открыв другую папку, погрузился в дело об убийстве Фитилька. Над этой папкой он каждый день ломал себе голову в бесплодных догадках. О лицах, которые увели Фитилька, Стоичко Данкин давал противоречивые показания – сегодня говорил одно, завтра другое. Было ясно, что он не хочет впутываться в это дело как свидетель. Трусливый Джонни тоже заявил, что не запомнил посетителей, и, как дурак, оговаривал совершенно невинных людей. Мотивы убийства до сих пор не были установлены. Агент Длинный, в трезвом состоянии проявлявший некоторые способности к анализу, натолкнул следствие на предположение, что убийство было совершено из мести париями того села, из которого была родом жена Фитилька. Однако расследование в этом направлении не дало никаких результатов. Надо было идти другим путем, но каким?

Инспектор закурил новую сигарету, медленно пуская правильные колечки дыма. Запах сирени больше не отвлекал его. Немного погодя он снова позвонил, но только раз. Вошел молоденький полицейский, дежуривший у двери кабинета.

– Позови начальника группы штатских! – приказал инспектор.

Через несколько секунд в дверях появился Длинный. На этот раз он был подтянут и опрятен. Инспектор пригласил его сесть и поднес портсигар. Важно нахмурившись, агент взял сигарету. Пока он подносил ее ко рту, крупные желтоватые пальцы его дрожали. Инспектор с отвращением смотрел на них: они напоминали ему пальцы мертвеца.

– Много пьешь, братец, – заметил инспектор. – Уже дрожишь.

– А вы не пьете? – мрачно отпарировал агент.

– Пью, да но напиваюсь. В этом все дело.

Агент усмехнулся. «Придет время, когда и ты будешь напиваться!.. – со злобой подумал он. – И тогда не будешь откладывать ни на костюм, ни на белье, ни на красивый галстук, а все жалованье будешь тратить только на водку… А когда не останется денег, чтобы напиться, будешь дрожать, как я». Но инспектор и не подозревал о горьких мыслях агента.

– Ты следишь за рыжим евреем и младшим сынком Сюртука? – спросил он, пренебрежительно глядя на безобразные руки Длинного.

– Нет, – ответил агент.

– Это почему?

– Потому что они анархисты.

– А может быть, они ловко отводят нам глаза?… На прошлой неделе я ехал на частной машине и видел их в Малинове. Что они снуют по околии?

– Группы анархистов есть и в деревне, – сказал агент.

Инспектор умолк и медленно затянулся сигаретой. Взгляд Длинного тяжело блуждал по комнате. Наконец глаза его тупо уставились на красивые руки инспектора.

– Мне пришла в голову одна мысль, – прервал молчание инспектор. – Устроим этим двоим очную ставку с Джонни.

– Нет смысла, – равнодушно возразил агент.

– Почему нет смысла?

– Потому что Джонни помешался от страха и в каждом, кого мы ему показываем, признает убийцу. Даже в переодетом Бойникове признал убийцу, если помните… А обвинить младшего Морева – дело нелегкое. Брат его – важная персона. Так, пожалуй, и со службы вылетишь.

Инспектор промолчал, но в душе согласился с агентом.

– А что у рабочих? – спросил он.

– Ничего. Активисты агитируют за стачку.

– Пусть агитируют. Нам важно нащупать руководителей… Твои люди регулярно следят за Лилой?

– Нет.

– Как так «нет»? – рассердился инспектор. – Ведь я категорически приказывал тебе!

– А за кем вперед следить?… Ребят не хватает.

Инспектор гневно вспыхнул:

– Должно хватать, слышишь? Должно, иначе нельзя Поменьше торчите в корчмах! Устои государства рушатся, а вам на это наплевать!.. Отребье, канальи! Нет, подам в отставку!.. Не могу больше с вами работать!..

Инспектор вскочил и лихорадочно забегал по комнате Лицо его побагровело. Наконец он успокоился и глухо приказал:

– Сообщи секретно в Софию: за этим агрономом из министерства земледелия следить при каждой его командировке в провинцию.

Лила приехала в Софию на областную конференцию и остановилась в пригороде «Надежда» у одного товарища с которым обменялась паролем как-то натянуто и холодно.

Товарищ этот жил в одноэтажном ветхом домишке стоявшем посреди просторного двора, с колодцем и несколькими фруктовыми деревцами в цвету. В домишке было две комнаты, в одной жили, вторую занимала столярная мастерская. Очевидно, домовладелец был не рабочий, а ремесленник.

Лила испытала какое-то неприятное ощущение. То был не страх, а неудовольствие – ведь ей, вероятно, предстояло ночевать под одной крышей с незнакомым товарищем. Она с трудом привыкала к нелегальным встречам, к тому, что на партийной работе приходится быть выше условностей. Незнакомый товарищ оказался человеком небольшого роста, с бледным лицом и серыми глазами. У него были пепельно-белокурые волосы, несколько поредевшие на темени. Он казался очень замкнутым, и Лиле стало не по себе.

– Это ваш дом? – спросила она, входя в комнату.

– Нет, зятя и сестры, – ответил тот. – Они уехали из Софии и временно уступили его мне.

Лила оглядела комнатку. Убранство ее говорило о некоторой зажиточности хозяев: вся мебель – двуспальная деревянная кровать, зеркальный шкаф и ночная тумбочка, – очевидно, была изготовлена самим хозяином дома – столяром. На кровати лежало чистое покрывало ручной вязки, а на стене над нею висела фотография: женщина в подвенечной фате и молодой мужчина с подстриженными усиками, горделиво выпятивший грудь.

– Будете спать здесь, а я в мастерской, – сказал Лиле товарищ.

– Мне все равно, – ответила она с деланным безразличием.

Она хотела показать, что свободна от предрассудков, по в глубине души была признательна ему за то, что он не хочет ее стеснять, и с удовольствием заметила ключ в двери с внутренней стороны.

– Пойду купить чего-нибудь съестного на завтра, – сказала она.

– Все для вас приготовлено, – сказал незнакомый товарищ. – Просто побродите по городу, но возвращайтесь засветло, чтобы не перепутать улиц. Между прочим, в театре «Модерн» идет хороший фильм, советский. Вы обедали?

– Нет.

– Тогда пообедаем вместе.

Лила согласилась, хоть ей было неловко при мысли, что товарищ уже потратился на провизию и к следующему даю. Его материальное положение было, по-видимому, не блестящим. Об этом говорил и совершенно изношенный костюм, и дешевая рубашка без галстука. На вид ему было лет тридцать. Во время обмена паролями он назвал себя Анастасом, но, вероятно, это было вымышленное имя, выбранное им для встречи с Лилой.

Во время обеда предубеждение Лилы против него постепенно исчезло. Он не был такой яркой личностью, как Павел, но в нем чувствовалась безграничная, доходящая до педантизма преданность партийной работе, и это понравилось Лиле. Во внешнем облике его примечательны были только глаза – большие, серые, одухотворенные, они смотрели непроницаемо и холодно, и в них как бы сосредоточилась вся энергия его маленького тщедушного тела. Лиле казалось, что глаза эти видят нечто такое, что стоит выше обычной жизни, выше собственной личности этого человека и ого отношений с другими людьми. Это были честные, но очень холодные и отрешенные от жизни глаза.

– А как дела в ваших краях? – спросил он, прервав затянувшееся молчание.

Лила коротко рассказала ему о тяжелом положении рабочих, низких заработках и неприятностях, чинимых полицией складским организациям. Он задал ей несколько вопросов, из которых явствовало, что он хорошо знает как живут рабочие-табачники и как действуют хозяева администрация и полиция. Но он ни словом но обмолвился о том, как сам он оценивает теперешнюю линию партии. Лила тоже об этом не говорила, но с досадой поду, мала, что незнакомый товарищ старается выудить из нее все, что можно. После обеда она предложила вымыть посуду, но Анастас решительно воспротивился этому.

– Лучше погуляйте, чтобы мне не мешать! – сказал он без всяких церемоний. – Мне надо писать, и я должен сейчас же засесть за работу.

Лила пошла к трамвайной остановке, пытаясь подавить волнение, вызванное тем, что ожидало ее сегодня. Она приехала па партийную конференцию, по какой-то внутренний трепет, что-то глубоко личное волновало ее куда больше, чем сама конференция. Пока она разговаривала с незнакомым товарищем, ее внезапно охватило страстное желание увидеть Павла. Может быть, он уже осознал свою ошибку!.. Может быть, раскаялся!.. А если так, то кто, как не она, должен прийти ему на помощь? Думая о возвращении Павла в партию, Лила не сознавала, что в тот зимний вечер, когда она отказалась стать его женой, она полюбила его еще сильнее.

В трамвае ехали бедно, но опрятно одетые люди, направлявшиеся в центр Софии, чтобы там провести вечер. Вагоновожатый мурлыкал песенку, пассажиры оживленно болта. ли о пустяках. В этот теплый воскресный час ремесленники и рабочие особенно радовались отдыху. Под ярким солнцем и голубым апрельским небом все казалось каким-то торжественным и праздничным. Тихая радость хлынула Лиле в душу: ее радовало все – люди, жизнь, весна. Она была довольна и своей прической, платьем, туфлями. Простой, купленный в дешевой провинциальной лавчонке костюм был ей к лицу. Впервые в жизни она испытывала кокетливую гордость молодой девушки, привлекающей взгляды.

На площади Святой педели Лила пересела на трамвай № 9. Павел жил на бульваре Евлогия Георгиева, неподалеку от военного училища. Лила знала адрес Павла по письмам, которые получала от него, когда он не был еще исключен из партии. Она сошла на последней остановке и, разыскивай номер дома, направилась к Орлову мосту. Шагая по бульвару, она почувствовала, как раздражают ее эти улицы. Ее обдавали запахи резиновых шин, парфюмерии и бензина. По гранитным плитам мостовой скользили дорогие автомобили, разодетые мужчины и женщины проходили по тротуарам. Лиле почудилось, будто она попала в какой-то чуждый и враждебный мир, где туфли ее выглядят грубыми и смешными и где все смотрят на ее костюм, сшитый из дешевой ткани. Вот в каком буржуазном квартале Павел выбрал себе квартиру!.. Да разве можно здесь работать для партии? Лила была неприятно удивлена. Наконец она отыскала дом, в котором жил Павел, – высокое некрасивое здание с серыми стенами. Расспросив швейцара, она поднялась на верхний этаж.

На облупленной двери одной из квартир она увидела латунную дощечку с именем владельца квартиры – какого-то адвоката, а под ней – визитную карточку Павла. На карточке было добавлено от руки: «Частные уроки латинского языка». Павел окончил университет по отделению романской филологии.

Лила решительно позвонила. Послышались быстрые женские шаги. Немного погодя дверь открыла девушка в темных очках. В Лиле, не ожидавшей этой встречи, ее лицо вызвало смешанное чувство тревоги и раздражения.

– Дома господин Морев? – глухо спросила она.

– Подождите, сейчас узнаю!.. – ответила девушка звонким голосом.

Она исчезла в глубине квартиры, по вскоре вернулась и любезно проговорила:

– Пройдите, пожалуйста, в гостиную. Господин Морев бреется, он сейчас выйдет.

Лила вошла в маленькую, скромно обставленную комнату. Она теперь жалела, что явилась сюда. Раздражение ее перешло в острую душевную боль. И боль эту вызвали гладкое, как фарфор, лицо девушки, ее красивое модное платье, ее руки с красным лаком на ногтях, не знавшие пи стирки, пи грязной посуды, ни табачных листьев.

Лила опустилась в кресло.

– Вы родственница господина Морева? – спросила девушка.

– Нет, не родственница, – ответила Лила.

– По поводу уроков латинского языка пришли?

– Нет. По другому делу.

Девушка смущенно умолкла. Лила видела, что она совсем еще девочка – лет семнадцати, не больше, и если кажется старше, то лишь потому, что носит темные очки, которыми старается скрыть свою близорукость. Но несмотря на это, раздражение Лилы все нарастало. «Эта дурочка влюблена в Павла», – сердито думала она, заметив, с каким любопытством рассматривает ее девушка. Так вот он какой, этот Павел Морев, партийный товарищ, коммунист, которого она, Лила, любит!.. Сейчас она видела его в самом неприглядном свете: фразер, щеголь, ловелас, нарочно выбравший себе квартиру в семье, где есть молодая девушка. Отношение Павла к партии и его раскольническая деятельность казались ей сейчас еще более предосудительными, чем раньше. В ее груди вспыхнула холодная ненависть ко всему этому враждебному ей миру, и сейчас она ненавидела и Павла, и эту девчонку.

– Вы, очевидно, из того же города, что и господин Морев? – продолжала девушка, подстрекаемая каким-то ненасытным любопытством.

– Да, – хмуро ответила Лила.

– А чем вы занимаетесь?

– Я работница.

– О, вот как! – одобрительно проговорила девушка.

Она широко улыбнулась, и улыбка открыла два ряда мелких белых зубов.

– А вы чем занимаетесь? – спросила Лила.

– Училась в гимназии, но меня исключили. Теперь хожу на курсы священника Михайлова.

– За что же вас исключили?

– Как-то раз я отказалась прочесть утреннюю молитву. Глупость, конечно… Отец говорит, нельзя же отказываться от образования из-за какой-то молитвы.

Лила вспомнила, из-за чего исключили ее: она назвала директора гимназии фашистом. Это «геройство» было столь же бессмысленным, как отказ девочки прочитать молитву.

– А чем занимается ваш отец? – спросила Лила.

– Он адвокат. Защищает коммунистов на суде.

Лила с недоверием посмотрела на маникюр, платье и красивые туфли девушки. Если эта девчонка не провоцирует ее и не врет – значит, она в лучшем случае тщится подражать прогрессивной молодежи, но только делает себя смешной.

– Вы, наверное, участвуете в рабочем движении? спросила девушка.

– Нет, – сухо ответила Лила. – Я не интересуюсь политикой.

. – Как же так? Вы ведь работница?

– Да, но у меня хватает других забот.

– Может быть, вы хотите выйти замуж?

– Не знаю, почему вы считаете возможным говорить мне все, что вам приходит в голову, – вспыхнула Лила.

На лице девушки отразились и доброжелательность, и наивная, детская бесцеремонность.

– Потому что я вас люблю, – неожиданно заявила она. – Вы товарищ Лила, так ведь? Я сразу же вас узнала! Товарищ Морев часто говорил нам о вас.

У Лилы не было времени опомниться. В комнату вошел Павел. Он был в поношенном халате, а в руках держал полотенце и бритвенные принадлежности.

– Товарищ Морев, – ничуть не смутившись, сказала девушка, – почему вы нам не сказали, что Лила такая красивая?

– Потому, что красота сама говорит за себя, – ответил Павел. – А ты опять распустила язычок, и когда-нибудь я тебя за это отшлепаю, честное слово… Здравствуй!.. – обернулся он к Лиле. – Пойдем ко мне.

Кипя от гнева, Лила направилась к открытой двери, которую ей указал Павел. Комната у него была просторная, залитая солнцем, но с ветхой, потертой мебелью. Повсюду лежали книги.

– Что все это значит? – зло процедила Лила, когда он закрыл дверь.

– Успокойся… Сейчас объясню.

Улыбаясь, он принялся вытирать бритвенные принадлежности.

– Что это за семья? – Лила едва дышала – так она рассердилась. – Кто этот адвокат?

– Очень хороший партийный товарищ. Один из тех, которых вы называете «тесняками» и считаете прокаженными только потому, что они не соглашаются с вашими глупостями. Он вдовец, а девочка – его дочка.

– Кто дал тебе право говорить незнакомым людям о наших отношениях? Кто позволил тебе выдавать меня за свою любовницу?

Гневные глаза Лилы все еще метали молнии.

– Ни за кого я тебя не выдавал, – сказал Павел и стряхнул помазок. – Зимой, когда я думал, что мы поженимся, я попросил их уступить мне еще одну комнату. Они согласились… Квартира большая, мы бы хорошо устроились.

Острая, горькая скорбь пронзила сердце Лилы. Но она подавила в себе полузабытую тоску по собственной семье и сказала задыхаясь:

– Ты воображаешь, что я брошу партийную работу, чтобы штопать тебе носки и гладить рубашки, не так ли? Чтобы превратиться в добродетельную буржуазную супругу, да?… Чтобы каждый день смотреть, как эта влюбленная болтушка, эта глупая кукла пожирает тебя глазами!.. Любовный треугольник – вот твой жизненный идеал, так, что ли?

Он засмеялся.

– Не думал я, что ты можешь ревновать меня к ребенку.

– Успокойся, я тебя не ревную! Меня ничуть не интересует, стала эта надушенная дуреха твоей любовницей или еще нет… Просто я вижу, что тебя недаром исключили из партии. Теперь мне понятно и то легкомыслие, с каким ты пытался разрушить ее единство.

– Нет, ничего ты не понимаешь! – хмуро проговорил Павел, закуривая.

– Значит, здесь обсуждаются решения Заграничного бюро о широкой платформе? – спросила Лила. – О союзниках из мелкой буржуазии, о том, как благоразумно уклоняться от опасных выступлений и так далее?

– Они обсуждаются в массах! – вскипел Павел. – Широкой платформы требуют и рабочие, но вы слепы и не видите этого. А что мы якобы уклоняемся от выступлений, так это подлая клевета, которую ты сейчас придумала.

– Коммунисты должны хорошо одеваться, тщательно бриться и расплываться в улыбках, – со злой иронией продолжала Лила. – Что еще? Ах, да! Они должны быть окружены красивыми буржуазными девчонками. И этого требуют массы?

– Неужели тебе не совестно так передергивать? – презрительно проговорил Павел.

– Нет, не совестно! – огрызнулась Лила. – Мне больно! Нестерпимо больно, гораздо больнее, чем ты думаешь. Больно потому, что если сегодня ты фракционер, так завтра станешь торгашом, как твой брат, а послезавтра – врагом рабочего класса.

– А сказать, почему тебе больно? – внезапно перебил ее Павел.

– Почему?

– Потому, что ты заблуждаешься, полагая, что коммунистами могут быть только рабочие… Но коммунисты или будущие коммунисты есть повсюду – в театре, в университете, в государственном аппарате, в армии. Общий успех, победа рабочего класса завоевываются совместными усилиями всего народа под руководством партии.

– Уж не хочешь ли ты сказать, что коммунисты имеются и в полиции, и в среде табачных магнатов?

Павел не ответил. Ему показалось, что отвечать не стоит. Что бы он ей ни сказал, сейчас она все равно его не поймет. И все-таки даже в эту минуту, когда Лила была так скована своим узколобым сектантством и злобно стремилась все преувеличивать, в ней было что-то прекрасное, блещущее гордостью, проникнутое чувством собственного достоинства и верой в свои силы, свойственной рабочему классу. В ней он увидел еще незрелый, но волнующий образ женщины будущего, за которое он боролся. Он понял, что любит ее вместе со всеми теперешними изъянами в ее характере, вместе с ее обывательской моралью, ее целомудренной холодностью и ограниченностью мышления. Но как глубока была разделяющая их пропасть! Как непримирим фанатизм, с которым она его осуждала!.. Как медленно развивается человеческая личность и какой длинный путь ей надо пройти, прежде чем она поймет необъятную сложность явлений, людей и событий!..

Его внезапно охватила тоска. И эту тоску вызывал контраст между нежно-светлым, каким-то акварельным оттенком ее красоты и холодным, враждебным пламенем ее серо-голубых глаз; эту тоску вызывали желание ее обнять и уверенность в том, что она грубо оттолкнет его, вызывало и то, что он ее любит, а она испытывает глубокое недоверие к нему. Ему показалось, что никогда больше они не будут близкими друзьями и что, когда она поймет правду, жизнь их будет окончена, а любовь умрет. Значит, не нужно больше думать и рассуждать об этом. Конец. В жизни его столько других задач!.. Он нервно хлопнул ладонью по столу и закурил новую сигарету.

Лила наблюдала за ним с иронией.

– Почему ты пришла ко мне? – спросил он.

Голос его звучал резко и зло.

– Потому, что не ожидала застать здесь эту девицу.

– Меня не интересует, чего ты ожидала. Я должен защитить от твоих подозрений дочь товарища по партии. Пойди и спроси у него, какие у меня отношения с девочкой.

– Обойдусь без проверки.

– Значит, клевещешь, не приводя доказательств.

– Не клевещу, а восстаю против твоего легкомыслия.

– Кто дал тебе право вмешиваться и в это?

– Партия и наши прежние отношения. Ты обязан мне сказать, что ты намерен делать дальше.

– Вовсе я не обязан, но скажу из жалости к твоему недомыслию. Итак, будь спокойна! У меня нет никакого желания выдавать партийные тайны или порочить твое доброе имя… Тебя только это интересует, не так ли?

– Нет. Меня лично интересует еще одно: мне будет грустно, если ты погрязнешь в торгашеском болоте своего брата.

– И этого можешь не бояться… – горько засмеялся Павел. – Через несколько дней я уезжаю за границу.

– За границу?

– Да, за границу.

– Что ты будешь там делать?

Лила снова взглянула на Павла, и в ее враждебно прищуренных глазах загорелся холодный голубоватый огонь.

– Найду товарищей, среди которых смогу свободно дышать, – сказал он. – Останусь там до тех пор, пока старые, испытанные деятели рабочего движения снова не придут к руководству нашей партией, пока молодежь, которая командует сегодня, не образумится и не перестанет скрывать указания Коминтерна, пока вы не отрезвеете и не излечитесь от своей глупости.

– Что же ты называешь глупостью? – насмешливо спросила она.

– Все, что вы болтаете и что делаете сейчас!.. – покраснев от негодования, произнес он. – Ваши пустые фразы, ваши фантастические лозунги, ваши «стратегические удары», направленные против Земледельческого союза, который мог бы быть нашим союзником… И главное, ваше безобразное отношение к Коминтерну и Заграничному бюро.

– Мы используем указания Коминтерна в соответствии с местными условиями… – не совсем уверенно промолвила Лила. – Это именно большевистский подход. Все остальное ведет к оппортунизму.

– О, разумеется!.. – засмеялся Павел. – Важно, как умаете вы, а Коминтерн, который объединяет международный пролетариат, – это, по-вашему, банда оппортунистов.

– Если ты считаешь себя правым, почему ты не останешься бороться против ошибочного курса партии здесь? – спросила она.

– Потому, что вы не церемонитесь с теми, кто пытается указать вам на ошибки… Потому, что вы исключили меня из партии и объявили вредителем… Потому, что даже ты усомнилась во мне, сказав, что я могу стать врагом и торгашом, как брат!..

– Я это сказала в запальчивости, – тихо пробормотала она.

– Ты сказала это в ослеплении, – продолжал он. – Ты не пришла бы ко мне, если бы допускала мысль, что внутренне я могу порвать с партией. Ты сказала это потому, что скована схемами, потому что тебе вдолбили, будто коммунистом может быть только тот, кто занимается физическим трудом… Но есть на свете и такой обездоленный пролетариат, который занимается трудом умственным. Это видят даже простые, неграмотные рабочие. Они с открытым сердцем встречают каждого интеллигента, который приходит к ним, чтобы помочь им разумно и честно… Неужели ты этого не видишь, не сознаешь в глубине души? И если ты не сознавала, разве ты пришла бы ко мне сегодня?

Лила пристально смотрела на него. Глаза ее были влажны. Что-то до основания поколебало тот приговор, который она мысленно вынесла Павлу.

– Ну как, довольна ты нашим разговором? – холодно спросил он.

Лила по-прежнему смотрела на него затаив дыхание. Она стала раскаиваться, что так держалась с ним, что осыпала его упреками и обвинениями. Ей почудилось вдруг, будто к сердцу ее подступает что-то острое, что нанесет такую рану, которая будет болеть всю жизнь. И, словно стремясь избегнуть ранения, Лила подошла к Павлу и положила руку ему на плечо. В глазах ее блестели слезы, и глаза эти сейчас нежно и кротко молили о любви. Но Павел легонько отстранил ее.

– Иди!.. – тихо сказал он. – Нас соединила партия сейчас она же нас разъединила… Ты и я, мы каждый по-своему работаем для нее и твердо верим в свою правоту Это-то и прекрасно в наших отношениях. А безобразно то, что, служа одной идее, мы, быть может, никогда не поймем друг друга.

– Почему никогда? – спросила она в отчаянии.

– Потому что твое доверие ко мне разрушено твоей ограниченностью, которая обезображивает коммуниста даже в его личной жизни… Каждую минуту, каждый час я должен доказывать тебе, что я не подлец и не враг. Но это утомляет, убивает чувство в нас обоих. Понимаешь? И не лучше ли положить конец всему, прежде чем я начну считать тебя неисправимой дурой, узколобым орудием Лукана?

Наступило молчание. С бульвара доносился приглушенный шум. Там кипела жизнь, расцветала весна, слышались басистые гудки автомобилей и жизнерадостный гомон играющей детворы. Лила вздрогнула и, поняв, что разговор окончен, встала, Павел проводил ее до выхода на улицу. Дверь за нею он закрыл быстро, не сказав ни слова.

Лила вышла на бульвар и направилась к Орлову мосту. Она чувствовала такую пустоту, словно кто-то вырвал у нее душу. Громада Витоши тонула в прозрачной синеватой дымке, деревья и трава на бульваре ярко зеленели, река весело клокотала в своем узком русле. Воздух был насыщен теплой влагой, откуда-то веяло благоуханием фиалок. Но от всего этого Лила еще острее чувствовала свое одиночество, свое равнодушие ко всему на свете. Неожиданное решение Павла порвать их отношения ошеломило ее. От нее ушла любовь – эта единственная личная радость, которую она позволяла себе в своей тяжелой жизни, всецело посвященной борьбе. Что-то в ее отношениях с Павлом было разбито навсегда. И мысль об этом омрачала радость, которую могли бы ей дать и этот солнечный день, и теплые порывы ветра, и завтрашняя конференция в горах.

Из давящей пустоты возникло раскаяние. Как несправедлива она была к Павлу в последние месяцы, как сурово осуждала его и как грубо оттолкнула в тот зимний вечер, когда он пришел искать поддержки в ее любви!.. За легкомысленным фразером, за раскольником она снова увидела коммуниста, мужественного и сильного человека, которого любила.

Потом раскаяние перешло в душевные муки. Никогда уже он не придет за нею, никогда не будет относиться к ней по-прежнему. С горечью вспомнила она их встречи в сосновой роще, томительные часы ожидания и то глубокое взаимопонимание, которому они тогда радовались. Любовь к Павлу окрыляла ее жизнь, воодушевляла на повседневную деятельность среди рабочих. А сейчас эта любовь уходила, оставляя в душе мрак и холод. Павел уезжает в чужие края. Может быть, он еще глубже погрязнет в своих ошибках, погибнет духовно или физически в этом огромном мире, никогда не вернется в Болгарию. И в сердце ее останется только воспоминание о его пламенной любви, о тех часах, когда она замирала в его объятиях. На глазах у Лилы заблестели слезы. Ей хотелось закрыть лицо руками и расплакаться. Но она не заплакала. Самообладание и какое-то новое, горькое, но примиряющее чувство тотчас же высушили ее слезы.

Вслед за душевными муками, порожденными разрывом с Павлом, вспыхнула ревность. А ревность сразу вызвала бунт гордости. К Павлу всегда льнут девушки. Может быть, он не будет решительно отстранять их от себя, как этого требует мораль Лилы. Может быть, он постоянно будет окружен кокетками, избалованными женщинами с кошачьими движениями и красивыми лицами. И ей показалось, что Павел смотрит на нее с высоты своего интеллигентского происхождения и пренебрегает ею потому, что она работница, а значит, ему всегда будет чего-то не хватать в ней. Ей показалось, что, несмотря на все, их разделяет нечто существенное, и этим-то и объясняются различия в их убеждениях, личной жизни, вкусах и оценках. Ей показалось, что все между ними должно было кончиться именно так, как кончилось. И, осознав это, Лила почувствовала какое-то грустное успокоение.

Она подошла к Орлову мосту и, сама не зная зачем, вошла в Борисов сад. На нее повеяло прохладой тенистых аллей, запахом цветов и свежей земли. На скамейках сидели пенсионеры-старики, с грустным спокойствием созерцавшие, как протекает этот весенний день. На детских площадках, освещенных солнцем, с лопатками и ведерками играли в песке стайки детей. Из киосков, в которых продавали вафли, доносился запах ванили и однообразный шум механических морожениц. В ресторане на главной аллее гремел джаз, но на танцевальной площадке было еще пусто.

Лила шла медленно и, сама того не заметив, вышла к пруду, в котором плавали красные рыбки, а обойдя его, повернула назад. Все более полным становилось ее грустное спокойствие, все более примиренно текли ее мысли о Павле. Сейчас она его не осуждала и не оправдывала – он стал для нее прекрасным и грустным воспоминанием, и котором были и тени и свет одновременно. Как много было в нем и привлекательного и отталкивающего!.. Как это легко – обобщать события с высоты птичьего полета и жонглировать идеями, не учитывая положения в низах!.. Как удобно, зарабатывая на жизнь умственным трудом, разглагольствовать о судьбах рабочих, не живя среди них, не видя каждый день их унижений и страданий!.. Как это несправедливо самому получить образование, а потом упрекать в ограниченности бедную девушку, которая тебя любит и пожертвовала своим образованием именно ради борьбы за дело рабочих!.. Но несмотря на это, несмотря на все, Лила сознавала, что в Павле сохранилось что-то привлекательное, и это будет волновать ее всегда. Она снова задумалась о его достоинствах, затем о недостатках, и круговорот ее чувств вернулся к исходной точке. Наконец она перестала думать о Павле и почувствовала, что устала.

В аллеи городского сада хлынул людской поток – то были люди, которые имели возможность повеселиться только в воскресный вечер.

Партийная конференция состоялась на Витоше в удаленном от города месте, на поросшем молодым сосняком южном склоне горы, где редко появлялись туристы. Основным вопросом конференции была подготовка стачки.

День был ясный и солнечный. На небольшой полянке в молодой траве, усеянной чемерицей, сидело человек двадцать – делегаты городских комитетов. Одни курили, другие делали заметки, а третьи, словно уже утомленные конференцией, смотрели в широкую синюю даль, где на юге терялись очертания хребтов Рилы и Пирина. Среди присутствующих были рабочие, сельская молодежь, служащие, даже какой-то врач и архитектор в очках. Товарищ, у которого Лила остановилась в Софии, читал бесконечно длинный доклад. В голосе его, монотонном и сухом, время от времени вспыхивал пафос – это было, когда он порицал поведение отдельных товарищей. Пафос сменялся коротким тягостным молчанием, потом докладчик заявлял резким тоном, что партия не может с этим мириться.

Лила пристально смотрела на этого маленького, невзрачного человека. Мыслил он логично, но мысль его процеживалась сквозь слова медленно и скупо, как топкая струя родника, из которого нельзя напиться. Она была какая-то скованная. И сковывала ее отчужденность от людей, событий и жизни. Но та же мысль сквозила в партийных директивах о стачке. Связывая рабочих, она обрекала их на трагически одинокую борьбу. Докладчик старался доказать, что на практике партия преодолела свою оторванность от жизни, но доводы его были бледны, неубедительны. Лила чувствовала, как бесплодны его доказательства, и по себе самой, и по выражению всех лиц. Варвара, которая также пришла на конференцию, устало смотрела вдаль. Губы энергичного рабочего-металлиста застыли в гневной гримасе. Какой-то сельский учитель недовольно покачивал головой, явно собираясь излить в своей речи поток возражений. Врач нервно ощипывал вокруг себя траву, архитектор в очках прерывал докладчика короткими насмешливыми замечаниями. И от всего этого сердце у Лилы болезненно сжималось.

Докладчик наконец кончил говорить и принялся рвать бумажку с планом доклада. Делегаты молча наблюдали за ним. Никто его не поблагодарил, никто не заговорил с ним. Объявили перерыв.

Лила наклонилась к Варваре и тихо спросила:

– Это не товарищ Лукан?

Варвара ответила с горечью:

– А кто же еще?

Немного погодя она спросила:

– Будешь выступать?

– Да, – твердо произнесла Лила.

Варвара поморщилась, по ничего не сказала. Лила поняла, что Варвара уже не сторонница Лукана.

После получасового перерыва конференция продолжала работу. Задавали вопросы, па которые Лукан отвечал неуверенно, уклончиво и путано. Начались прения Позиция, занятая Луканом в вопросе о подготовке большой стачки рабочих-табачников, шаталась под напоров сокрушительных возражений, которые сыпались на него десятками. И сейчас за этими возражениями стоял уже не Павел – стояли активисты из рабочих. Все настаивали на поправках к уже разосланным директивам о стачке.

Лила говорила более получаса. Она твердо заняла линию, проводимую Луканом. Когда она кончила, некоторые товарищи улыбались и смотрели на нее с иронией.

**XII**

Всю ночь шел дождь, и по небу еще плыли тучи, но в теплом воздухе, в буйной зелени, в запахе сырой земли и цветов благоухала весна. Выйдя из дому, Ирина направилась в университет. Южный ветер был напоен ароматом цветущих лесов и полей. Ирину охватило ощущение здоровья и душевного покоя; однако она сейчас не испытывала той дикой, опьяняющей радости, какой ее в прежние годы дарила весна. В это теплое облачное утро она даже не вспомнила ни о встречах с Борисом у часовни, ни о тех полных неги часах, когда она мечтала о далеких странах, сидя под цветущими деревьями у родительского дома. Наконец-то она крепко стояла на земле. Наконец-то понимала, что мир действительности гораздо шире и богаче, чем мечты. Теперь она хотела только одного: кончить медицинский факультет и, оставшись при университете, заниматься научной работой. Ее привлекали клиники, чистый белый халат, сверкание микроскопа, длинные ряды медицинских журналов в библиотеке. Привлекали спокойная и трезвая жизнь, интеллектуальное общение с коллегами, тихая радость труда…

Но разве это удовлетворяло ее вполне! Она вдруг поняла, что в этот дождливый день ей все-таки чего-то не хватает – чего-то, в чем она постоянно нуждается, но что сознательно отгоняет от себя, чтобы оно не вернуло ее к прошлому. Все это вспыхнуло в ней неожиданно и бурно. Однако нуждалась она уже не в Борисе, а только в волнении, которое он в ней порождал, только в печали и радости, которыми он когда-то наполнял ее.

По улицам возбужденно двигались маленькие, разрозненные группы студентов. Они сновали во всех направлениях, останавливались, с таинственным видом перебрасывались несколькими словами и снова расходились. Возле синода и у Государственной типографии притаились отделения конной полиции – вечного врага студентов. Полицейские нетерпеливо помахивали плетками, словно тяготясь бездействием, а их лошади нервно били копытами о мостовую. Перед зданием ректората стояли два небольших грузовика с охранниками. Эти были вооружены дубинками и только ждали сигнала, чтобы ворваться в аудитории. Ирина вспомнила: ведь сегодня Первое мая.

Она вошла во двор медицинского факультета, по которому бесцельно слонялись нейтральные студенты – те, что не принимали участия в политической борьбе. Наиболее трусливые – они же были самыми любопытными – забрались в аудитории и под защитой своих товарищей, с дубинками охранявших входы, заняли удобные и безопасные наблюдательные позиции у окон. По улице сновали коммунисты. Они избегали заходить во двор факультета, так как в случае вмешательства полиции он мог превратиться в западню. Те, что были посмелее, пытались вести агитацию среди нейтральных. Но как только они распалялись, на них налетали боевые группы их противников. То и дело начинались драки – к великому удовольствию нейтральных, которые наслаждались этим зрелищем, не подвергаясь опасности. Немало студенческих голов уже было разбито, но декан, который, сидя дома, узнавал обо всем по телефону, все еще не решался официально прекратить занятия.

Ирина поняла, что в это утро лекций не будет, но решила, раз уж она пришла в университет, сама разузнать, как обстоят дела. Несколько коммунистов, взобравшихся на ограду, звали Ирину к себе, но были тут же осыпаны градом кирпичей и битой черепицы. Человек десять буйных юнцов с первого курса сгрудились возле незаконченной пристройки в глубине двора и выступали в роли артиллеристов. Брошенные ими куски кирпича и черепицы выбили несколько окон в домах напротив, вызвав гневные протесты хозяев. Все это привело нейтральных в неописуемый восторг. Они визжали от удовольствия и поощряли рукоплесканиями обе враждующие стороны.

– Ирина, твое место с нами!.. – внезапно крикнул кто-то с улицы.

Ирина узнала голос Чингиса. Он уже влез на ограду. Возмущенные его дерзостью, первокурсники направили на него новый залп кирпичей и черепицы. Но он ловко пригнулся, и снаряды пролетели над его головой, не задев его.

Увидев, что творится, Ирина снова вышла на улицу. Но тут внезапно – вероятно, по условному сигналу – все студенты побежали по направлению к ректорату. Ирина осталась одна. Дойдя до того угла, где улица упиралась в площадь, она заметила, что к ректорату бегут и студенты физико-математического факультета, которые раньше прохаживались отдельными группами около Ботанического сада. Отделение конной полиции, стоявшее возле Государственной типографии, пустилось было наперерез, чтобы преградить им путь, но не успело. Прежде чем полицейские развернулись широкой цепью, многие студенты, перескочив через проволочные ограды газонов, помчались по буйной зеленой траве и обежали конников с флангов. Другие понеслись между Государственной типографией и памятником «Невскому прямо к ректорату. Полиция замешкалась и не смогла остановить толпу. Но несколько полицейских, разъяренных неудачей, окружили маленького студента в длинном смешном пальто и принялись зверски хлестать его плетками по голове. Студент беспомощно поднял было руки, чтобы защититься от ударов, но покачнулся и упал на мостовую. Один из полицейских помчался к Ирине. Подъехав, он натянул поводья, и конь стал на дыбы. Ирина отступила в сторону, но только шага на два.

– Ты кто такая? – свирепо заревел полицейский.

– Гражданка! – сердито ответила Ирина, гневно глядя ему в глаза.

– Раз так, иди туда!

Полицейский показал плеткой в сторону улицы Раковского. Ирина послушно повернулась и пошла по тротуару к дворцу, но тут увидела, что по Московской улице, и опять-таки в сторону ректората, бегут студенты Музыкальной академии в черных бархатных беретах. Часть эскадрона, стоявшая у синода, помчалась им навстречу. Но как только студенты это заметили, они свернули по улице Бенковского к бульвару Царя Освободителя. Ирина поморщилась и пошла обратно. Конные полицейские умчались к ректорату, а маленький избитый студент все еще лежал на мостовой. Ирина решила помочь ему. В это время на тротуар перед зданием медицинского факультета вышла группа храбрецов с дубинками, удивленная внезапным исчезновением противника.

– Ирина, вернись! – закричал один из них. – Тебя затопчут.

Они озирались испуганно и нерешительно. В минуты ярости полиция имела обыкновение бить всех без разбору.

Ирина не обратила внимания на их крики. Подойдя к лежащему юноше, она помогла ему встать. Один глаз у студента опух и покраснел, из носа текла кровь. Ирина вытерла ему лицо своим носовым платком.

– Мерзавцы!.. Кровопийцы!.. – тихо стонал студент.

– А ты зачем суешься в этот кавардак? – спросила она.

– Как зачем?

Студент удивленно посмотрел на нее здоровым глазом и больше ничего не сказал. На мостовой валялся его портфель, из которого выпали тетради и рваный учебник аналитической химии. Ирина подобрала все это и подала ему портфель.

– Спасибо, – сказал студент.

– Ступай попроси, чтобы тебе сделали перевязку. На углу Сан-Стефано и Регентской есть аптека. Рана неопасная.

Сгорбившись и прижимая к носу платок, студент с портфелем под мышкой направился по Регентской к аптеке.

– Браво, Ирина! – издевались студенты медицинского факультета, размахивая дубинками, но не смея сойти с тротуара.

– Олухи! – сердито отозвалась она. – Видели, к чему приводят ваши глупости?

Она направилась к ректорату, чтобы, перейдя бульвар Царя Освободителя, вернуться наконец к себе домой. Шум и крики раздавались теперь возле Народного собрания и Дворца. Конная полиция разогнала студентов, но они собирались небольшими группами на прилегающих улицах, чтобы снова устроить демонстрацию. Ирина вышла на площадь перед Народным собранием и, пересекая ее, снова увидела на бульваре густую беспорядочную толпу студентов, которая шла от дворца и пела «Интернационал». У многих головы были перевязаны, сквозь бинты сочилась кровь. Ирине их смелость показалась безрассудной и драматичной. Толпа быстро нарастала, так как в нее вливались группы, подходившие с соседних улиц. Студенты приближались к министерству иностранных дел и пели все более громко и взволнованно. И тут на них с другого конца бульвара галопом понесся эскадрон конной полиции. Пение стало менее стройным, но не прекратилось. Ирина с ужасом смотрела на этих безумцев, которые все шли и шли вперед. Мимо нее по мостовой галопом неслись кони. Она быстро вбежала в кондитерскую на углу.

Пение вдруг замерло, и поднялся шум – людские крики и визг смешались с топотом конских копыт.

Весь остаток дня Ирина читала дома, а к вечеру пошла в библиотеку посмотреть главу о грыжах в многотомном немецком учебнике хирургии. Из библиотеки она вышла перед ужином. На улицы спускались сумерки ненастного вечера. Мокрая мостовая отражала слабый свет фонарей, окутанных туманом, с юга дул теплый влажный ветерок.

Ирина направилась было к ресторану, но, когда она пересекала Московскую улицу, ее неожиданно облил свет фар машины, идущей с площади Александра. Машина резко затормозила и остановилась. Ослепленная светом, Ирина поспешила добраться до тротуара и с досадой оглянулась на автомобиль. Из него выскочил мужчина и быстрыми шагами двинулся к ней. Ирина подумала, что это шофер, который хочет ее обругать за то, что ему пришлось так резко тормозить. Мужчина был в макинтоше, но^ без шляпы. Ближний фонарь осветил половину его лица. И тогда Ирина узнала его.

– Борис! – прошептала она, и ее охватило горькое, невыразимое волнение.

– Поедем куда-нибудь поужинаем, – сказал он просто. Впервые Ирина и в его голосе услышала волнение. Она почувствовала себя совершенно беспомощной.

– Куда?… – спросила она, внезапно ослабев.

– Все равно, – ответил он. – Можно и ко мне. Ирина посмотрела на него удивленно.

– Ты с ума сошел!.. А Мария?

– Марии уже нет.

Борис улыбнулся холодно и печально. Ирина не поняла его слов. Этот знакомый голос, эти темные глаза парализовали ее мысль, покорили ее волю, околдовали все ее существо, как и в тот октябрьский полдень четыре года назад, когда она впервые увидела Бориса. Какая-то сила снова толкала ее к мучительным и сладостным переживаниям прошлого. Она пыталась овладеть собой, но не могла.

– Садись в машину, – сказал он.

– Ты должен был хотя бы предупредить меня! – прошептала она. – Это жестоко… Нужно было дать мне время подумать.

– Я увидел тебя случайно.

– Не в этом дело… Но как можешь ты так поступать?… Это ужасно.

– Так. Значит, мне убираться прочь?

– Прошу тебя!.. – пролепетала она в отчаянии. Он засмеялся тихо и хмуро, словно про себя.

– Я тебя не оставлю, – сказал он. – Садись в машину.

– Я сяду, но не торопи!.. Дай мне прийти в себя… Боишься, как бы тебя не увидели?

– Нет. Это не имеет значения. Ирина села в машину рядом с ним.

– Куда мы едем? – спросила она.

– В «Унион».

– Лучше в тот ресторан, где я ужинаю обычно… На углу Кракра и Царя Освободителя.

– Хорошо.

У министерства иностранных дел Борис сделал крутой поворот, чтобы не столкнуться с грузовиком, и не обратил ни малейшего внимания на полицейского, который свистком приказывал ему остановиться.

– Смотри не попади в аварию, – предостерегла его Ирина. – Завтра газеты будут писать, что я ехала в твоей машине.

– Разве это кого-нибудь огорчит? Он хмуро взглянул на нее.

– Да, моего отца!.. – ответила она. Потом добавила: – Ты потерял последнее, что осталось от прошлого: уверенность в моей любви.

Она испытывала смешанное чувство грусти, страха и счастья. В ресторане нервы ее немного успокоились. Он был все тот же!.. Говорил тепло, почти нежно, но его темные мрачные глаза напряженно следили за выражением ее лица. Может быть, он пытался угадать, на что она решится, может быть, уже угадал, но в них таилась все та же ужасная расчетливость, что и прежде. Он снова был перед нею – холодный, непроницаемый, уверенный в себе, как и в тот осенний день, когда они встретились впервые. С тех пор ничего не изменилось в их отношении друг к другу. Они только начинали все сызнова, и даже начинали так же, как тогда. В этот вечер он, наверное, проводит ее домой, не прикоснувшись к ней, чтобы с тем большей уверенностью достичь желаемого на другой день. Удивительная у него способность, не понимая людей, пользоваться ими в своих целях!

Ирина взглянула на его строгое молодое лицо. Оно не было ни вялым, ни излишне полным, оно не носило отпечатка беспутной жизни и пресыщенности. Деньги еще не испортили его. И тогда Ирина осознала то, что почувствовала еще в тот памятный осенний день: этот человек еще не был ни подлым, ни алчным, ни развратным в обычном смысле слова – просто его ожесточила бедность и она же толкнула его на золотую стезю «Никотианы». Теперь он обратил свой взгляд назад. Значит, ему чего-то не хватало. Может быть, тех вечеров у часовни. Наверное, он хотел достичь какого-то душевного равновесия, которое для него вообще недостижимо. Он владел искусством добиваться всего, чего хочет, но после успеха достигнутое оказывалось для него недостаточным. Стремление действовать и чудовищная машина «Никотианы» оторвали его от настоящей жизни. Филистеру нужно богатство, и только; по Бориса все еще нельзя было назвать филистером, несмотря на его ограниченную и сухую расчетливость. В сущности, это был измученный, несчастный человек. Какая ненасытность, какая тревога, какое напряжение в этих темных ледяных глазах!.. Он погибнет. Золотая табачная лихорадка обрекает его на гибель. И только она, Ирина, которая любит и знает его, видит эту грядущую гибель.

– Почему ты на меня так смотришь? – насмешливо спросил он.

– Потому что ты играешь людьми и думаешь, что можешь перехитрить самого себя… – ответила она. – Ты не сознаешь, что происходит в этот вечер с нами. Ты не видишь, что возвращаешься ко мне, потому что не можешь идти своей дорогой один… Не любовь, а чувство одиночества и страх снова толкают тебя ко мне. И может быть, ты уверен, что у меня нет сил тебе противиться.

– Нет, не уверен, – сказал он.

– Опять играешь комедию!

– А ты сама себя оскорбляешь. Я вовсе не собираюсь сделать тебя своей любовницей.

– Лжешь! Сейчас ты, как и я, понимаешь, что мы можем быть только любовниками.

Он не ответил и посмотрел на нее с угрюмой нежностыо.

– Как твои дела? – спросила она, когда они поужинали.

\_\_ Очень хорошо, – равнодушно ответил он.

– Начал работать с немцами?

– Да, и по-крупному.

– И много на этом заработаешь?

– Да, больше прежнего.

– А что ты будешь делать с такими деньгами?

– Превращу «Никотиану» в концерн. Открою филиалы за границей… Но у тебя совершенно ошибочное представление о деньгах. Деньги – ничто. Только дураки сидят на деньгах. Гораздо важнее власть и могущество, которое они тебе дают. Впрочем, ты это еще оценишь.

Ирина поморщилась.

– Какое мне дело до твоих денег? – сухо проговорила она.

– Не спеши!.. Не заставляй меня говорить то, чего я еще как следует не обдумал.

– Прошу тебя вообще не думать об этом. Я ни в какой форме не могу делить с тобой твои торговые успехи.

– Это я прекрасно знаю.

– Тогда не включай меня в свои планы. А куда ты хочешь везти меня сейчас?

– К себе.

– О, вот как!.. Может быть, тебе еще взбредет в голову представить меня Марии?

– Это я как раз и собираюсь сделать.

Она грустно посмотрела на него. Он шутит, это ясно!.. Однако жизнь его с Марией, должно быть, стала нестерпимой, если он так поступает. Может быть, жена больше не в силах выносить его эгоизм, холодность, тиранию. Она не сумела удержать мужа, ибо купила его «Никотианой», и теперь он, как всякий купленный человек, принадлежит ей только физически.

Когда они вышли из ресторана, тучи рассеялись и на темном небе мерцали яркие весенние звезды. Пока они ехали в машине, в голове Ирины проносились несвязные, сладостно-горькие мысли. Весь ее мир – спокойный, ровный и немного печальный мир, в котором она жила последние три года, – рухнул в одно мгновение. В тот озаренный осенним солнцем день сбора винограда она также полюбила Бориса мгновенно. И наверное, в жизни ее будет еще немало мгновенных перемен. Слабые, неуловимые, ежедневные ее устремления к Борису за эти годы накоплялись, как вода в запруде, и теперь хлынули в порыве бешеной, разрушительной чувственности, которая сметает все. Ирина поняла, что пустота целомудренных часов, проведенных в библиотеке, грустное спокойствие дома и высокомерная гордость на людях подготовили этот вечер полного отрицания морали, которой она жила до сих пор. Ее охватило предчувствие новой, бьющей ключом жизни, исполненной неизвестности, но насыщенной волнением. Ее мечта проявить себя в науке показалась ей глупой, а среда, в которой она жила, – нестерпимо скучной. Настоящую, истинную жизнь мог ей дать только Борис.

Он нажал на тормоза, и машина остановилась. Ирина поняла, что они подъехали к его дому.

– Ты в своем уме?… – прошептала она, схватив его за руку.

– Не бойся!.. Нужно, чтобы ты все поняла сразу.

– Что ты думаешь делать?

– Просто войдем в дом.

– Нет!.. – воскликнула она. – Поедем куда-нибудь в другое место.

– Доверься мне, прошу тебя. Ты должна увидеть Марию.

– Это безумие! Неужели ты хочешь представить меня своей жене и вызвать скандал? Всему есть предел.

– Скандала не бойся, – сказал он. – Просто я хочу, чтобы ты увидела, почему я не могу больше жить с Марией.

– Значит, вы постоянно ссоритесь… Но зачем я должна непременно это видеть?

– Затем, что я хочу тебе что-то сказать и услышать твое решение… – Голос его смущенно дрогнул. – Если ты ее сейчас не увидишь, ты будешь всегда упрекать меня.

– Ничего не понимаю, – проговорила Ирина беспомощно. – В чем дело?

– Войди и поймешь!

– Это смешно, наконец!

– Прошу тебя!

Свежий ночной воздух прояснил ее мысли. В голове ее мелькали разные догадки. И вдруг у нее возникло подозрение от которого дрожь пробежала у нее по спине, а злорадство по отношению к сопернице исчезло. Она вспомнила слухи о том, что Мария страдает тяжкой, неизлечимой болезнью.

– Как она себя чувствует? – быстро спросила она.

– Мария в очень тяжелом состоянии, – ответил Борис.

– Тогда, разумеется, пойдем… Значит, ты оставил ее одну, больную? – В голосе Ирины прозвучал упрек, которого боялся Борис. – Чем она больна?

Он не ответил и нажал бронзовую кнопку звонка. Дверь открылась. На пороге показалась белокурая горничная в темном платье и белом передничке. Она тотчас же отошла в сторону, уступая дорогу. Ирина и Борис вошли в переднюю.

Сонные глаза горничной не выразили удивления, а только одобрительно оглядели статную фигуру и матовое лицо незнакомки. От нее веяло здоровьем и силой, особенно поразительными в глазах горничной, сравнивавшей ее с тем больным и жалким существом, которое она опекала там, наверху… «Да, хороша», – взволнованно подумала горничная. Как всякая прислуга, она понимала все, что происходит в доме, и давно уже ожидала увидеть женщину, которой ее хозяин заменит больную. Горничная была умна и проницательна, и подобная замена казалась ей необходимой. Недостатки богатых взбалмошных женщин накладывают свою печать на их лица; но этой печати не было на лице Ирины. И горничная подумала, что это молодое и спокойное лицо никогда не скривится в приступе неврастении или беспричинного мелочного гнева на прислугу. Она взяла пыльник незнакомой гостьи со скрытой симпатией.

Борис отдал ей несколько коротких приказаний.

– Скажи шоферу, чтобы не загонял машину… Эта дама – врач.

Горничная бесстрастно кивнула головой.

– Как госпожа? – глухо спросила Ирина.

– Только что играла на рояле, а сейчас перелистывает ноты.

– Значит, ей не очень плохо?

– Сегодня особенно плохо, – несколько удивленно возразила горничная.

– Приведи ее сюда немного погодя, – сказал Борис таким тоном, словно приказывал привести ребенка. – Она, наверное, перевернула вверх дном свою комнату, а на это неприятно смотреть.

Горничная только кивнула и бесшумно стала подниматься по лестнице. Борис обернулся к Ирине:

– Пойдем выпьем чего-нибудь.

Он пошел вперед, повертывая выключатели один за другим. Залитые светом ламп, перед глазами Ирины последовательно открывались обширный холл, большая продолговатая столовая для гостей, гостиная, зимний сад… Скрытое освещение, прямые линии мебели из полированного красного дерева, шелк и бархат гармонично сочетающихся тонов – все здесь казалось Ирине сказкой.

Значит, эту невиданную, ослепительную роскошь ему принесла Мария!.. И вдруг Ирина почувствовала себя подавленной и уничтоженной, словно она внезапно подошла к краю пропасти, разделяющей два мира. С одной стороны, стояло неизмеримое материальное могущество денег и людей, которые их загребают, а с другой – нудная служба и послушное терпение тысяч ничтожных, самодовольных, погрязших в своей глупости людишек, которые находят свою судьбу естественной и служат безропотно. И она сразу же почувствовала, что и ее отец, и другие полицейские, и чиновники, и пылкие студенты из корпораций со смешными гуннскими именами, и вообще все прозябающие в самодовольстве и пустой болтовне обыватели – все это ничтожества, глупцы, которые покорно работают на хозяев, живущих в таких вот домах. Она. Ирина, такая же, как эти глупые и послушные людишки, и хотя еще не работает на олигархию, но когда-нибудь будет ей служить и безмолвно терпеть ее власть. Она вспомнила, как однажды вечером, когда она была еще ребенком, ее отец явился домой с перевязанной головой – забастовщики бросили в него камнем; вспомнила, как прошлой осенью Баташский забраковал сорок процентов табака, привезенного производителями; вспомнила о том, как Мария отняла у нее Бориса… Почему этот дом так подавляет ее? Может быть ее смущение, ее глухое недовольство объясняется завистью? Нет, это не зависть. Никому она не завидовала, ни к кому не испытывала ненависти. Но ей чудилось, будто в этой подавляющей, поглотившей миллионы роскоши, но этим коврам, вазам и мебели из красного дерева, по бархату и шелкам струится пот нищих крестьян и туберкулезных рабочих.

Она шла за Борисом, стараясь заглушить в себе эти мысли, стараясь не выдать тоскливого, озлобленного протеста против какой-то несправедливости, вызванного в ней этим домом. «Наверное, завидую», – опять упрекнула она себя, но тут же снова поняла, что это не зависть, а неосознанный бунт против тех явлений, на которые она до сих пор не обращала внимания. Они подошли к изящному буфету, стоявшему в глубине холла. Тут же был окруженный креслами столик с курительными принадлежностями.

Борис достал из буфета бутылку коньяку и две рюмки.

– Я не могу больше пить, – сказала Ирина.

Она вполне овладела собой, и голос ее звучал естественно.

– А мне хочется пропустить пару рюмок, – сказал он. – Нервы напряжены.

– Ты не должен привыкать к этому, – заметила она.

– Да, не должен!.. – согласился он рассеянно и выпил две рюмки одну за другой. – Впрочем, я пью редко.

Ирина с облегчением заметила, что он устал или поглощен мыслями о Марии и ему неинтересно, какое впечатление произвела на нее обстановка его дома. Борис закурил сигарету, но сразу же бросил ее в пепельницу и налил себе еще рюмку коньяку.

– Страшно будет, если ты привыкнешь пить, – снова заметила Ирина.

– Что?… Пить?… – Голос Бориса прозвучал искусственно и неуверенно. – Не беспокойся, я никогда не стану этим злоупотреблять. Меня целиком поглощает работа.

Но она поняла, что он уже злоупотребляет алкоголем – ведь и в ресторане он выпил несколько рюмок. Может быть, к этому его толкает предельное напряжение, в котором он всегда живет.

Борис подошел к Ирине, быстро наклонился и поцеловал ее. На несколько секунд губы их слились, потом она легонько оттолкнула его, потому что здесь их в любую минуту могли увидеть. Но как только они отпрянули друг от друга, они поняли, что вечера у часовни никогда больше не вернутся и что за эти три года многое исчезло из их любви, молодости и из их душ.

– Теперь ты должна довериться мне вполне, – сказал он, как бы желая зачеркнуть то, что они поняли.

– Это не важно, – отозвалась она быстро. – Не важно, что будет после этого вечера.

Послышался скрип двери, открывавшейся на втором этаже. Ирина и Борис обернулись.

По лестнице спускалась Мария.

В первое мгновение Ирина ощутила злорадство, потом смущение, потом испуг и, наконец, чувство животного страха и желание убежать. Но она взяла себя в руки и, не пошевельнувшись, смотрела с напряженным до предела вниманием на страшный призрак, спускающийся в холл. Так вот она, женщина, которая отняла у нее Бориса, которая заставила ее испытать такую ревность, такие муки и горькую тоску!.. Значит, вот она, хозяйка этого дома, владелица этого богатства, единственная наследница «Никотианы», то чудное, элегантное существо в баре, чей опаловый блеск поразил Ирину пять месяцев назад!.. Теперь Мария была в грязном халате из плотного розового шелка, который безобразно топорщился на ее угловатом, скелетообразном теле. Кожа на ее лице напоминала пожелтевший, скомканный пергамент – так изборождено оно было глубокими морщинами, а голова почти облысела, и это придавало больной какое-то устрашающее сходство с мертвецом, вставшим из могилы. В следующее мгновение Ирина увидела ее пустые глаза – трагические глаза без мысли и сознания, безумные глаза, которые были лишены всякого выражения и подчеркивали тупость идиотской самодовольной усмешки, застывшей на лице, и скованность тела, вытянутого в позе величавой надменности. Ужасное видение рывками спускалось по лестнице, а за ним шла горничная, тревожно раскинув руки и словно следя за ребенком или заводной куклой, которая в любую минуту может упасть.

– Почему ты пускаешь ее вниз неодетой? – строго спросил Борис.

– Потому что с ней случился бы припадок, – с досадой ответила горничная. – Она думает, что госпожица пришла послушать ее концерт.

Ирина медленно повернула к Борису искаженное ужасом лицо.

– Видишь? – произнес он холодно.

Ирина все поняла. Теперь перед ней стояла не ненавистная соперница, но автомат без мысли и сознания. Безукоризненно сдержанная и подобранная Мария, за которой сверкало золото «Никотианы», превратилась в жалкую развалину. Меланхолическое спокойствие ее лица перешло в тупую улыбку помешанной. Умные, холодные, печальные глаза, которые раньше вызывали в Ирине ненависть, ибо в них было что-то, что могло привлекать Бориса само по себе, помимо денег, сейчас казались слепыми, так как это были глаза существа, которое ничего не видело, не слышало, не понимало.

Все так же вытянувшись и задрав голову, помешанная вдруг остановилась и, сделав жалкую попытку принять величавую позу, посмотрела на Ирину. Борис устало опустился в кресло.

– Мария, ты узнаешь эту даму? – глухо спросил он.

– Я узнаю всех армян в Пере,38 – с важностью ответила больная. Затем кивнула головой и добавила надменно: – Садитесь!.. Я исполню для вас концерт.

– Какой концерт? – спросил Борис.

– Концентрированный концерт, – проговорила больная. – Для армян.

Борис повернулся к Ирине. По его лицу промелькнула усмешка, но такая холодная и бесчувственная, что Ирине она показалась невыносимой.

– Слышала ты когда-нибудь такой концерт? – спросил он.

– Нет, – серьезно ответила Ирина.

Она обратилась к помешанной:

– Вы не помните, где мы виделись?

Мария как будто поняла вопрос: ее застывшая высокомерная гримаса мгновенно исчезла, и на лице отразилось глупое удивление. Где-то на периферии ее сумеречного сознания, пронизанное завистью и восхищением, всплыло воспоминание об этом красивом матовом лице и карих глазах. Но это воспоминание беспомощно сталкивалось и сцеплялось с осколками других воспоминаний, с бессвязными ассоциациями и обломками ее прежнего сознания. Больная все так же растерянно моргала, смутно понимая, что не может говорить разумно, а это наполняло ее столь же смутным чувством стыда, гневом и болью, которые она старалась скрыть. Но вдруг воспоминание об Ирине неожиданно столкнулось и сцепилось с какими-то представлениями, все еще сохранившимися в ее памяти. Сознание беспомощности исчезло, и она сказала уверенно, как вполне здоровый человек:

– Да, припоминаю!.. Вы сестра Алисы Баклаян, моей подруги по колледжу в Стамбуле… Вы жили в Пере.

Даже Борис и горничная были поражены связностью этих фраз. Но тропинка мысли внезапно оборвалась, упершись в расщелину. И больная добавила тупо:

– У вас было много перьев.

А затем она, неведомо как, снова прониклась бессмысленной уверенностью в своем величии, и лицо ее застыло в прежней высокомерной гримасе. Она заявила, что она великая, несравненная артистка… Давала фортепьянные концерты в Лондоне, Нью-Йорке и Париже, путешествует беспрерывно и объехала весь мир. Публика бросала ей букеты и несмолкаемыми овациями вызывала на «бис». Все это Мария выговаривала, горделиво и смешно мотая головой, невнятно бормоча жалкие, несвязные слова, которые подбирала не по смыслу, а по внешнему звуковому сходству. Она похвалилась, что обладает сотней роялей, самых красивых на свете, а когда Борис спросил, где они, ответила, что заперла их в гардеробе, чтобы их не трогала горничная. Потом она величественно поклонилась и, задрав голову, прямая как палка, деревянной походкой направилась к роялю, чтобы дать свой «концентрированный концерт». Ее дорогой, но заношенный халат развевался, как широкое бальное платье, и, когда она приблизилась, Ирина почувствовала неприятный запах. Ах, неужели это та Мария, за которой стоит «Никотиана» и которую бедные девушки из ее родного города считали каким-то сказочным существом!..

Ирина, Борис и горничная медленно перешли в гостиную и сели в кресла у рояля.

– Если она опять заговорит, не надо ей возражать, – тихо предупредил Борис.

– Давно она такая? – спросила Ирина.

– Несколько месяцев.

– Вы лечите ее?

– А чем лечить?… – По лицу Бориса промелькнула привычная холодная усмешка; казалось, он был доволен тем, что болезнь Марии неизлечима. – Сальварсан не дает никаких результатов. Теперь доктора пробуют новые лекарства, которые мобилизуют белые кровяные тельца. Как думаешь, есть надежда на выздоровление?

– Нет, никакой, – ответила Ирина.

Между тем больная открыла крышку рояля, несколько секунд постояла не двигаясь, потом обернулась и рывком поклонилась «публике». Борис и горничная тотчас зааплодировали. Ирина смотрела на больную, потрясенная ее странными движениями, поредевшими волосами, жалким костлявым телом.

– Хлопайте! – сказала горничная. – А то она раскричится.

Ирина несколько раз хлопнула в ладоши.

Помешанная протянула желтоватые мертвенные руки и принялась беспорядочно ударять по клавишам. Звуки рояля напоминали ее речь – это был трагический шум, беспорядочный поток диссонансов, вырывавшийся из-под тех самых рук, которые всего год назад играли с техническим совершенством. Но вдруг пальцы ее натолкнулись на сохранившуюся цепь рефлексов. Какофонию внезапно сменил отрывок из пьесы Дебюсси, который неожиданно перешел в Бетховена и закончился диким хаосом минорных аккордов. Цепь сохранившихся рефлексов оборвалась снова перед пропастью расстроенных центробежных функций головного мозга. Безобразный шум продолжался около четверти минуты, затем движениями ее пальцев снова овладел неповрежденный участок сознания, и она начала играть один из ноктюрнов Шопена. Ни Борис, ни Ирина, ни горничная не были настолько сведущи в музыке, чтобы узнать его. Расстроенные рефлексы больной превратили его в пародию па настоящую музыку. Но этот оторванный, блуждающий и все же целостный комплекс слуховых представлений и сознательного стремления производить звуки медленно плавал в сумеречном сознании Марии, как ледяная гора, озаренная солнцем. Какое чистое, какое ослепительное сияние излучала она! Измученные слушатели не видели этого сияния, но больной оно внушало какое-то смутное, жгучее, невыразимо приятное чувство. Ни Ирина, ни горничная ничего не знали о том теплом дождливом вечере, когда лучи заходящего солнца пронизывали облака и Мария играла этот ноктюрн Борису. Но сейчас его звуки, сливаясь со смутными воспоминаниями о пережитом волнении, таинственно связывали оборванные нити представлений в сознании больной. Все ярче становился исходивший от них свет, все яснее были образы, которые он озарял. Рассудок медленно рассеивал полумрак безумия. И наконец настал миг, когда Мария снова осознала свое прежнее «я», вспомнила кое-что из прошлого и все, что произошло между нею и Борисом. Сейчас она знала, что связь их началась, когда Зара уехала с ее отцом в Грецию, что она была женой Бориса, а ноктюрн играла после той счастливой минуты, когда отдалась ему. Сейчас она понимала, как плохо играет, и с каким-то удивлением чувствовала, что и ноги ее на педалях, и пальцы не вполне подчиняются ей и она не может передать те оттенки мелодии, которые хочет. Это глубоко поразило ее. Вероятно, ее болезнь прогрессирует. Руки, словно чужие, ударяют по клавишам, не подчиняясь ее воле.

Теперь она рассуждала нормально и сознавала, что играет на первом этаже. Потом она вдруг заметила, что сидит в халате, что руки ее не особенно чисты, а обломанные ногти потрясли ее своей безобразной формой. Когда же это она так испортила их? Потом ее обдало неприятным, гнилостным запахом, исходившим от ее собственного тела. Как можно было так опуститься? И почему она села играть на первом этаже? Удивление Марии все возрастало. Она услышала позади себя покашливание Бориса и чирканье спички, потом – голос какой-то женщины, говорившей полушепотом. Значит, в гостиной чужие люди. Ей стало стыдно за свою плохую игру и за то, что она вышла к гостям одетая так небрежно. Тогда она перестала играть и обернулась.

Ирина и Борис сразу заметили, что гримаса безумия слетела с лица Марии, а глаза смотрят хоть и растерянно, но разумно, словно оценивая все, что ее окружает. Это были больные глаза с неодинаково расширенными зрачками, но они принадлежали мыслящему существу. В них светилось понимание всего происходящего. Маска безумия, которая отделяла Ирину и Бориса от сознания больной, была неожиданно сброшена, и это привело их в замешательство.

Вначале Мария покраснела – при виде незнакомой женщины она подумала о том, как плохо выглядит она сама. Затем она как будто узнала Ирину, заметила, как хорош овал ее здорового лица, как красивы линии ее плеч и груди и почувствовала горечь и боль. Что ей здесь нужно, этой девушке? Ее красота и свежесть оскорбляли самолюбие Марии. Она вспомнила, что видела ее несколько месяцев назад в баре, и смутно заподозрила, что это бывшая любовница Бориса. Ее обуяли ревность и гнев. Да, Борис зашел слишком далеко!.. Разве можно было приводить ее сюда? Мария забыла спросить себя, каким образом эта девушка очутилась здесь, но гнев ее сразу же возрос. Ей почудилось, будто эти карие, до омерзения красивые глаза разглядывают ее с нахальным любопытством, почти дерзко и вызывающе, словно хотят сказать, что заметили грязь на ее руках с обломанными ногтями и все прочие недостатки ее внешности. Ей показалось, что девушка держит себя враждебно и угрожающе, вот-вот бросится на нее и что-то с ней сделает. Мария смутно сознавала, что страх ее нелеп и смешон, однако он нарастал с каждой секундой. Мысль ее отчаянным усилием попыталась его прогнать, но не смогла. Все ужаснее становился этот непреодолимый страх. Наконец она уступила, перестала сопротивляться ему и потонула в каком-то мраке, в котором ее безумие вспыхнуло снова, а обломки разбитого сознания и на миг ожившие воспоминания рассеялись бесследно. В следующее мгновение маниакальная идея снова завладела всем ее существом. Теперь ей казалось, что девушка, сидящая перед нею, – ее злейший враг, который ее преследует и хочет убить, чтобы пожрать ее руки, мозг, легкие. Все расширялись, все страшнее становились карие глаза этого врага. Теперь он ждал удобного момента, чтобы броситься на нее. И вдруг лицо Марии искривилось от ужаса, все тело ее затрепетало. Она вскочила и с диким пронзительным криком бросилась по лестнице на второй этаж.

– Она меня узнала! – проговорила Ирина, ужаснувшись в свою очередь.

– Да, узнала, – подтвердил Борис. – А потом сознание ее затуманилось снова… Это было только мимолетное просветление. Но она ничего не помнит… Словно она тебя и не видела.

Ирина прижала руку ко лбу и откинулась назад в кресле. Пронзительный крик больной еще звенел у нее в ушах.

– Страшно! – сказала она, совсем расстроенная.

– Я хотел, чтобы ты ее увидела.

– Зачем?

Ирина вскинула голову. Ей давно уже был знаком этот холодный, спокойный, циничный тон. Таким тоном Борис говорил, когда хотел оправдать какое-нибудь свое решение.

Он понял, что предисловия излишни, и сказал напрямик:

– Я хочу развестись с ней.

– Ты не имеешь права делать это сейчас!.. – воскликнула Ирина, почти испугавшись его слов.

– Как не имею права? – В голосе Бориса звучал все тот же ледяной цинизм. – Закон разрешает. Я говорил с адвокатами.

– Не путай закон с чувством долга! – Ирина задыхалась от возмущения. – Ты не должен оставлять ее теперь… Ты не смеешь выбросить ее, как тряпку, после того как отец ее умер, а ты благодаря ей забрал в свои руки «Никотиану»!.. О, Борис!..

Она смотрела на него разочарованная, негодующая и все-таки с тем сочувствием, которое, сама не зная почему, испытывала к нему, что бы он ни делал.

– Я хочу жениться на тебе, – сказал он ровным голосом, словно речь шла о чем-то совершенно обыденном.

Ирина почувствовала, что сердце ее сжалось от волнения, от блаженства и гордости, но ответила твердо:

– Я не могу согласиться на это.

И тотчас же поняла, что другого пути нет.

– Ты всегда решаешь все вопросы сгоряча, – проговорил он с грустью, но примиренно, так как ожидал подобного ответа. – Лучшие годы нашей жизни пройдут, пока я буду искупать свои ошибки, продолжая жить с помешанной. А потом?

– Что потом?

– Когда жизнь пройдет?

– Не бойся, жизнь мимо нас не пройдет… То, что ты сделал, не ошибка. Без «Никотианы» ты не был бы счастлив.

– Но теперь «Никотиана» моя, а второе, чего мне недостает, – это ты… Нам надо подумать о себе.

– А Мария? – спросила она.

– Жизнь Марии кончена. Какой смысл исполнять свой долг по отношению к существу, лишенному сознания?

– Есть смысл! – Ирина окинула глазами обстановку маленького дворца. – Ты никогда бы не смог завладеть «Никотианой», если бы не она. Она тебе создала домашний очаг. Наверное, все здесь подобрано и устроено ею… И наконец, ты только что сам видел, что создание ее может возвращаться.

– Но это бывает очень редко.

– Подумай о ее муках в эти мгновенья.

– Она их сразу же забывает.

– Но я не могу их забыть… Я всегда буду помнить выражение ее глаз – вот такое, какое я только что видела.

– Тогда что же нам остается делать?

На лице его отразились волнение и такая же мрачная, пламенная нежность, как тогда, в ресторане.

– Ничего, – ответила она. – Я буду твоей любовницей.

– По ты не из тех женщин, которые могут легко на это пойти… Ты возненавидишь меня.

– Не бойся!.. Я ненавижу только «Никотиану».

Он задумался, йотом быстро сказал:

– Этого недостаточно. Это может разрушить нашу жизнь. Я тебя люблю, я хочу, чтобы ты стала моей женой, чтобы у нас были дети, семья…

– Дети, семья? – повторила Ирина удивленно.

Ей показалось странным, что он может этого желать.

– Да!.. – проговорил он. И добавил сурово: – Значит, надо ждать смерти Марии?

– Ах, не говори о смерти!.. Лучше подумай, где нам встречаться.

– Я куплю тебе дом или хорошую квартиру.

– Никакого дома! – вспыхнула она. – Достаточно снять небольшую квартиру, в которой мы будем только встречаться… Я не собираюсь становиться содержанкой.

Он умолк, чтобы не оскорбить ее еще больше. Ирина посмотрела на часы. Было далеко за полночь. Когда они поднялись, чтобы уйти, она снова услышала беспорядочные и трагические звуки рояля, по клавишам которого стучали безумные, пораженные тяжкой болезнью руки. Больная снова начала играть свой концерт.

**XIII**

В открытое окно веяло прохладой июньского вечера, запахом резиновых шин и бензина. Шум на бульваре затих, из Зоологического сада доносился рык льва. Джаз в «Ариане» играл «Красные розы», и слащавая, надоевшая до отвращения мелодия звучала все назойливее, выделяясь среди замирающих шумов.

Костов закурил сигарету, с негодованием спрашивая себя, долго ли продлится это неприятное положение, в которое он попал полгода назад. Из-за болезни Марии его просторную квартиру на бульваре Царя Освободителя стали осаждать новые, обременявшие его посетители, которых Борис не мог принимать у себя дома. Сюда приходили играть в покер министр, несколько депутатов и целая орава журналистов. Поиграв часа два, они расходились, очарованные гостеприимством хозяина. Главный эксперт «Никотианы» привлекал всех изысканностью, свойственной людям прошлого поколения, умением давать взятки незаметно. Он умел проигрывать в покер или бридж. Если дело было важное, он проигрывал в течение всей ночи, небрежно, рассеянно, великодушно, с той щедростью, с какой человек сорит чужими деньгами, а на заре, с тяжелой от вермута и табачного дыма головой, равнодушно вписывал проигранные суммы на счет «Никотианы». Удачливые игроки набивали себе карманы банкнотами (выдавать чеки было неудобно), и порой банкнот оказывалось так много, что для них не хватало карманов, и тогда счастливцы завертывали их в газеты и давали шоферам по тысяче левов на чай.

Квартира Костова стала любимым прибежищем и барона фон Лихтенфельда. Лихтенфельд и не подозревал, что в варварской стране можно встретить таких приятных людей.

И наконец, здесь появлялись – довольно регулярно и бескорыстно – красивые, но увядшие дамы из высшего общества, молодая оперная примадонна, несколько стареющих скучных снобов и один гвардейский офицер – известный наездник, время от времени украшавший квартиру своей темно-синей венгеркой.

Но это общество уже начало надоедать Костову. Высмеиванье света, питавшееся сплетнями, больше не развлекало его. Покровительство молодым девицам из мира искусств начинало надоедать. Участие в разных спортивных комитетах заставляло зря терять время, а любовные похождения утомляли.

Короче говоря, Костов старел и в этот вечер чувствовал себя более угнетенным, усталым и одиноким, чем когда-либо. Сегодня он ждал к себе министра – но не того с которым обычно играл в покер, – а на следующий пень ему предстояла поездка с Борисом и немцами. Министр собирался прийти поздно, после ужина, словно в ночном мраке ему было удобнее приходить сюда, чем при дневном свете. Решив провести время с пользой, Костов сел за письменный стол, зажег лампу и открыл папку с последними договорами, заключенными «Никотианой». Эти договоры ясно говорили о политическом будущем Болгарии и показывали, с какой невероятной ловкостью Борис сумел предохранить «Никотиану» от кризиса. Еще до того, как началось катастрофическое падение цен, он заключил довольно выгодные сделки с итальянским и польским торговыми представительствами, с голландскими, американскими и чехословацкими фирмами. В Америке ему помогал Коэн, зато в сделках с французами помешал Торосян. Судя по всему, армянин подкупил кое-кого и во Франции. Французское торговое представительство взяло его низкокачественные табаки и, неловко оправдываясь, отказалось от более выгодных предложений «Никотианы». Сделку с австрийцами сорвал мстительный Кршиванек. Но все это были мелкие неудачи. Борис потерял французское и австрийское торговые представительства, которым продавал небольшое количество товара средних сортов, но зато заключил договор с Германским папиросным концерном. Германский папиросный концерн обязался отныне и впредь покупать у «Никотианы» по восемь миллионов килограммов табака в год. Это был неслыханный удар по конкурентам, и он ошеломил всех. Холодный, молчаливый мальчишка, которому все предрекали катастрофу, неожиданно превратился в колосса и невозмутимо встал во весь рост в разгар суматохи и паники начинающегося экономического кризиса. Костов устало поднял голову от бумаг. Он подумал, что Борис похож на фейерверк, который рассыпает ослепительный свет и скоро сгорит во мраке бесцельной суеты. Зачем ему все это? Ведь когда Борис состарится, он почувствует такую же усталость, такое же безразличие, такую же досаду на мир, какие теперь испытывает он Костов. Возможно даже, ему будет еще хуже – он переутомится, или его погубит тяжкая болезнь, как папашу Пьера или старика Барутчиева, который теперь умирает. Нет никакого смысла работать только ради барыша. Мощно жить одинаково хорошо и с десятью, и со ста миллионами в кармане. К чему эта безумная жажда накопления, которой всегда страдают миллионеры? Хотя бы в этом отношении он, Костов, прожил свою жизнь разумно. Почти никто из крупнейших богачей Болгарии не объездил, как он, на машине всю Испанию, не путешествовал для собственного удовольствия по Египту и Марокко, не скитался, опьяненный лазурью и солнцем, с острова на остров в Греческом архипелаге. Но даже такая жизнь все-таки не спасает от скуки, от плохого настроения и чувства одиночества, которые терзают его сейчас. Может быть, надо было жениться, иметь семью и детей. Костов вспомнил главного бухгалтера «Никотианы», который почти ослеп от годовых балансов и теперь лечил глаза в какой-то клинике. У этого человека была большая семья, и, если он ослепнет, дети его останутся на улице. Но Костов никогда не видел его недовольным или подавленным. А может быть, семья и дети – тот же самообман. Может быть, инстинкт продолжения рода так же неразумен, как желание копить деньги. Какой смысл Борису желать детей от Марии?

Вспомнив о Марии, Костов помрачнел, потом разозлился, встал из-за стола и закурил. Ее умопомешательство вызывало затруднения в «дипломатической службе» «Никотианы». Борис не хотел ни удалить ее из Софии, ни принимать гостей дома. Поэтому Костов был вынужден исполнять обязанности хозяина на всех приемах и ужинах, которыми «Никотиана» стремилась завоевать симпатии иностранцев. За ужинами следовали обычно кутежи в кабаре, а потом – поездки по провинции. Нередко кто-нибудь из иностранцев оказывался страстным рыболовом, и Костову приходилось часами развлекать его на берегу какого-нибудь горного ручья, прикидываясь глубоко заинтересованным жизнью форели. В этом отношении ему особенно досаждал своей вежливостью Прайбиш, тогда как Лихтенфельд нахально требовал, чтобы ему устроили медвежью охоту. Борис категорически приказал потакать всем их прихотям.

Но подобная угодливость пахла раболепием, и это грязное дело было Костову не по нраву. Он с отвращением вспоминал сцены, которые наблюдал в Афинах и Стамбуле: там греческие табачные магнаты, перепившись, целовали колени у фон Гайера, а в отеле «Токатлиян» турецкие миллионеры поставляли женщин Лихтенфельду. И все это делалось ради того, чтобы продать товар Германскому папиросному концерну, чтобы с меньшими потерями спастись от угрожающих лап кризиса.

Ураган падения цен сначала разразился в Соединенных Штатах, потом пересек океан, забушевал в Европе и, стовно стихийное бедствие, охватил весь мир. Как возникла эта дьявольская пропасть между заготовительными и продажными ценами? Какая темная сила заставляла фермеров Айовы и Техаса сжигать свое зерно, в то время как в Индии и Китае миллионы людей умирали с голоду? В молодости Костов до отупения размышлял над этими вопросами, чтобы в конце концов успокоить свою совесть следующим выводом: насильственное уничтожение капиталистического строя повело бы к еще большему злу.

В этом году многие фирмы вовсе не осмеливались покупать табак, они бездействовали или закрывали свои филиалы. «Джебел» продал табак ниже себестоимости. «Фракийские табаки» отделались тридцатью миллионами убытка. «Эгейское море» зашаталось до основания, но выдержало удар, так как за ним стояло несколько крупных банков. «Родопы» кончили банкротством, потянув за собой банк, который их кредитовал. Было неясно, что стало с Торосяном. Одним армянин плакался на свою судьбу почтенного торговца, который теряет деньги, потому что честен; других уверял, что ожидает громадную прибыль от продажи табака в Америке. Впоследствии выяснилось, что он и не терял и не приобретал, а просто по привычке поднимал шумиху и продолжал скупать всякую дрянь для французского торгового представительства.

Гораздо хуже шли дела у Барутчиева. Однажды Костов навестил его в Чамкории. Барутчиев, закутанный в одеяло, пожелтевший и тощий, лежал в шезлонге на террасе своей виллы и смотрел с суровой печалью на весеннее небо над вековыми соснами, на синеющий вдали лабиринт снежных вершин и горные луга, усыпанные цветами. Костов сел возле него.

– Ну!.. – произнес Барутчиев. – Ваш шеф спас «Никотиану» от кризиса и заграбастал львиную долю прибыли… Кого же вы будете спасать теперь?

– Никого, – с грустью ответил Костов.

Его стесняла та миссия, с которой он пришел.

– Да! – Барутчиев горько усмехнулся. – Это золотое правило в торговле! Когда кто-нибудь тонет, сунь его головой в воду, да поглубже, чтобы одним конкурентом меньше стало. Но так не решался поступать даже старик Пьер. Ну как? Вас интересуют мои партии товара средних сортов?

– Интересуют. Именно за этим я и пришел. Шеф согласен купить их по восемьдесят два лева.

– По восемьдесят два?… – Смех исказил желтое лицо умирающего миллионера. – Обработанные партии обошлись мне по девяносто левов, а вы продадите их Германскому папиросному концерну по девяносто три, согласно договору, который вы с ним заключили. Блестящий ход, а?

Барутчиев внезапно закашлялся.

– Не волнуйтесь, – сказал Костов.

– Ничего! – Больной махнул рукой. На его щеках появились розовые пятна. – Значит, по восемьдесят два? А почему он не предложил, чтобы я подарил ему этот товар, чтобы отдал его даром? Слушайте, Костов!.. Скажите своему шефу, что я лучше сожгу свой табак, но ему не продам ничего. Скажите немцам и моему брату, что я на них плюю, потому что они отказались покупать мой табак без посредничества «Никотианы». Скажите им, что они могут подкупить всех министров и все Народное собрание, а меня разорить – и все-таки останутся мерзавцами и канальями, которые наживают богатство только подлостью…

Больной снова закашлялся. Костов знал, что волнение может вызвать у него кровотечение, и пожалел, что пришел. Бормоча какие-то извинения, он встал, чтобы уйти.

– Останьтесь, Костов! – Больной сплюнул в платок розовую мокроту. – Вы не виноваты… Хотите коньяку?

Барутчиев позвонил. Немного погодя на террасе появилась медицинская сестра, которая ухаживала за ним. Миллионер попросил ее принести коньяку для гостя. Он успокоился и стал задумчиво смотреть на вершины сосен.

– Сейчас для вас важнее всего поправиться! – пытался успокоить его Костов.

– Со мной покончено!.. – сказал больной, и в его хриплом голосе прозвучали страдание и огромная безналичная усталость. – Я умираю, но все-таки умираю с сознанием что я что-то сделал… Я первый вывез наши табаки за границу, а по моим следам пошел старик Пьер (господь да судит его по его делам) – и другие гиены. Я протянул руку помощи десяткам людей, которые казались мне деловыми. Но теперь вижу, что помогал наглым пройдохам и бандитам… Костов, наш класс да и весь наш мир идет к гибели!.. Их погубит згоизм. Я целыми днями лежу неподвижно, считаю часы, которые мне остается жить, и думаю о своем прошлом, о жизни, о людях… И все яснее вижу, что наш мир погибнет от алчности. В торговле всегда управлял закон прибыли, но нас он не ослеплял. А теперешние забываются. Вот я ненавидел старика Пьера… Завидовал его энергии, но презирал его за распущенную жизнь, за любовниц, за безумное мотовство… Он также меня не терпел и подсмеивался над моей примерной семейной жизнью… Мы даже не здоровались. Но эта вражда, это соперничество не переходили известных границ. Мы злословили, но в меру, мы конкурировали, но не делали таких подлостей, которые запятнали бы наше доброе имя. А сейчас нас заменили воры, вымогатели, раболепствующие выскочки, способные продаваться любому за чечевичную похлебку… Теперь нас давят льстецы и подхалимы!..

Костов молчал.

– К этим типам я не отношу вашего шефа, – продолжал чахоточный, переведя дыхание, – хотя он в сто раз превосходит их своей подлостью и уменьем вымогать. Он способен и умен. Думаю, что разврат, пьянство и глупая суетность не погубят его, как погубили его тестя. Но он морально туп! Запомните, скажите ему, что он туп в нравственном отношении и что это приведет его к гибели!.. Не все люди лишены чести, не все корчатся от страха, не все думают лишь об удовольствиях и стремятся только к деньгам… Это урок, который я извлек из своей собственной жизни.

Барутчиев говорил долго. Когда Костов вернулся в Софию и рассказал о том, как навестил больного, Борис усмехнулся:

– Разве я вам не говорил, что вежливость ни к че-му? – насмешливо заметил он. – Нужно было сообщить ему наши контрпредложения письменно.

Но Бориса неприятно удивил решительный отказ Барутчиева продать свой табак за бесценок. Может быть, эта издыхающая чахоточная лисица намеревалась подсунуть его Германскому папиросному концерну через какую-нибудь генеральскую фирму? В последнее время как грибы вырастали новые общества по вывозу табака – торговые союзы генералов запаса с безработными экспертами обанкротившихся табачных фирм. Борис с тревогой замечал множество признаков того, что эти общества втайне получают кредит от Германского папиросного концерна. Медленно, но верно, как широкая река, течение которой никто не в силах остановить, вывоз болгарского табака направлялся только в Германию. Других покупателей становилось все меньше. Борис понимал, что это плохо, но неизбежно, и торопился укрепить свои связи с немцами. Он подкупил одну газету, нескольких публицистов и еще десяток депутатов, которые начали шумную кампанию за организованную экономику. Германский папиросный концерн в благодарность увеличил закупки у «Никотианы» на десять миллионов килограммов.

Костов снова сел за свой стол. Да, грязно, по неизбежно все, что делает Борис в последнее время!.. Грязно, но неизбежны эти подкупы должностных лиц – если только «Никотиана» хочет остаться процветающим предприятием, – эта раболепная вежливость по отношению к фон Гайеру, Прайбишу и Лихтенфельду!.. Грязно, но неизбежно поведение Бориса по отношению к государству, к народу, к другим торговцам, к своей больной жене и к девушке, которая ее заменила!.. Грязно, но неизбежно эпикурейское равнодушие, с которым он, Костов, переносит все это!

Костов не смог разыскать во входящих бумагах какие-то данные, которые были ему нужны к завтрашнему дню, и с досадой закрыл папку. Он встал, закурил и стал прохаживаться по комнате. В голове его неотвязно возникал образ новой подруги Бориса. На прошлой педеле они втроем ужинали в «Унионе». Костов был приглашен, чтобы служить ширмой, но он остался доволен ужином. В этой девушке было что-то очаровательное, теплое, сердечное… Думать о ней было все приятнее. Он пытался прогнать ее образ, но не мог. А затем постепенно понял, что нервозность, досада, человеконенавистничество, которые его давили сейчас, объяснялись и сожалением, что он не встретил такой девушки раньше, прежде, чем настала осень его жизни. Он понял также, что если что и мешает ему теперь *Т осшть* «Никотиапу», так это лишь возможность видеть эту девушку, часто, постоянно, всегда…

Министр, которого ожидал Костов, ведал внутренними делами – самой жалкой сферой в управлении государством. Это был щупленький, мрачный, плешивый человек с тихим голосом и злыми меланхоличными глазами. Один из его телохранителей прогуливался по тротуару, а другой поднялся на лестничную площадку и стал у входа в квартиру, где жил Костов. Вначале визит министра казался бескорыстным, но главного эксперта «Никотпаны» бескорыстно навещали только увядшие красавицы из высшего общества. Костов сразу же вспомнил, что министр заинтересован в одной маленькой, по быстро продвигающейся табачной фирме, которой руководит его зять.

Эксперт посмотрел на гостя нетерпеливо и вопросительно. Не может же «Никотиана» вечно оказывать ему услуги. Но господин министр внутренних дел как будто не понимал этого. В его глазах, холодных и неподвижных, как у змеи, вспыхнула раздраженная самоуверенность человека, который нелегко отказывается от принятого решения.

– Партия товара не принята, – хмуро проговорил министр.

– Ах, вот как?

Костов вспомнил шифрованную телеграмму районного эксперта, на которую забыл ответить. Телеграмма гласила: «Партия «Марицы» плоха. Жду указаний».

– Посмотрим! – сказал Костов. – Я выясню этот вопрос… Завтра я еду на юг.

– Очевидно, ваш эксперт чрезмерно взыскателен, – продолжал министр. – Ждет, что мы предложим ему комиссионные, что ли?… Но «Марица» это делать не намерена.

Министр поджал губы и передернул плечами. Он возмущался продажностью служащих в частных фирмах, по забывал о себе.

– Не в этом дело! – с раздражением перебил его Костов.

Он знал, что районный эксперт – человек честный и тайно комиссионных не берет. А в фирме «Марица» подвизались никудышние дельцы, и она паразитировала на «Никотиане», используя свои связи с министром. Этот министпр походил на полицейского, который схватил тебя за шиворот и отпустит лишь после того, как ты угостишь его ракией. Услуги, которые он оказывал Борису, большей частью касались Стефана и были ничтожны. Необходим он стал бы только в случае стачки. Костова вдруг рассердило его откровенное вымогательство.

– Этот вопрос я урегулирую, – сказал он раздраженно. – Но и вы должны делать свое дело.

– Какое дело? – сухо спросил министр.

– Ваше!.. – Костов раздражался все больше. – Вы должны нажать на прессу! Левые газеты полны выпадов против «Никотианы». Это недопустимо! Вы хотите, чтобы мы купили табак у «Марины», а не спрашиваете себя, кому мы его продадим. Немцы нашептывают, намекают упрекают открыто… Да, да!.. Они хотят знать, с какой страной торгуют – с коммунистической или нет…

Костов вдруг оборвал речь, раздосадованный собственным гневом, который заставил его сказать больше, чем нужно.

– Вы кончили? – хмуро спросил министр.

– Да.

– Значит, немцы спрашивают, с какой страной они торгуют, с коммунистической или нет?

В Костове снова вспыхнула ненависть к этому злобному, невозмутимому человечку.

– Спрашивают!.. Да, да! – многозначительно подчеркнул он. – И будет совсем плохо, если вы доведете дело до того, что они сделают официальный запрос премьер-министру или дворцу.

– Хорошо. – Змеиный взгляд министра стал еще более неподвижным и холодным. – Тогда я им отвечу так: «Вы торгуете с коммунистической страной. Брат директора крупнейшей из фирм, с которой вы ведете дела, – коммунист!..» Моя полиция арестовала его вчера вечером.

Костов широко открыл глаза. Он понял, почему министр ведет себя так самоуверенно.

– Вы должны освободить его немедленно, – сказал эксперт.

– Подумаю.

– Что тут думать? – Костов опять посмотрел на министра с раздражением. – Не стоит беспокоить совет министров из-за таких пустяков…

– Я сказал: подумаю, – повторил министр. – Есть много вопросов, о которых можно было бы запросить мнение дворца и совета министров.

Когда гость Костова уходил, вопрос об освобождении Стефана и о табаке «Марицы» был улажен вполне. И тогда главный эксперт «Никотианы» снова понял, что мир грязен и подл, но иным быть не может.

На другой день по шоссе, которое вело в город X., шли две машины.

В первой – чтобы не глотать пыли – сидели господа фон Гайер, Лихтенфельд, Прайбиш и майор генерального штаба Фришмут из рейхсвера. Майор Фришмут, разумеется был в штатском, и очень трудно было бы заподозрить его в том, что он приехал в Болгарию не по торговым делам, а с какой-то другой целью. Машина была обыкновенный «мерседес». В отделке ее обнаруживались первые признаки той бережливости, которой нынешние времена требовали от немецкой промышленности. Тем же стремлением к бережливости объяснялось распоряжение Германского папиросного концерна, запрещающее служащим за рубежом покупать себе машины не германского производства. Поэтому один из четырех спутников, а именно барон фон Лихтенфельд, с некоторой горечью думал об элегантном «студебеккере», который катил сзади.

В «студебеккере» ехали генеральный директор «Никотианы» и ее главный эксперт. Костов сидел за рулем и с раздражением думал о рыболовных принадлежностях Прайбиша, которые заметил в машине немцев перед отъездом. Не меньшее негодование вызывали в нем ружье, собака и охотничьи гетры Лихтенфельда. Все это предвещало, что придется таскаться по горам.

В синем небе, над полями созревшей пшеницы, пели жаворонки, из леса веяло прохладой и ароматом дикой герани. На зеленых холмах паслись стада, и звон колокольчиков мелодично разносился в свежем воздухе, напоенном запахом росистой травы. Июньский день сверкал золотом и лазурью.

– Костов! – внезапно проговорил Борис.

– Что? – откликнулся эксперт. Голос его прозвучал резко, но Борис привык к этому и сделал вид, что не замечает недовольства своего соседа.

– Что вы заказали на обед?

– Форель под майонезом, телятину, цыплят, слоеный пирог, мороженое и фрукты.

– А жена бухгалтера сумеет все это подать?

– Думаю, что да… Она окончила американский колледж.

– Что будем пить?

– Я везу ящик своих испанских вин.

– Отлично, – проговорил Борис, очень довольный. – Так у вас еще осталось испанское вино?

– Это последнее… – сердито ответил эксперт.

– Надо заказать еще.

– Пошлипа слишком высока.

– Пустяки… Все за мой счет.

Борис рассмеялся.

– Вам смешно, а мне стыдно, – сказал эксперт.

– Чего?

– Этих любезностей… Остается только, чтобы они потребовали у вас женщин. Да, скоро мы начнем искать для них женщин и тогда совсем уподобимся грекам.

– Значит, станем хорошими торговцами.

– Вы – да, но только не я.

– Опять угрызения совести… Никак не научитесь презирать людей!.. Неужели вы боитесь сыграть на нравственной слабости каких-то немцев? Я был о вас более высокого мнения… Ну что ж, давайте станем порядочными! Предоставим сверхчеловекам стричь нас, как овец!..

Борис рассмеялся ровным, негромким, коротким смехом, после которого уже не хотелось спорить, – мрачным смехом, вызванным не отсутствием гордости, но полным отрицанием всех нравственных устоев.

Костов немного подумал и сказал твердо:

– Вы плохо кончите. – Затем решил переменить тему: – Что делать, если Лихтенфельд заупрямится?

– Позовете Прайбиша.

– Но и Прайбиш мало что смыслит в табаке.

– Тогда обратитесь к фон Гайеру и ко мне. Мы не пойдем ни на какие уступки.

– Это только сказать легко, – процедил Костов. – А провозимся дня три, не меньше.

– Может, и больше.

– Мне надоело забавлять немцев!.. – вспыхнул эксперт.

– Делайте, как я, – забавляйтесь сами.

– У меня другие вкусы.

– Вкусы – дело относительное… Я, например, не выношу ваших скучных снобов.

– Правильно, – сказал Костов. – На их счет не поживишься.

– Значит, я честнее вас… Я не делаю ничего такого, что мне претит. А вы ропщете, но не отказываетесь от жалованья, которое получаете в «Никотиане». – Борис усмехнулся. – Разве это хорошо?

– Это было бы отвратительно… Но я вовсе не потому держусь за вашу «Никотиану», что хочу получать жалованье – Костов театрально вздохнул. – Я и так достаточно богат!

– Почему же вы тогда не уходите?

– А так!.. По привычке, от скуки, душевная лень мешает, инертность… Порой я и правда презираю себя.

– Вот видите? А позволяете себе брапить работящего торговца.

– Вы не торговец, – сказал Костов. – Вы – гангстер!

Борис удивленно посмотрел на него и опять засмеялся. Даже эта дерзкая шутка не могла испортить его хорошее настроение после ночи, проведенной с Ириной.

– Костов!.. – произнес он немного погодя.

Эксперт окинул взглядом дорогу перед машиной и па мгновение повернул лицо к шефу.

– Неужели «Никотиана» надоела вам до такой степени? – с лукавой грустью спросил Борис.

– Надоела – мало сказать… Она мне опротивела!

– Разве я так плох?

– Плохи ваши методы.

– Значит, сам я не совсем уж темная личность?

– Вы фантазер, – ответил Костов, немного помолчав. – И это вас до некоторой степени оправдывает.

– Так. А хотите стать компаньоном фантазера? С процентным участием в прибылях и под моим руководством?

– Нет, – ответил Костов, – не хочу.

– Итак, вы серьезно решили со мной расстаться?

– Этого я еще не сказал.

– А что значит ваш отказ?

– Только то, что я не хочу быть вашим компаньоном. Зачем вам компаньон?

– Боюсь, как бы вы не поступили, как эксперт Барутчиева… Вы единственный человек, с которым я могу разговаривать по-дружески.

– Ну конечно!.. – с горечью проговорил Костов. – Я вам необходим.

– Не ставьте так вопрос. Просто вы мне нравитесь как человек. Теперь скажите прямо: вы остаетесь в «Никотиане»?

– Да, остаюсь. – В голосе Костова прозвучал гнев, и это было смешно. – Но компаньоном вашим не буду!.. Мне стыдно было бы стать вашим компаньоном.

В первой машине за рулем сидел Лихтенфельд, рядом с ним Прайбиш, а на задних местах – Фришмут и фон Гайер. Все четверо надели темные очки, чтобы предохранить свои светлые северные глаза от ослепительного блеска юга. Прайбиш и Лихтенфельд негромко разговаривали.

– Одно ясно, – с горечью проговорил барон. – Мы не внушаем им никакого уважения.

– А чего вы от них хотите? – спросил Прайбиш.

– Гм… – Лихтенфельд на секунду снял левую руку с руля и презрительно махнул ею. – Вы не были в Салониках и Афинах! А вы знаете, Прайбиш, что такое греки? Яхты, виллы, женщины… все предоставлено в ваше распоряжение!.. Пожелаете общества – вас сейчас же ведут в самый избранный клуб. Захотите фотографировать – вас повезут по всей стране. Заикнетесь об охоте – на другой же день вас доставят в горы. Богатый, щедрый, вежливый народ! У них есть настоящая торговая аристократия.

– Здесь народ победнее, – желая быть справедливым, заметил Прайбиш.

Слово «аристократия» слегка кольнуло его.

– Победнее? – с ненавистью проговорил барон. – А вы оглянитесь, посмотрите на автомобиль, который идет за нами. Такие машины я видел только в Довилле и Биаррице.

– Вы забываете, что они собственники, а мы служащие, – скромно возразил Прайбиш. – Кроме того, нам приходится экономить для армии.

Лихтенфельд опять презрительно махнул рукой и умолк. Прайбиш был крестьянин, ничтожный простолюдин, и ничего не мог понять. Напрасно Лихтенфельд пытаался вдохнуть в него как-то – говорить напрямик было опасно – гордость императорской Германии, еще не испорченной мещанством Гитлера. Но Гитлер твердил, что немцы – богоизбранный народ, и обещал им реванш и богатства всего мира. Это-то и заставило Лихтенфельда, несмотря ни на что, стать национал-социалистом в тот весенний вечер, когда гремели барабаны и тысячи сапог маршировали по Унтерден-Линден.

Лишний раз убедившись, что Прайбиш нечувствителен к оттенкам в политических убеждениях, Лихтенфельд снова заговорил о том, что болгары непочтительны.

– Как вам нравится поведение их эксперта? – спросил он. – Заметили, с каким презрением он смотрел на мою собаку и охотничье ружье?

– Нет, – немного раздосадованно ответил Прайбиш.

Чрезмерная мнительность барона начала ему докучать. Он заметил только, что Лихтенфельд невежливо потребовал от болгар посадить его собаку в их машину.

– Костов просто хотел дать мне понять, что наши развлечения его раздражают, – продолжал Лихтенфельд тоном капризного ребенка. – Гм!.. Вы взяли с собой удочку? – Он насмешливо взглянул на футляр с рыболовными принадлежностями Прайбиша. – Уж не воображаете ли вы, что вас пригласят на ловлю форели?

– Не пригласят – не пойду, – равнодушно ответил Прайбиш.

– Надо их подтянуть, Прайбиш! – самоуверенно проговорил барон. – Вот увидите, как я буду принимать у них табак!..

На задних местах фон Гайер и майор Фришмут тоже разговаривали негромко, но о более серьезных вещах. Оба они внимательно смотрели на карту, которая лежала развернутой у них на коленях.

– В долине этой реки могут сосредоточиться по меньшей мере четыре дивизии, – сказал фон Гайер, указывая чубуком своей трубки на карту.

– Да. – Фришмут кивнул головой. – Здесь есть обширные участки, пригодные для аэродромов и замаскированных лагерей… Значит, из Южной Болгарии к морю могут одновременно двинуться три параллельные колонны.

– Хорошо бы запросить мнение военного министерства, – предложил фон Гайер.

– Болгарского? – задумчиво спросил майор.

– Да. У них опыт трех войн, и они хорошо знакомы с местностью.

– Знаю, – сказал Фришмут. – Но мне кажется, еще рановато… Броман сообщил, что их офицерский состав не вполне очищен от антимонархических элементов. Да и Тренделенберг настаивает, чтобы мы не торопились… Впрочем, все это детали. Дороги важнее! – Майор озабоченно покачал головой. – Взгляните хоть на этот вот поворот. Совершенно неправильное решение… Танкам и тяжелой моторизованной артиллерии здесь не пройти.

– Шоссе они могут поправить быстро, – сказал фон Гайер.

– Это нужно внушить им уже сейчас.

– Хотите просмотреть всю дорогу? – спросил бывший летчик.

– До каких пор?

– До греческой границы.

– Чего бы лучше, если только это не возбудит подозрений.

– Не беспокойтесь! – Фон Гайер зажег потухшую трубку. – Пока Лихтенфельд и Прайбиш будут принимать табак, мы с вами поедем дальше па юг. Увидите и немецкие могилы – память о прошлой войне.

– Могилы? – Майор Фришмут равнодушно поднял голову от карты, на которой его опытный глаз уже отметил некоторые неточности. – Вот как?

– Могилы!.. – каким-то особенным тоном повторил бывший летчик из эскадрильи Рихтгофена.

Эти следы минувшей войны влекли его и вызывали какое-то странное волнение. Но майору Фришмуту его волнение передаться не могло. Это был скучный педант, заурядная счетная машина из генерального штаба. Собирая сведения, нужные для плана будущего похода, он совершенно не думал о могилах.

– За ними хорошо смотрят? – спросил майор из приличия.

– Достаточно хорошо, – ответил фон Гайер. – Болгары чтят мертвых.

Час спустя автомобиль достиг бедных болотистых окраин городка X. Ударил в иос застоявшийся запах фруктов, сохнущего табака и жилищ, не имеющих канализации. На пыльной улице, среди фруктовых отбросов, вместе с ленивыми собаками копошились грязные, полуодетые дети с болячками вокруг губ. На оградах и крышах приземистых домишек Сушнлся навоз, который зимой должен был служить топливом. Было что-то пронзительнр грустное в этой нищете под ярко-синим небом, в этих безрадостных улицах с полудеревенским и рабочим населением, которое кормилось главным образом поденщиной на складах. Но теперь почти все склады были закрыты, и безработица особенно жестоко душила людей. Появление автомобилей вызвало здесь враждебное оживление. Угрюмые мужчины мрачно и долго смотрели вслед господским машинам. Женщины, стиравшие в грязных дворах, поднимали головы от своих корыт и ругались. А ругались они крикливо и злобно с яростью матерей, дети которых голодают. Несколько оборванных мальчишек стали кидаться камнями, которые с шумом застучали по крыльям немецкой машины.

– Неужели тут нет полиции? – негодующе спросил Лихтенфельд.

Он сердито обернулся, назад, словно хотел обрушить свой гнев на тех, кто сидел в задней машине. Фришмут бесстрастно смотрел перед собой, а фон Гайер нахмурил брови.

– Это рабочий квартал, – пояснил Прайбиш.

– Да, – процедил фон Гайер. – Страшная бедность! Экономика у болгар в прескверном состоянии.

– Но это как раз хорошо! – важно отстучала счетная машина генерального штаба. – Вот для них еще одно основание идти вместе с нами!..

Никто ему не возразил. Фришмут снова начал размышлять о том, как плохи горные дороги в Болгарии – по ним не пройдут ни танки, ни тяжелая моторизованная артиллерия. Лихтенфельд бранил про себя наглость простолюдинов. Прайбиш отворачивался, чтобы не видеть грязных голодных ребятишек, ибо это зрелище оскорбляло его отцовские чувства – у пего было четверо детей. А фон Гайер снова погрузился в мрачное и сладостное возбуждение, которое всегда охватывало его при мысли о грядущей войне. Он думал о германской мощи и ее извечном противнике – славянах, о гигантских сражениях, которые забушуют на континентах, океанах и в воздухе, о величии победы и мрачном жребии поражения. Он взвешивал и последствия победы, и последствия поражения, потому что был не так ограничен и скован, как счетная машина из генералу ного штаба, сидевшая рядом. Он взвешивал огромные силы врага на востоке, вероятную гибель миллионов немцев смертоносное действие новых видов оружия и разрушение цветущих городов. И только одно не приходило ему в голову: каким мрачным безумием было непрестанно думать о новой войне с тех самых дней, когда Германия потерпела последнее поражение, с того самого часа, когда он, фон Гайер, снял с себя форму летчика боевой эскадрильи Рихтгофена.

Наконец автомобили миновали кварталы, населенные озлобленной беднотой, проехали через центр, безлюдный и сонный, и повернули в сторону вокзала, к складу «Никотианы».

Приезд господ, как всегда, вызвал суматоху и соперничество. Первым их встретил Баташский, теперь директор филиала. Борис поздоровался с ним любезно. Баташский воровал, но производил закупки в деревне столь энергично, что польза, которую он приносил фирме, с лихвой покрывала ущерб от его воровства. Хозяева его ценили.

Но сегодня Баташский с горечью понял, что он как был, так и остался неотесанным невеждой, лишенным возможности продвигаться по службе. Тщетно пытался он обратить на себя внимание господ, тщетно потел под палящим солнцем в крахмальном воротничке, лаковых ботинках, полосатых брюках и темном пиджаке, которые сшил себе в предвидении подобных случаев по совету аптекаря – старомодного франта, с которым он каждый вечер играл в кости. Борис и главный эксперт сразу же забыли про Баташского, а немцы бросили на него лишь мимолетный взгляд. Его вечерний костюм казался смешным и нелепым среди светлых и удобных костюмов хозяев. Обливаясь потом от жары и неловкости, Баташский проклинал светские познания своего приятеля.

Зато новый бухгалтер, встретивший гостей в белых брюках и рубашке с короткими рукавами, имел большой успех. По распоряжению Костова он жил в доме при складе; его жена заботилась о дорогой обстановке этого дома, а при случае могла и приготовить угощение, и подать его, и встретить гостей. Бухгалтер говорил по-немецки, так как получил коммерческое образование в Германии, а жена его училась в колледже английскому и французскому языкам. В общем, супруги устроились неплохо. Они ели и пили вместе с господами, а обиженный Баташский вынужден был слушать, как подтрунивают над цветом его галстука, над бриллиантином, которым он мазал свои жесткие волосы, и флаконом одеколона, который он носил в кармане… А ведь всем известно, что он, Баташский, целиком ведает работой на складе, Баташский руководит обработкой, Баташский таскается по деревням в грязь и холод, скупая табак, Баташский выносит ругань крестьян и угрозы рабочих… Правда, сейчас господа пригласили его на обед, но сделали они это по необходимости, а он все время потел, краснел и молчал, стесняясь того, что не умеет разговаривать с утонченными людьми. Да, плохо не иметь образования… Никогда прежде Баташский не переживал более тяжкого приступа отчаянья и горечи, и никогда честолюбивая жажда подняться из низов не жгла его более жестоко, чем сейчас.

После обильного, хорошо сервированного обеда, которым остался доволен даже Лихтенфельд, господа отправились отдыхать. Фришмут привел в порядок свои заметки, а переписав их начисто, лег и сразу уснул. Лихтенфельд, страдавший повышенной кислотностью, принял соду и начал допекать Прайбиша – комната у них была общая, – с горечью сравнивая свою жизнь на Ривьере с тем жалким прозябанием, на которое судьба обрекла его теперь. Но Прайбиш опять не понял намека на неправильное отношение фюрера к аристократам.

– Надо вам смириться, – сурово сказал он. – Теперь наше государство нуждается в иностранной валюте для покупки сырья. Вот выиграем войну, к которой готовимся, и вы снова сможете проводить отпуск на Ривьере.

– А вы думаете, мы ее выиграем? – вдруг вскипел барон. Он был так раздражен кислотами в собственном желудке и мужичьей тупостью Прайбиша, что закричал, позабыв об осторожности: – Все спуталось, все летит вверх тормашками!.. Меня, Лихтенфельда, заставили копаться в табачных листьях, а какие-то полицейские приставы становятся советниками посольства!

– Но вы уже специалист но табаку, – возразил Прайбиш.

– Да, «уже»! – с горечью повторил Лихтенфельд.

Потом расхохотался и внезапно успокоился при мысли о том, что от судьбы не уйдешь и что надо относиться ко всему с иронией. Значит, вот до чего дошло! Он, Лихтенфельд, непризнанный и одинокий, но преисполненный непримиримой прадедовской гордости, ищет отдушины для своего гнева в каком-то Прайбише!.. Разумеется, он все это делает, снисходя до своего собеседника, из эксцентричности, как настоящий аристократ. Барон попытался убедить себя, что грубость простолюдина его нимало не раздражает.

– Может быть, впоследствии вам удастся вернуться на дипломатическое поприще, – сочувственно проговорил Прайбиш.

– Вернуться?… – Новый приступ гнева заставил барона забыть о снисходительности. – Никогда!

– А что же вы будете делать?

– Останусь в концерне.

– Ото самое разумное, – серьезно согласился Прайбиш, глубоко озабоченный судьбой барона. Несколько поколений крестьян Прайбишей исполу обрабатывали земли баронов Лихтенфельдов. И несколько поколений крестьян Прайбишей привыкли с почтением думать о глупостях, сказанных баронами Лихтеифельдами. Феодальные времена прошли, но последний Прайбиш, занимающий высокий пост в иерархии Германского папиросного концерна, столь же почтительно задумался, по унаследованной привычке, над глупостью последнего Лихтенфельда.

– Хорошо было бы по этим деликатным вопросам не выражать своих мнений во всеуслышание, – благоразумно добавил Прайбиш.

– Почему? – насмешливо спросил Лихтенфельд.

В голосе его прозвучала дерзость, какой Прайбиш никогда не посмел бы проявить.

– Потому что этим вы нарушаете наше единство, – проговорил Прайбиш.

Но он хотел сказать: «Потому что кто-нибудь может вас услышать».

– Смешно, Прайбиш! – Сода уже нейтрализовала кислоты в желудке барона, и это настроило его на более мирный лад. – Я немец и никогда не нарушу нашего единства, но я стою за честь своего рода. Лихтенфельды существуют в течение трех веков! Лихтенфельды много дали Германии'

\_\_ О да, разумеется, – почтительно согласился Прайбиш. – В прошлом ваши предки…

Он не докончил фразы, подумав, что барон, вероятно, уже утомился и наконец ляжет спать. Но нелепое наследственное уважение, которое Прайбиш питал к нему, неожиданно уступило место легкому якобинскому гневу. Вздор!.. Лихтенфельд недоволен потому, что государство печется о своем вооружении и не позволяет аристократам проматывать валюту на модных заграничных курортах.

– Значит, вы считаете, что я теперь липший? – спросил оскорбленный Лихтенфельд.

– Напротив!.. – смущенно поправился Прайбиш. – Вы стали хорошим табачным экспертом… У вас есть заслуги на экономическом фронте.

Он не подозревал, какую обиду нанес барону.

Лихтенфельд с горечью умолк. Потом, когда тяжесть в его желудке совсем прошла, он сообразил, как опасно было критиковать национал-социалистов даже при Прайбише. Лихтенфельд давно уже сознавал, что гитлеризм – напасть, чума, бедствие для Германии. Гитлеризм, как плесень, охватил и аристократию. Даже фон Гайер – потомок древнего бранденбургского рода, – видимо, поражен этим неизлечимым недугом.

И Лихтенфельд тревожно спросил себя, не слышал ли фон Гайер их опасного разговора.

Но фон Гайер ничего не слышал.

Растянувшись на диване в комнате, некогда принадлежавшей Марии, он мечтал о немецком могуществе в полудремоте, навеянной превосходным вином. И, как всегда, эта мечта казалась фон Гайеру необозримой, величественной, таинственной, существующей как бы самостоятельно, вне человеческого сознания, вне времени и пространства и пронизанной каким-то драматизмом и скорбью, словно музыка вагнеровской оперы. Но почему – скорбью? Может быть, потому, что его страстно желанная мечта была недостижима… В этот солнечный день, в полудремоте, навеянной вином, он ясно понял, что мечта действительно недостижима. Огромные армии должны были столкнуться, по в хаосе их столкновения мысль его предвидела только разгром Германии.

И все же вопреки этому фон Гайер испытывал какое-то волнение, какое-то острое возбуждение, которое примиряло его с войной. Может быть, источник этого волнения таился в прошлых, феодальных временах, в инстинкте его предков, которые в погоне за золотом и хлебом обрушивались на римские легионы. Может быть, этот инстинкт еще жив и в нем, фон Гайере, и в людях, которые управляют Германией, и во всех немцах!.. Нет, не этим объяснялось его волнение. Не могут теперешние германцы уподобиться своим диким предкам, которые полторы тысячи лет назад отправлялись на войну, не думая о гибели. Никто лучше фон Гайера не знал, чем теперь вызывались войны. Волнение, которое в этот солнечный день внушал фон Гайеру призрак войны, родилось из убеждения в ее неизбежности и надежды на победу. Кто знает, может быть, Германии суждено победить!.. И фон Гайер, служащий и послушное колесико в машине Германского папиросного концерна, не понял, что он такой же германец, как и его предки, которые жили полторы тысячи лет назад.

Он замечтался и уснул. В тишине летнего дня сонно прокукарекал петух.

Около шести часов Прайбиш и Лихтенфельд проснулись и, выпив кофе, приготовленный женой бухгалтера, все еще раскрасневшиеся после сна, спустились в сад. Завидев их из канцелярии, бухгалтер подошел к ним. Может быть, господам что-нибудь нужно? Нет, ничего. Просто они в хорошем настроении и хотят выкурить по сигарете, прежде чем приступить к работе.

Жара спала, солнце клонилось к западу. В небе летали голуби. Послеобеденная тишина сменилась предвечерним оживлением. Со склада донесся ровный и продолжительный звон электрических звонков. Кончался рабочий день в цехах обработки табака. Затем из дома вышел Костов. Он приветствовал барона и Прайбиша вежливо, но без той чрезмерной любезности, которой следовало бы ждать от эксперта, имеющего дело с покупателями.

– Начнем? – спросил Костов.

– Немного погодя, – ответил барон.

Лихтенфельд стал у решетчатых ворот, которые вели из сада во двор, и впился глазами в работниц, шумной толпой выходивших со склада. Духота, жара и усталость после длинного рабочего дня убивали всю их привлекательность. Но кое-где все же мелькало молодое и свежее лицо, еще не обезображенное нищетой. Время от времени слышался жизнерадостный, кокетливый смех, который не смогли заглушить заботы. Появлялись девушки с изящными фигурками, бедные платьица из пестрого ситца облегали красивые груди, округлые, стройные бедра.

Водянисто-голубые навыкате глаза барона смотрели все пристальней, приобретая жадное, напряженное и насмешливое, как у сатира, выражение. И вот Лихтенфельду пришла в голову оригинальная и смелая идея. Иные из этих девочек, если только их хорошенько отмыть, могут оказаться достойными его внимания. Почему бы и нет?… Не будь главный эксперт «Никотианы» таким дикарем, можно бы устроить в честь Лихтенфельда небольшой кутеж с двумя-тремя из этих девиц. Одна из них, лет восемнадцати, не больше, показалась барону особенно аппетитной. Словно желая похвастаться своими прелестями, она вдруг наклонилась и начала застегивать ремешок сандалии, обнажи «при этом часть нежно-смуглой ноги выше колена. Барону давно нравились невинные девушки из простонародья. Их первобытная страсть, сочетаясь со стыдливостью, вызывала у него особенно приятные ощущения. Дрожь пробежала у него по спине, когда он вспомнил о маленькой оргии с девушками, работавшими на складах в Кавалле, которую устроили для него любезные греческие эксперты. Конечно, можно бы и тут организовать нечто подобное, но болгары недогадливы. Маленькая работница вдруг подняла голову и заметила его пристальный взгляд. Лицо барона расплылось в выразительной вкрадчивой улыбке. Девушка широко раскрыла глаза. Лицо ее стало сначала растерянным, потом возмущенным и, наконец, гневным. Но тут же, решив, что незнакомец смеется над ее рваной сандалией, она картинно показала ему язык. Лихтенфельд увидел в этом своеобразное поощрение и, нимало не смутившись, в свою очередь высунул язык. Девушка смутилась еще больше. Потом она громко и насмешливо выкрикнула что-то и показала рукой на барона, так что и другие работницы увидели его высунутый язык. Раздался громкий дружный смех, и кто-то завыл: «У-у-у!..» Но работницы не остановились: они очень устали и спешили скорей разойтись по домам. Девушка ушла с ними.

Все это видели бухгалтер, Прайбиш и Костов.

– Потеха, правда? – вежливо проговорил бухгалтер по-немецки.

Он был прямо-таки ошеломлен поведением барона, но не смел выдать свои эмоции перед столь высокопоставленным лицом. Прайбиш покраснел от стыда, но попытался сгладить неприятное впечатление широкой улыбкой, делая вид, будто все случившееся просто маленькая безобидная шутка оригинала барона.

– Вам понравилась эта девочка?… – внезапно спросил Костов.

И все почувствовали, какое злорадство и удовольствие прозвучали в его тоне.

– Да! – ответил барон. – Люблю пошутить с народом.

Только бухгалтер наивно поверил в великую любовь Лихтенфельда к народу. Костов послал его предупредить Ваташского, что скоро начнется осмотр табака. Бережливый Прайбиш ушел, чтобы надеть под рабочий халат старый пиджак, который он возил с собой в чемодане и на котором фрау Прайбиш, опытная хозяйка, искусно заштопала протертые локти.

Оставшись вдвоем с главным экспертом «Никотианы», Лихтенфельд сделал последнюю попытку договориться с ним. Он взял Костова под руку и повел его по аллее. Самое ужасное здесь – это скука, говорил барон, и он просто жаждет избавиться от нее. Лихтенфельд чистосердечно признался в этом, не забыв намекнуть, что благоприятные результаты приемки будут в большой мере зависеть от его настроения.

– Вот как?… – проговорил Костов, побагровев от гнева. – Чем же мы можем вас развлечь?

Барон теперь оставил мечту о медвежьей охоте ради более сильной страсти, которую испытывал сейчас, и признался Костову, что хотел бы покутить с девушками-работницами.

– Исключено! – сухо ответил эксперт.

Но вдруг лицо его сделалось чрезвычайно сочувственным и доброжелательным. Он в свою очередь взял барона под руку и сказал ему дружеским тоном, с видом человека, который и не думает насмехаться:

– Послушайте, Лихтенфельд! Пройдитесь-ка вечерком по той темной улице, что за казармой, и вы встретите много уличных женщин… Подберите себе по вкусу хоть целую компанию, а фирма с удовольствием предоставит вам комнату, где вы с ними позабавитесь.

– Unsinn!..39 – как ужаленный выкрикнул барон тонким фальцетом.

Но он не сказал ни слова больше, так как к ним приближались Фришмут, Прайбиш и фон Гайер.

На другой день фон Гайер и Фришмут уехали в машине на юг, Костов погрузился в работу с Прайбишем и Лихтенфельдом, а Борис принял делегацию безработных из города.

Двое исхудавших, бедно, но опрятно одетых мужчин и маленькая женщина, брат которой был полицейским в околинском управлении, почтительно стояли перед столом господина генерального директора. Кмет подробно объяснил им, как надо держаться. Просьбу свою они должны высказать смиренно и учтиво. Впрочем, в этом отношении залогом служила их беспартийность.

Первым заговорил старший из мужчин. Лицо у него было кроткое и печальное, а глаза прозрачно-голубые, и это придавало ему сходство с церковным служкой. Под старый, давно вылинявший пиджак он надел свадебную рубашку жены, так как другой у супругов но было, а к директору надо было явиться опрятным. Но мысль о том, что он в женской рубашке, все время смущала его, и он то и дело отгибал рукой лацканы пиджака. Начал он запинаясь, но вскоре овладел собой и высказал много справедливых суждений. Он выражался просто, ясно и убедительно, потому что ничего не выдумывал, а горькие его слова шли прямо из сердца.

– Едва перебиваемся, господин директор… – говорил он умоляющим голосом. – Восьмой месяц без работы. Проели последние припрятанные гроши, а жить надо. Дети наши болеют. Денег пет ни на доктора, ни на лекарства. В церковь пойдем – как говорится, не на что свечку поставить… А ведь мы люди неплохие, от коммунистов держимся подальше, стоим за царя и отечество. Только работы хотим.

Он на мгновение умолк, чтобы привести в порядок свои мысли и продолжать. Но рабочий, стоявший рядом с ним внезапно поднял руку, как на собрании, и попросил слова'. Борис кивком разрешил ему говорить. Это был молодой красивый парень с темными веселыми глазами. Волосы его были старательно зачесаны назад, да и на всей его внешности лежал легкий отпечаток щегольства, вернее, стремления к щегольству, свойственного молодости, которая всегда тянется к любви и жизни. Он был в старом, изъеденном молью, но хорошо сшитом пиджаке – подарке того аптекаря, который сеял новые идеи среди рабочих, – и черной рубашке с белыми кантами – форменной рубашке одной патриотической организации. Богатые члены этой организации охотно дарили бедным такие рубашки.

– Я вхожу в комитет от имени рабочих-патриотов, – громогласно заявил он. – Положение у нас очень тяжелое, сами видите… Так больше продолжаться не может, господин директор! Посмотрите, что происходит в Италии и Германии!

Речь его была дерзкой, почти угрожающей. Она призывала к какой-то неведомой справедливости, которая разрешит все вопросы, если только хозяева и рабочие станут патриотами. Могла бы она понравиться и Борису, если бы рабочий послушался кмета и говорил более мягко. Но аптекарь – душа новоиспеченных городских патриотов – слишком уж распалил его с помощью трехсот левов и слегка попорченного молью пиджака.

– Вы безработный? – спросил Борис.

– Да, безработный, – ответил молодой человек, пораженный бесстрастным голосом Бориса.

Господин генеральный директор «Никотианы» рассеянно повернулся к работнице.

– Голодаем мы, вот что… – с горечью подтвердила маленькая женщина, заметив, что ее удостоили взглядом. – Не во мне дело, на меня не гляди, но у меня ребятишек трое. На шелудивых котят смахивают, сиротинки… Был у меня муж, золотой человек, да македонцы его порешили, накажи их господь…

– Твои личные дела тут ни при чем!.. – прервал ее молодой рабочий.

Женщина умолкла, испугавшись, что сказала что-то неуместное.

– Ясно! – сказал Борис. – От кризиса страдаем мы все.

Все?… Насмешливый огонек загорелся даже в глазах кроткого беспартийного рабочего, который походил на служку и за чью овечью покорность ручался кмет. Но он не посмел возразить из боязни, что его примут за коммуниста. Он был неплохой человек, почитал царя и отечество и по какой-то своей бездонной глупости думал, что это может ему помочь.

В комнате наступило молчание.

– Ну говорите же!.. – В голосе Бориса прозвучали досада и нетерпение. – Чего вы от меня хотите?

– Работы! – почти одновременно ответили все трое.

– Где же я вам найду работу? – враждебно спросил господин генеральный директор. – Я нанял столько рабочих, сколько мне было нужно. А нанять больше не могу. «Никотиана» не благотворительное общество.

– Но мы голодаем! – с грустью заметил рабочий, надевший свадебную рубашку жены.

– Что же делать? – Борис пожал плечами. – Потерпите до следующего сезона.

– До тех пор мы сдохнем, сынок! – проговорила женщина. – С голоду помрем.

– Ну, умереть не так-то легко.

– Спроси чахоточных!

– О чахоточных пусть заботится доктор.

Борис протянул руку и нажал кнопку электрического звонка над письменным столом.

– Как?… Значит, вы ничего для нас не сделаете? – глухо спросил представитель рабочих-патриотов. – Этим вы подводите комитет беспартийных, а коммунистам даете в руки козырь.

Борис с досадой закурил сигарету. Вошел рассыльный.

– Позови Баташского, – сказал Борис.

– Дай нам работу, сынок! – запричитала женщина, вытирая слезы. – Дай, господи, здоровья и тебе, и жене твоей, и деткам твоим…

– Мы неплохие люди! – уверял рабочий с прозрачно-голубыми глазами. – Только что бедняки. Вот какое дело! А власть мы уважаем…

Но Борис не слушал. Делегаты безработных, их жалобы, их жалкое бормотание казались ему надоедливыми и глупыми, и чудилось, будто он нечаянно ступил в грязную лужу.

В канцелярию вошел Баташский, потный и запыхавшийся.

– Кто вас сюда пустил, а? – сразу же налетел он да рабочих, заметив недовольство на лице Бориса.

– Климе, сторож… – ответила женщина.

– И не стыдно вам?

– А чего нам стыдиться? – спросил молодой рабочий. – Да разве так лезут к господам?… Что здесь, богадельня?

Баташский виновато взглянул на хозяина.

– Сколько человек мы можем принять на работу? – спросил Борис.

– Ни одного. Я выбрал лучших.

– Примешь еще десять человек!.. – распорядился господин генеральный директор. – В том числе вот этих.

Он великодушно показал рукой на делегатов. Баташский смерил их с головы до ног враждебным взглядом.

– Так мало? – с горечью спросил делегат рабочих-патриотов. – Что такое десять человек?… По списку в городе тысяча восемьсот безработных.

– А ты чего хочешь? – вскипел Баташский. – Чтобы мы всех кормили?

Молодой рабочий печально смотрел на Бориса. План аптекаря – примирить труд с капиталом – полностью провалился.

– А ну, выметайтесь! – грубо приказал Баташский. – Чего еще ждете?… Ведь хозяин принял вас на работу!

Молодой рабочий угрюмо направился к двери. Его товарищ и маленькая женщина двинулись за ним, радостно бормоча слова благодарности.

– Ишь мошенники!.. – бросил им вслед Баташский, словно рабочие эти переходили на иждивение фирмы.

На третий день Борис поехал обедать к родителям. Он построил для них маленький удобный дом, рассчитанный на то, чтобы смыть со всего семейства позор прошлых унижений.

Бывший учитель латинского языка стал теперь одним из первых и самых влиятельных лиц в городе. Он вышел на пенсию и был выбран председателем совета читальни я местного отделения организации «Отец Паисий».40 В торжественные дни он публично произносил речи, пересыпанные латинскими цитатами, а шутники запоминали их и, передразнивая оратора, повторяли в кафе, по невежеству перевирая слова и синтаксис этого благородного языка. После того как сын его преуспел на торговом поприще, Сюртук дал волю своему диктаторскому характеру и вел себя, как древнеримский консул. Ни одно мероприятие не могло осуществиться без его одобрения. Однажды, когда поднялся вопрос о сооружении крытого рынка и выяснилось, что придется нанести ущерб остаткам каких-то древнеримских развалин, упорство его дошло до того, что кмет был вынужден подать в отставку. В этом споре Сюртук, проявив железную неуступчивость, использовал связи и влияние сына в министерстве. Отставка кмета чуть не была принята а крытый рынок построили в другом месте.

Мать Бориса, напротив, казалось, хранила память о горечи минувших унижений и как была, так и осталась замкнутой. Ее хотели было выбрать председательницей женского общества, но она отказалась и вошла только в комитет попечительниц сиротского приюта, а это был почетный, но не очень видный пост. Она была так же печальна, скромна и озабоченна, как прежде. Болезнь Марии ее глубоко огорчила. Катастрофа в семейной жизни Бориса внушала ей тревогу за его будущее. Спокойную и добродетельную Марию трудно было заменить другой женщиной. Мать простодушно верила, что Борис потрясен этим несчастьем.

По неведомым, опасным путям Павла пошел и Стефан. Его арестовали в связи с какими-то воззваниями, и, хотя отпустили сразу же, мать этот арест глубоко встревожил. Ей казалось, что невидимые опасности подстерегают его всюду.

Как же так вышло, что судьба толкнула ее сыновей по столь разным путям?

Иногда она думала о всех троих своих сыновьях, сравнивая их характеры и спрашивая себя, кого из них она любит больше. Но все казались ей одинаково милыми. В каждом было что-то особенное, что отличало его от других и в чем воплощалась частица ее духа. Павел был красавец, самый крепкий из трех и физически и духовно. В нем жила романтика ее молодости, мечта о сильном мужчине, скитальце и бунтаре, который привлекает внимание женщин, но сам не гоняется за ними. Революционный идеал, которым он увлекся, казался ей необходимым для проявления его бунтарского, неспокойного духа. Борис выглядел духовно ограниченным, но он олицетворял трезвый реализм, упорство и волю, которые и привели его к богатству, Ее немного смущала враждебная холодность, с какой он относился к братьям. Но она никогда не могла забыть печальных дней бедности и унижений, от которых избавил семью Борис. В нем она видела ту твердость, с которой сама преодолевала невзгоды своей собственной жизни. И наконец Стефан. Этот был вспыльчив и самоуверен, шел по следам Павла, но превосходил его горячностью. В нем она угадывала зачатки фанатизма и еще смелость мысли и поведения, которой хотела, но не могла достичь сама, так как была слабой женщиной, скованной предрассудками. Стефан шел опасным путем, и мать любила его за это еще больше.

Она гордилась тремя своими сыновьями, одинаково сильными и полными жизни, одинаково энергично добивавшимися своей цели, любила их мучительно и страстно, потому что они вырвались из-под ее власти, избрав свои пути в жизни, и с инстинктивной материнской тревогой думала об их судьбе.

И поэтому, увидев Бориса, она снова затосковала о своей утраченной власти, некогда помогавшей ей поддерживать согласие между сыновьями строгостью упреков и нежностью материнской ласки. Сегодня Борис показался ей еще более далеким и чужим, чем год назад. Впервые он пришел к родителям без Марии. Лицо у него было упитанное, спокойное, самоуверенное; казалось, будто несчастье с женой ничуть его не коснулось.

Он почтительно поцеловал руку матери, немного принужденно поздоровался с отцом и из уважения к родителям не выказал удивления, увидев Стефана. Обменявшись рукопожатием, братья взглядом заключили молчаливое соглашение потерпеть друг друга, пока не кончится обед. Но мать с горечью поняла, как притворна их взаимная вежливость. Они собирались только разыграть в ее честь сцену братской терпимости, которой на самом деле не существовало. Их уже ничто не связывало… Ничто, кроме сентиментальной силы воспоминаний да каких-то остатков инстинкта сыновней любви к женщине, которая страдала ради них и которую они теперь скорее уважали, нежели любили. Ведь любовь к матери отступала у них на задний план перед лихорадочным стремлением к тем целям, которые они преследовали.

Бездна, заполнявшая их души, отражалась даже на их внешности. От холодного лица и красивого костюма Бориса веяло эгоизмом богача, который даже в своих высших проявлениях живет только для себя. А в аскетически пламенных глазах, впалых щеках и купленном в лавке готового платья дешевом костюме Стефана отражалось самопожертвование человека, отрекшегося от самого себя. Один был богач, владелец «Никотианы», а другой – пролетарий, не имеющий ничего. Они были одной крови, одинакова была у них воля к жизни, а сердца – разные.

Мать пригласила сыновей на обед, не предупредив, что они встретятся. Она знала их непримиримые характеры. Борис принял приглашение по привычке, а Стефан – в виде исключения. Он словно отрезал себя от родителей и брата. Теперь он сам себя содержал, занимая какую-то маленькую должность в конторе склада «Никотианы». С мелочной гордостью он регулярно ходил на работу и с насмешкой отказывался от всякой помощи или повышения по службе в фирме. Но один обед… да, только один обед ради скорбной и нежной улыбки матери – это он мог принять. Ее обман не рассердил его – Стефан заметил, что отец и Борис решили его не раздражать. Они даже снисходительно похлопали его по плечу, словно мальчугана, на шалости которого не следует обращать внимания. Стефан почувствовал, что и это делалось ради матери.

Родители и дети сели за стол. С самого начала все стали перебрасываться добродушными шутками. Это ничуть не было похоже на семейные обеды в прошлом, когда учитель латинского языка возвращался из гимназии усталый и кислый, а дети презрительно молчали и вставали из-за стола полуголодными. Теперь мать приготовила тушеных цыплят и сладкий слоеный пирог, и все ели с удовольствием. Сюртук непрерывно рассказывал анекдоты и подливал в бокалы вино. Богатство сына превратило его в настоящего болтуна, чуть ли не в остряка. Но вскоре разговор стал более серьезным. Бывший учитель принялся умело Доказывать сыну, что в городе необходимо создать музей. Читальня уже приобрела много древнеримских предметов, турецких рукописей и документов эпохи болгарского Возрождения. Коллекции заслуживают того, чтобы для них был создан музей.

– За чем же дело стало? – спросил Борис.

– Помещение мы нашли, но нужны шкафы со стеклянными дверцами и витрины, – ответил Сюртук.

– Так и купите их!

– Дорого стоят, а у читальни нет денег.

– Ты хочешь сказать, что деньги есть у «Никотианы"?

Сюртук усмехнулся и объявил, что имя его сына должно быть вписано в золотую книгу.

– Ваша золотая книга – просто засаленная бухгалтерская ведомость! – отозвался Борис – И здешние скупердяи вписывают в нее доход от какого-нибудь курятника, если налог на это строение выше, чем арендная плата, которую они получили бы.

Стефан громко рассмеялся. Шутка Бориса ему поправилась.

– Надеюсь, что ты не поступишь как скупердяй, – серьезно проговорил Сюртук.

– А ты как думаешь, мама? – внезапно спросил Борис.

Мать вздрогнула. Смех Стефана больно отозвался в ее сердце. Она размечталась о том, как было бы хорошо, если бы братья дружили и всегда смеялись так жизнерадостно, как сейчас.

– По-моему, сиротский приют важнее, – сказала он а, рискуя рассердить мужа. – У детей не хватает белья.

– Тогда подумаем сначала о детях, – предложил Борис. – А о музее поговорим в следующий раз.

Наступило торжественное молчание. Борис достал чековую книжку и подписал чек на десять тысяч левов. Но даже мать поняла, что при огромном богатстве Бориса сумма была слишком уж ничтожной.

Прислуга подала кофе. Борис и Стефан посидели в родительском доме еще час, вежливо предоставив возможность отцу наговориться всласть. Сюртук увлекся и делал фантастические предсказания насчет того, как должно измениться международное положение. С помощью Гитлера он рвал договоры, разбивал армии, перекраивал границы. Как будто Гитлер только о том и думал, чтобы создать Великую Болгарию. Сыновья снисходительно молчали. Он я знали, что людям, страдающим склерозом, возражать не следует. Наконец они ушли, а мать заперлась в своей комнате и немного поплакала.

**XIV**

После нелегальной конференции в горах Лила целиком посвятила себя партийной работе, однако большими успехами похвалиться не могла. Рабочие волновались, были какими-то слишком уж придирчивыми и занозистыми. Лилу они слушали равнодушно, а потом задавали ей вопросы, по которым было видно, что они не согласны с партийными директивами. Политические лозунги поднимали на ноги только активистов, которых полиция быстро разгоняла плетьми. Но рабочим как будто надоело регулярно подвергать себя бессмысленному избиению. Очень подозрительно стали вести себя многие члены бывшей рабочей партии,41 которых городской комитет по указанию областного отказался признать коммунистами, хотя они имели заслуги в прошлом. Эти люди начали заниматься агитацией по-своему и сторонились бывших товарищей. Как ни странно, Лиле иногда казалось, что существуют две партии с почти одинаковой идеологией, из которых одна называется коммунистической, а вторая, неизвестно почему, не носит этого имени.

Напряжение, трудности и споры, с которыми все это было связано, помогли Лиле до некоторой степени заглушить тоску по Павлу. Образ его словно побледнел, превратился в чуждую и безразличную ей тень, блуждающую где-то в далеких странах. Он писал Лиле сначала из Франции, потом из Бразилии, потом из нефтяных районов Аргентины. Это были сердечные и теплые письма, но они не особенно волновали ее. От них веяло самодовольной радостью, и Лила, читая их, только горько улыбалась. «Ты наконец нашел свой идеал! – иронически написала она в ответ на одно письмо. – Бродишь в свое удовольствие по свету, а решать трудные задачи на родине предоставляешь нам… Но я на тебя не сержусь, так как письма ты пишешь радостные, а значит, здесь тебя раздражала только дисциплина. Моя жизнь протекает однообразно и трудно среди простых, маленьких людей, вместе с которыми я медленно поднимаюсь в гору. На этом пути нет пальм и тропического солнца, но уверяю тебя, что я от этого не чувствую себя несчастной». Павел не ответил на последнее письмо. Очевидно, его задели ее намеки.

После того как Павел перестал писать, Лила начала еще чаще вспоминать об их прошлой близости. И воспоминания тревожили ее целомудренные ночи. Она пыталась прогнать эти мысли, пыталась думать о товарищах, которые осторожно ухаживали за ней. Почему бы ей не выйти замуж за кого-нибудь из них? Но на другой же день – стоило ей встретить их на складе или на нелегальном собрании – она понимала, что супружеская жизнь или физическая близость с ними для нее невозможна. Образ Павла тогда сиял еще ярче. Ее любовь к нему только казалась засыпанной пеплом забвения и безразличия. Он оставил неизгладимый след в ее душе. И она снова начала тосковать о нем.

После отъезда Павла разногласия в партийных кругах города прекратились. Пожилой товарищ, тот, из городского комитета, отошел от активной деятельности. Макс Эшкенази не отказался от точки зрения Заграничного бюро, но обещал хранить единство и стал дисциплинированным партийцем. Стефан выработал для себя «собственное» мировоззрение, которое ничем не отличалось от установившегося курса партии, но ему то и дело приходили в голову опасные и сомнительные идеи, которые могли привести к провалу. Лила распорядилась изолировать его и не поручать ему никакой работы.

В городской комитет вошла новая группа молодежи, которую Лила выдвигала не без учета того, слушались они ее или нет. Таким образом, к ней сходились все нити, направлявшие нелегальную деятельность в городе. Лицо Лилы осунулось еще больше и стало суровым. Ответственность обострила ее ум, а опасности сделали ее неумолимой и дотошной. Активисты со складов уважали Лилу, но побаивались ее резкости и холодности. Она незаметно стала походить на Лукана. И так же, как он, перестала замечать трещину, которая с течением времени образовалась между курсом партии и жизнью.

Приближался конец сентября, и в квартале складов стоял густой запах табака. Увядшие акации на улицах за вокзалом печально роняли мелкие пожелтевшие листья. Духота казалась еще более тяжкой от безветрия и облаков известковой пыли, которую поднимали грузовики, перевозившие обработанный табак. Пыль облепляла потные лица рабочих, лезла в рот и хрустела на зубах.

Склад, на котором работала Лила, находился рядом со складом «Никотианы». Как-то раз, во второй половине дня, Макс Эшкенази, уходя с работы, догнал ее.

– Подожди, я должен тебе кое-что сообщить, – сказал он, пробираясь в толпе работниц, которые выходили со складов, громко стуча по тротуару деревянными подошвами своих налымов. – Я получил письмо от Павла… Хочешь выпить кружку бозы?42

Лилу охватило знакомое чувство горечи, но она быстро подавила его и сказала равнодушным тоном:

– Хорошо.

Они зашли в маленькую скромную кондитерскую. В ней не было посетителей. Макс заказал две кружки бозы. Хозяин принес их и ушел по своим делам.

– Откуда пишет? – спросила Лила, когда они сели за неопрятный столик.

– Из Аргентины, – ответил Макс. Он испытующе посмотрел на Лилу.

– Из Аргентины?… – Сердце Лилы тревожно сжалось. – Должно быть, прохлаждается там под пальмами.

– А ты по-прежнему несправедлива к нему!.. Там в нефтяном районе развернулись жестокие стачечные бои. Павел принял в них активное участие, и сейчас он член Аргентинской коммунистической партии.

– Вот как?…

Ничего больше Лила сказать не могла.

Она рассеянно смотрела на рабочих, которые проходили по тротуару. Рабочие улыбались снисходительно, но без всякой насмешливости, как будто хотели сказать: «Смотри-ка, наша Лила решила наконец посидеть в кондитерской, но выбрала себе кавалера, который ей в отцы годится». И тотчас догадывались, что с кавалером этим она, наверное, говорит о партийной работе.

Образ Павла возник перед Лилой, еще более яркий и волнующий, чем когда-либо. Значит, вот он какой!.. Как она была несправедлива, когда считала его только ловким Фразером! Даже после исключения из партии он нашел в себе нравственные силы, чтобы бороться за ее идеи в далекой, чужой стране.

– А что он еще пишет? – нервно спросила Лила.

Ее вдруг разозлил пристальный, испытующий взгляд Макса, которым он словно проникал в ее отношения с Павлом.

– Пишет, что ранен, – ответил Макс – Пуля пробила ему бедро, однако серьезных повреждений нет… Сейчас он выздоравливает и ждет, когда сможет снова вернуться в строй.

Сердце у Лилы тревожно забилось. Ей показалось, что день померк. Гомон рабочих на тротуаре стал вдруг каким-то далеким и глухим. Известие о ранении Павла ошеломило ее. И лишь сознание своей беспомощности и того что Макс мог угадать причину ее волнения, помогло ей быстро прийти в себя.

– Выздоровеет, – проговорила она, стараясь казаться как можно более равнодушной. – Рана в бедро не может быть опасной… В худшем случае – потеряет ногу ила останется хромым.

Макс посмотрел на нее с удивлением, и Лилу это успокоило.

– Во всяком случае, Павел оказался замечательным товарищем! – сказал он подчеркнуто. – А вы его исключили.

– Что же в нем замечательного? – сухо спросила Лила.

– Все! Он предвидел те трудности, в которых вы сейчас путаетесь.

В глазах Лилы вспыхнули огоньки, голубоватые, как электрические искры. Она забыла о Павле и мгновенно превратилась в маленького злого демона.

– Это кто же путается? – гневно прошипела она.

– Ты и городской комитет, – ответил Макс – Вчера я изложил активистам «Никотианы» политическую платформу стачки. Ни па миллиметр не отошел от директив, которые вы мне дали. А рабочие только помалкивали, пожимали плечами или иронически посмеивались… Одна листовка – и все устремляются на улицу! Один пинок – и капитализм рушится и погибает под своими развалинами! Один штурм – и власть в наших руках! Какой разумный человек поверит, что все это возможно сейчас?

Лила покраснела и в гневе поджала губы.

– Если ты не видишь, как обстоит дело в действительности, и не способен агитировать рабочих, мы освободим тебя, – сказала она.

– Да вы уже освободили четвертую часть членов партии, – заметил Макс – Освободим и половину, если окажется нужным.

В глазах Лилы снова вспыхнули голубые электрические искры. Макс чувствовал себя бессильным перед фанатичным упорством, которое горело в ее взгляде. Но он все же сделал еще одну попытку вывести ее на путь истинный. – Можно задать тебе несколько вопросов? – спросил он, вытирая пот с лица.

– Говори, – холодно ответила Лила.

– Ты уверена, что теперешний курс партии – это правильный путь?

– Конечно, правильный.

– А как ты объяснишь, что рабочие уже не выполняют партийных директив?

– Это результат вашей деятельности, которая разбивает их единство.

– А других причин нет… Так, что ли?

– Да.

– Ты говоришь искренне?

– Да! – вспыхнула Лила.

По лицу ее прошла новая волна гнева. Макс печально улыбнулся и посмотрел на нее устало.

– Ты говоришь неправду, моя милая, – сочувственно проговорил он. – Говоришь неправду из самых чистых побуждений, которые идут из глубины твоего честного рабочего сердца!.. Говоришь неправду от отчаяния, стараясь спасти единство партии, хотя единства уже не существует. Но за нашими спорами, в сознании рабочих, рождается новое, железное и непоколебимое единство димитровского курса партии… Неужели ты не видишь, не понимаешь, что за идеи Димитрова – сама жизнь?

Лила не ответила. В ее сознании возник образ сильного духом человека, который во время Лейпцигского процесса потряс мир, но имя которого на партийных конференциях обходили молчанием. Наступил мучительный, критический момент, когда Лила должна была или отступить от своих взглядов, или бросить в адрес этого человека нелепое и ужасное обвинение. И она не поколебалась его бросить.

– Георгий Димитров – оппортунист!.. – сказала она глухо.

– Тупица!.. – воскликнул Макс и вскочил с места.

У Лилы сжалось сердце. Она сама не была уверена в своей правоте. Макс кинул на стол две монеты в уплату за бозу.

– Послушай, – сказал он, уходя. – Все, что я до сих пор сделал для партии, дает мне право присутствовать насовещании активистов склада. Я хочу открыто и честно выложить перед рабочими свой взгляд на стачку. Если вы этого не допустите, я буду считать, что вы боитесь правды.

– Мы тебя позовем, – угрюмо согласилась Лила.

Макс, не попрощавшись, вышел из кондитерской. Немного погодя возвратился кондитер, и Лила указала ему на деньги, оставленные Максом на столе. Она вышла на улицу и в ста метрах перед собой увидела высокую фигуру тюковщика. Он шел медленно, помахивая длинными руками. Перед витриной книжного магазина он остановился посмотреть книги. Когда Лила проходила мимо него, он взглянул на нее равнодушно, как на незнакомку.

На другой день Лила пошла на работу, измученная сомнениями, в которые ее вверг разговор с Максом. Она не спала всю ночь, перебирая в уме все доводы за и против нынешнего курса, и наконец снова ухватилась за спасительную мысль о единстве партии. Надо выполнять решения Центрального Комитета – вот и все!.. Но скорбные воспоминания о Павле, враждебное поведение рабочих и вчерашний разговор с Максом отравили ее веру даже в этот довод. Все смешалось. Мысль билась в поисках какого-то выхода, но не находила его. И из хаоса мыслей снова встал образ человека, который теперешнее руководство силилось умалить и опорочить. Но даже этот образ, по-прежнему героический и сильный вопреки оскорблявшей его клевете, сейчас не мог ей помочь. Для Лилы – самоотверженного, но не слишком образованного и искушенного партийного работника – Димитров все еще оставался оппортунистом, стремившимся толкнуть рабочий класс на путь опасных компромиссов.

Утро было пасмурное. В воздухе веяло холодным дыханием осени. После бессонной ночи Лила чувствовала себя усталой. Рабочие, как муравьи, стекались к складам, и и гуле их голосов, в торопливом стуке их налымов звучала какая-то покорность, которая ее раздражала. Но она тотчас поняла, что эта покорность только кажущаяся. Споры по вопросу о заработной плате и условиях труда, перебранки с мастерами, иногда доходящие до драк, – все это продолжалось по-прежнему. Если Лила подозревала, что рабочие превратились в послушное стадо овец, то это объяснялось ее гневом, вызванным неудачами партийных мероприятий, нежеланием рабочих подвергаться избиениям полицией из-за беспочвенных лозунгов. Никто уже не верил в басню, будто капитализм в Болгарии прогнил до основания и готов рухнуть при первом нажиме, не верил в то, что после табачных магнатов самый ярый враг рабочих – это Земледельческий союз. И когда Лила поняла все это, она снова погрузилась в безвыходный хаос своих мыслей. Ей казалось, что неграмотным активистам со складов значительно легче, чем ей, справляться с трудностями. Не порывая связей с партией и не мудрствуя лукаво, они руководствовались собственным разумением, а Лила, осуждая это на словах, в глубине души одобряла. Агитация этих активистов удивительно хорошо отвечала общему настроению рабочих. Не уменьшая их боевого задора, эта агитация делала его более сдержанным, разумным и, пожалуй, даже более опасным для хозяев.

Но Лилу раздражали методы этих активистов. Их короткие и таинственные совещания, проводимые без ведома партийного руководства, походили на фракционную деятельность. Очевидно, их подстрекали заблуждающиеся – те, что в поисках нового курса разрушали единство! Как коварно действовал этот Макс!.. С какой хитростью Павел создавал себе престиж!..

Лила шла быстро, гневно поджав губы. Мысли ее становились все более отчетливыми и мрачными. Нет, этого больше нельзя терпеть!.. Надо исключить еще несколько человек! Первую жертву она наметила в лице Макса, а когда подняла голову, увидела перед собой и вторую – бывшего депутата от рабочих Блаже.

Он шел впереди нее, торопясь на склад фирмы, в которой работал, оживленно и с шутками приветствуя знакомых. Как у многих людей небольшого роста, вид у него был очень самоуверенный. Блаже шагал, по-петушиному выпятив грудь и небрежно засунув руки в карманы, – можно было подумать, что он направляется в Народное собрание и ждет, что ему отдаст честь часовой, стоящий на посту у входа. Прошлой осенью после блокады его лишили Депутатского мандата и приговорили к трем месяцам тюрьмы за публичное оскорбление власти.

– Доброе утро, Лила! – сказал Блаже, когда она no-Равнялась с ним.

Подвижное и лукавое лицо его расплылось в улыбке. Оно несколько напоминало треугольник, так как лоб у Блаже был широкий, а подбородок узкий.

– Доброе утро, – хмуро ответила Лила.

Неделю назад она дала ему прочесть «Анти-Дюринга», и Блаже тотчас заговорил о книге.

– Трудненько мне читать Энгельса, – тихо пожаловался он. – В философии я еще слаб… Я ведь, знаешь, не получил систематического образования. Ты бы объяснила мне кое-что.

Лила зловеще молчала.

– Ну? Да ты как будто не в духе? – сочувственно проговорил Блаже.

Лила сразу же накинулась на него.

– Ты партиец или агент раскольников? – гневным шепотом спросила она. – Что это за собрания с активистами без ведома руководства? Кто дал тебе право говорить о старом и новом курсах партии? Кто разрешил тебе ставить вопрос о Димитрове?

– Постой, Лила! – Блаже с опаской огляделся. – Здесь неудобно. Я только…

– Никаких «только»!.. В партии нет ни старого, ни нового курса, понял? Отношение к Димитрову будет разъяснено Центральным Комитетом, а не тобой или мной! Что это за своеволие?

– Эх, Лила! – с горечью произнес Блаже. – Есть вещи, которые уже нельзя скрыть. Их и слепые видят.

– А ты об этом молчи! – Лила властно махнула рукой. – Если есть трудные вопросы, мы их решим. Для этого вы нас и выбрали.

– В том-то и дело, что вы их не решаете! – неожиданно разозлился Блаже. – Или решаете, да неверно.

– Ах, так? – вспыхнула Лила. – Как тебе не стыдно! Что ты собой представляешь? Скажи, что? Знания накопил? Много книг прочел? У тебя язык длинный только для пустой болтовни.

– Может, я и неучен, но я понимаю, о чем думают рабочие, – с достоинством заметил Блаже.

– Рабочие могут думать что угодно! Важно, как решает партия. Или, может, разогнать ее, если она не нужна?

– Неужели ты думаешь, что я это хотел сказать? Не криви душой, Лила! Ты знаешь, что значит для меня партия.

– Выходит, ничего не значит! Ты разрушаешь ее единство. Я буду настаивать, чтобы тебя исключили.

– Чтобы меня исключили? – прошептал изумленный Блаже. – Меня?…

– Ну да, тебя, кого же еще? Думаешь, ты сам стал депутатом? Нет, это мы выставили твою кандидатуру и выбрали тебя, именно мы! Язык у тебя работает, да не всегда на пользу партии.

Ошеломленный Блаже прошел несколько шагов, не говоря ни слова. Дошли до перекрестка; здесь Лила должна была свернуть к своему складу.

– Лучше помалкивай! – проговорила она, прежде чем отойти.

Блаже вдруг обрел дар слова.

– Ну и исключайте! – с возмущением сказал он. – Исключайте! Только это вы и умеете делать!

Лила вошла в цех обработки, расстроенная встречей с Блаже, и, когда звонок возвестил начало рабочего дня, с хмурым видом села на свою соломенную подушку. Сейчас она казалась сварливой и злой. Кое-кто из работниц пытался пошутить над ее настроением, но потерпел неудачу. Она отвечала желчно, и шутники умолкли. Пальцы ее механически сортировали ядовитые золотисто-коричневые листья. Однообразно гудел вентилятор. Мастер за что-то ругал тюковщиков. Лила думала все с большей горечью об. отношении рабочих к партии. Предупреждения об исключении уже не помогали. Ответ Блаже смутил ее своей дерзостью. До каких *же* пор это будет продолжаться? Может быть, надо пойти по новому пути, но по какому?… Нет, никакого нового пути нет! Любое изменение нынешнего курса ведет к оппортунизму и капитуляции по основной линии борьбы. Просто нужно удвоить непримиримость и, несмотря ни на что, идти вперед.

Пальцы Лилы, механически сортируя табачные листья, рассеянно рвали и ломали этот дорогой товар.

– Ты нынче в своем уме?! – сердито заорал кто-то над ее головой. – Это что, папеньки твоего товар, что ты его портишь?

Лила подняла голову. Над нею стоял мастер, выбритый, но немного опухший после вчерашней пьянки.

– Это разве направо класть надо? – ругал ее мастер. – Почему столько листьев поломала?

– Они такие и были, – ответила Лила.

– Врешь, сука! Я уже полчаса гляжу, как ты работаешь.

– Это мать твоя – сука, – огрызнулась укладчица, работавшая рядом с Лилой.

– Что? – Мастер забыл о Лиле и обернулся к укладчице. – И ты брехать принялась, а? И ты хочешь со склада вылететь?

– Если мы все вылетим, кто ж у вас работать будет? – миролюбиво спросил кто-то.

– Другие найдутся! Рабочих мно-ого! Хоть лопатой греби.

Мастер пошел дальше по цеху, придираясь к рабочим. От вчерашней выпивки у него болела голова. Ему не сиделось на месте.

Лила стала работать внимательнее. Она разозлилась на мастера, но не ответила ему. Ей вдруг пришло в голову, что с точки зрения партийной работы ее пребывание на складе, может быть, излишне. Она уже приобрела опыт профессионального партийного работника. Не лучше ли ей уделять больше времени размышлениям и самообразованию, не лучше ли включиться в новый сектор борьбы с этим враждебным миром? Надо ли до конца оставаться табачницей?… Да, надо, надо! Только рабочий может быть последовательным коммунистом! Только черный труд и синяя блуза указывают правильный путь! А таких болтунов, как Блаже, таких интеллигентов с буржуазными привычками, как Павел, Макс Эшкенази и тот пожилой товарищ из городского комитета, – вон из партии!.. Никаких временных отступлений, никаких союзников, никаких компромиссов!..

В глазах Лилы загорелся угрюмый гнев. Она не заметила, как снова начала рвать и ломать табачные листья.

К обеду на складе внезапно начался переполох, стремительной волной прокатившийся по цеху. Рабочие шептались, наклоняясь друг к другу, и из уст в уста передавали тревожную весть: «На складе полицейский инспектор!» Одни делали знаки соседям шестами и мимикой, другие старались выйти наружу, чтобы вовремя предупредить товарищей или увидеть, что происходит.

Мастер заметил это и сердито крикнул:

– Эй вы, черти! Чего забегали? Оса на склад залетела, что ли?

– Залетела, да только полицейская оса! – отозвалась одна пожилая работница.

– Занимайтесь своим делом! – приказал мастер. – Не смейте выходить! Пускай подрожат негодяи, у которых совесть нечиста.

Но он вскоре сообразил, что волнение плохо отражается на работе, в начал уговаривать работниц примирительны»: тоном:

– Не бойтесь, дуры! Директор – человек добрый, он не позволит никого тронуть.

– Как бы не так! – возразил один тюковщик. – Он ведь полицейскому инспектору не начальник!

– Нет, но они вместе ракию пьют, – убедительно объяснил мастер.

– Ракия ракией, а служба службой! – заметил тюковщик.

– Успокойтесь и работайте! – Мастер воспользовался случаем выдать себя за защитника рабочих. – Вам ничто не грозит! За вас отвечаю я.

Никто не обратил внимания па его слова. Передавая новость, ее постепенно приукрасили, и положение стало казаться более тревожным, чем было на самом деле.

– За инспектором шли двое штатских, – сообщил кто-то.

– И полицейские с ними! – добавил другой.

– Еще кого-нибудь замучат!

– Кровопийцы!..

Все посмотрели на Лилу. Рабочие опять стали перешептываться.

– Пропала девчонка!

– Забьют ее.

– И следа не останется от ее красоты…

Лила выслушала новость, не проронив ни слова. Сердце ее сжалось, во рту пересохло. Она предчувствовала опасность, но ничем себя не выдала. Только лицо ее осунулось и побледнело.

В это время в дверях появилась полненькая напудренная курьерша, про которую злые языки говорили, что она поставляет женщин мастеру. Она направилась к столу, за которым работала Лила. Курьерша шла через цех в наступившей тишине, постукивая каблуками по полу, и в это время раздался голос пожилой работницы, недавно отвечавшей мастеру:

– Эй, зачем пожаловала, потаскуха?

Раздался дружный хохот, по сразу же оборвался, и наступило молчание. Курьерша покраснела и, остановившись, издали сделала знак Лиле следовать за нею.

– Чего тебе надо? – громко спросила Лила.

– Директор вызывает тебя в контору.

Лила медленно встала с места, стряхнула с фартука табачные листья и пошла через весь цех к выходу.

– Рабочие!.. – внезапно крикнул тюковщик. – Если Лилу арестуют, все на митинг и будем бастовать.

– Верно! – отозвался другой.

– Всем быть готовыми! – поддержал его третий.

– Мы ее отобьем! – закричали укладчицы.

– Пусть только посмеют! – слышалось со всех сторон.

Лила на секунду остановилась, подняла руку и отчетливо проговорила:

– Товарищи, спокойствие! Посмотрим сначала, что будет.

Шум стих, и она пошла в контору. Мастер с изумлением наблюдал эту бурю, внезапно разразившуюся в цеху.

«Эй, что это вы? Какая вас муха укусила?…» – хотел он было сказать, но осекся.

– У-у-у!.. – дружно кричали рабочие.

– Подождите вы!.. – Мастер испугался. – Что случилось? Можно же договориться!

– У-у-у!.. – зловеще кричали рабочие.

Пока Лила шла в контору, ее страх внезапно уступил место радости. Сейчас она не думала об опасности, а видела только, что рабочие, все, как один, поднялись па ее защиту. Значит, все то, в чем она подозревала их за последнее время, думая об их отношении к руководству и партии, не оправдалось. Необоснованны также сомнения Макса, Блаже, пожилого товарища из городского комитета. Рабочие любят руководство и стоят за него!.. Единство в партии существует!.. Лила была так взволнована тем, что произошло в цеху, что даже не спрашивала себя, какими причинами это вызвано. Ей и в голову не пришло, что сейчас рабочие видят в ней самоотверженного и смелого товарища, который всегда отстаивает их интересы, а вовсе не секретаря сектантского городского комитета партии, который чуть не каждую педелю толкает их на шумные и бесполезные выступления.

Дружный и угрожающий крик рабочих еще доносился до Лилы. Он походил на гневную и мощную волну справедливого негодования, которая двигалась за нею, удваивая ее силы, полностью возвращая ей решительность и рассеивая последние остатки страха. Лицо у Лилы было по-прежнему напряженное, но бледность сменилась румянцем, а губы снова стали влажными.

Когда она вошла в кабинет директора, па нее пахнуло знакомым ароматом духов и сигарного дыма. Директор лениво полулежал в кресле, положив ноги на край письменного стола. Инспектор прямо сидел на диване у столика с курительными принадлежностями. Он вынул гвоздику из букета, стоявшего на столике, и почесывал ею нос.

Лила молча кивнула и остановилась перед ними.

– Ну? – спросил директор, закуривая сигару.

– Вы меня вызывали, – спокойно ответила Лила.

Пламя зажигалки, которой директор зажег сигару, мигнуло, стало опадать и наконец погасло в густых клубах дыма. И сквозь этот дым Лила увидела устремленный на нее взгляд умных, по порочных и противных глаз. Этот взгляд, мутный и серый, медленно пополз по ее ногам, охватил ее грудь и плечи и наконец как-то неуверенно остановился на лице.

– Ни дать ни взять ангорская кошка!.. – сказал вдруг директор.

– Это вы и хотели мне сказать? – холодно и гневно спросила Лила.

– Ну конечно, нет!.. – ответил директор. – Я вообще не хочу с тобой разговаривать, потому что ты считаешь, что я порчу твою репутацию.

– Это верно, – сказала Лила.

Директор сделал легкую гримасу. Глаза его снова впились в лицо Лилы. Но сейчас взгляд его показался ей каким-то измученным и жадным, в нем было что-то тоскливое и животное вместе.

– Тебя вызывал инспектор, – сухо сказал он.

Лила вопросительно обернулась к инспектору. Тот опустил гвоздику и спросил дружеским тоном:

– Скажи, Лила, что это за шум? Почему так кричат рабочие?

– Они взволнованы вашим приходом, – ответила Лила.

– Вот как! – Инспектор лукаво улыбнулся. – Слава богу, что я-то хоть не волнуюсь! Присядь, поговорим, как друзья! – Инспектор указал на кресло у столика и поднес Лиле портсигар. – Куришь?

– Нет, – ответила Лила.

Она не села в кресло, осталась на месте.

– Как поживаешь? – Инспектор привычным движением постучал концом сигареты по крышке портсигара. – Что поделываешь?

«Идиот!..» – подумала Лила. Она посмотрела на него и презрительно усмехнулась. Но что-то в его поведении показалось ей угрожающим.

– Учишься? – Инспектор небрежно взял в рот сигарету. – Собираешься сдавать экзамены на аттестат зрелости?

– Учусь, – сказала Лила.

– Вот как! – продолжал он. – Чтобы стать министром, если возьмете власть!.. Ну, а как с новым курсом? Кажется, ничего у вас не выходит? Руководство препирается с рабочими, а?

«Значит, хочешь меня запугать», – подумала Лила.

– О каком курсе вы говорите, господин инспектор? – спросила она с удивлением.

– О курсе Коминтерна, конечно! – продолжал инспектор, зажигая сигарету. – Не строй из себя дурочку. Мы тоже слегка разбираемся в марксизме.

– Возможно! – Лила удивленно пожала плечами. – Но я работаю только в дозволенных законом профсоюзных организациях. У меня нет никаких других связей, и вы это знаете.

– Ну вот, опять наврала с три короба, но ничего!.. – Инспектор засмеялся с деланным добродушием, потом повернулся к директору, словно обращаясь к нему одному: – Я основательно изучил марксизм и, право же, отнюдь не умаляю его силы как идеологии людей наивных или неспособных пробиться в жизни. Как слуга государства, я считаю эту идеологию вредной и борюсь против нее… По уж если выбирать из двух враждующих фракций коммунистической партии, то я предпочитаю иметь дело с так называемыми левыми сектантами, честное слово! Я не говорю, что это невинные ангелочки, но как противника я их уважаю больше: в них есть что-то открытое, прямолинейное, и не так уж они страшны. Прежде всего, их узнаешь сразу. Если это интеллигент, он носит рабочую блузу. Если его поймаешь, он сразу открыто и честно признает свои заблуждения. А другие – те подлецы! У них как будто и широкие платформы, и союзники, и от программы они отступают, и не знаю, что еще, а на самом деле они коммунисты до мозга костей. Посмотришь – человек как будто вполне легальный, хорошо одет, тихо-мирно занимается чем-то, а на самом деле втихомолку ведет подрывную работу. Схватишь его – он ничего не знает: я не я и лошадь не моя. «Кто? Я – коммунист?… Ничего подобного! Как вы смеете! Я друг тех-то и тех-то, занимаюсь тем-то и тем-то». Невинная жертва! Херувимчик! Осудишь его – прослывет героем. Отпустишь – опять берется за свое, по действует еще хитрее. Получает жалованье от государства, а сам шушукается с рабочими и крестьянами па вечеринках, по городским окраинам или в сельских читальнях… «Просветительная деятельность, – говорит, – что в этом плохого?…» А на самом деле и просветительная деятельность, и пропаганда, да еще какая!

Инспектор умолк и снова обратился к Лиле.

– Эти подлецы вам тоже не нравятся? – сказал он. – Правда?

Лила снова побледнела, по не от страха. Слова инспектора показались ей бесконечно обидными. Впервые она столкнулась с таким необычным явлением: полицейский служака ругает людей Коминтерна, заявляя, что предпочитает иметь дело со сторонниками нынешнего курса! Откуда ему все это известно? И почему он говорит это ей?

– Господин инспектор, – сказала она. – Ведь я обо всем этом, что вы сейчас говорите, понятия не имею.

– А я имею, и я все знаю досконально! – вдруг закричал инспектор. – Мы арестовали того… черного агронома, с которым ты уже несколько раз встречалась. И он оказался умным человеком! Спас свою шкуру! Все нам рассказал, словно граммофонная пластинка.

«Врешь! – молнией мелькнуло в голове Лилы. – Если бы Иосиф признался во всем, ты бы меня сразу же арестовал, не стал бы заводить этот разговор», И все-таки лицо ее побелело как мел. Она снова почувствовала, как губы пересохли при мысли, что ее могут арестовать и забить до смерти. Она внезапно вспомнила совет, который ей когда-то дал Павел в предвидении подобных случаев. Этот совет гласил: «Отрицай!.. Отрицай все до конца!»

– Тебе ясно? – спросил инспектор.

– Нет, ничего мне не ясно, – твердо ответила Лила.

Директор встал с кресла и, сунув руки в карманы, стал прохаживаться по комнате. Лила почувствовала, что он приблизился, по запаху пудры и одеколона.

– Тогда поговорим в другой обстановке! – В голубых глазах инспектора вспыхнули ехидные огоньки. – Но я знаю, что ты сторонница старого курса и, следовательно, имеешь основание думать, что к тебе я могу отнестись более снисходительно… Разумеется, лишь в том случае, если ты мне поможешь разобраться в ваших делах до конца. Некоторые из ваших признают, что они коммунисты, но от всего остального отпираются… И тогда им туго приходится! Слышишь, ты! Туго!

Лила не ответила. В комнате наступило молчание. Инспектор закурил новую сигарету и вопросительно посмотрел на директора, который по-прежнему как маятник ходил взад и вперед по комнате, засунув руки в карманы. Вместо того чтобы испугаться, Лила рассердилась. Когда инспектор сказал, что он относится снисходительно к приверженцам старого курса, эти слова показались ей омерзительными. В них было что-то нестерпимо обидное, уязвившее ее гордость.

Директор вдруг перестал шагать по комнате и остановился.

– Оставь эту девушку в покое, – сказал он, подойдя к Лиле и положив руки ей на плечи.

– Как так? – удивился инспектор.

– Да так! Не трогай ее! Я беру ее под свое покровительство.

– Ты, должно быть, шутишь, директор! – отозвался инспектор каким-то неестественным тоном.

– Нет, не шучу… Прошу тебя, сделай это ради нашей дружбы.

– А начальство?

– Начальство ничего не узнает, если ты замнешь дело… И давай поставим на этом точку.

Инспектор молчал, опустив голову и словно обдумывая слова приятеля. Лила внимательно слушала их, и мысль ее работала с предельной ясностью. Она чувствовала, как руки директора все сильнее сжимают ее плечи, но желание выслушать разговор до конца сдерживало ее, мешая выразить отвращение, которое она испытывала.

– Попробую что-нибудь сделать, – сказал наконец инспектор. – Но только при одном условии: если Лила не будет упрямиться и расскажет мне кое-что о здешних людях.

– Ну что ж, это пустяки, – ответил директор вместо Лилы. – Ты слышишь? – повернулся он к ней и подмигнул: – Не упрямься! Скажи ему что-нибудь, и он оставит тебя в покое. Сама знаешь – полиция!.. А пока иди в цех. С завтрашнего дня перейдешь работать в контору машинисткой, чтобы уже не вызывать подозрений.

– Подлецы! – дико вскрикнула вдруг Лила, вырвавшись из рук директора. – Да, я как раз из упрямых! Можете разорвать меня на куски, по ваш шантаж не пройдет!

Директор, пораженный, отпрянул от нее. Инспектор только поднял голову.

– Какой шантаж, сука? – ровным голосом спросил он.

– Тот, который ты устраиваешь, чтобы я стала любовницей директора!.. – Лила сейчас походила на разъяренную пантеру. – Знай, что стены зашатаются, если ты меня арестуешь и отдашь под суд!.. Начальство все тебе может простить, но только не то, что ты посмел компрометировать полицию! Я сегодня же расскажу эту мерзкую историю своему отцу и родственникам! Завтра все адвокаты в городе и девушка, за которой ты бегаешь, узнают, как ты пользуешься своим служебным положением, чтобы сводничать!..

– Клевета! – захрипел инспектор. – Чем ты это докажешь?

– Увидишь чем! Весь город знает, что ты подлизываешься к развратникам и кутишь с ними, что ты прикрываешь их безобразия в публичных домах… Увидишь, что устроит тебе околийский начальник, которому ты возражаешь па людях. Но этого мало, инспектор! – Яростный голос Лилы вдруг зазвучал еще громче. – Рабочие, рабочие стоят за меня! Начнутся митинги, стачки, в министерство полетят телеграммы протеста, весь город закипит!

– Если ты отсюда выйдешь!..

Инспектор побледнел. Выхватив из кармана маленький пистолет, он прицелился в Лилу.

– Ты с ума сошел! – крикнул директор, быстро схватив его за руку. – Я не допущу такого безобразия на складе.

– Подлец! – закричала Лила, глядя инспектору в глаза. – Посмей-ка что-нибудь сделать со мной без суда и следствия!.. – И бросилась к двери.

Она промчалась по коридору и, выскочив во двор, увидела у крыльца группу рабочих, которые с тревогой ожидали ее. Среди них был и тюковщик.

– Что случилось? – спросил он быстро.

– Все поднимайтесь, если меня арестуют! – бросила Лила на бегу. – Но только если меня арестуют.

Тюковщик ответил:

– Мы оповестили и другие склады.

После того как Лила выскочила из комнаты, директор достал из бара бутылку ракии и медленно наполнил две рюмки. Он беззвучно смеялся циничным, холодным и спокойным смехом развратника, который не боится скандалов.

– Опростоволосился ты с ней, инспектор, – сказал он. – Что задумал – и что вышло! Женщины не по твоей части. Плохо знаешь людей.

– А ты почему согласился? – злобно спросил инспектор.

– Потому что поглупел, пьянствуя с такими дураками, как ты… Как только я посмотрел ей в глаза, я сразу понял, чем все кончится. Хорошо она нам выдала!

– Я с нее шкуру спущу! Живой из участка не выйдет… – грозился инспектор.

– На, выпей и успокойся! Директор поднес ему рюмку.

– На куски ее разорву! – стонал инспектор чуть не в истерике.

– Смотри-ка – крови жаждет, – равнодушно проговорил директор. – А я бы на твоем месте ничего ей не сделал, хотя бы только за ее храбрость.

– Ты что, с ума спятил? Значит, оставить ее так?

– Это самое разумное, – промолвил директор.

– А если она раззвонит?

– Не раззвонит!.. Но ты должен выбросить из ее дела донесения Длинного.

– Не могу я их выбросить, – сказал инспектор.

– Почему?

– Длинный заметит и выдаст меня.

– А ты заткни ему рот ракией и прикажи молчать.

– Но могу! – чуть не простонал инспектор. – Это служебное преступление… Если дойдет до Софии, меня уволят.

– Тогда не забывай, что на тебя уже есть доносы начальника гарнизона и околийского. Раздуют истории в цыганском квартале и в доме докторской вдовы. Темные дела! Нам-то ничего, нас люди знают. А для тебя – это большой вопрос. Рискуешь службой. Сразу вылетишь в Делиорман. Не забывай также, какая будет суматоха, если поднимутся рабочие… Конца не видно!

Инспектор мрачно выпил свою ракию. Он вспотел, жилы па его висках заметно пульсировали.

– Это я из-за вас впутался в эти истории, – с ненавистью проговорил он. – А вам на все плевать. Вам и горя мало. Тузы!..

– Как ты нас назвал? – весело спросил директор.

– Тузы! Вот как назвал! – со злобой повторил инспектор. – Должностных лиц и тех опутываете.

– Неужели? – Директор улыбнулся. – Значит, вот как относится полицейский инспектор к состоятельным гражданам… Интересно! Надо к тебе приглядеться повнимательней. Только что ты говорил, что основательно изучил марксизм. Может, он на тебя повлиял?

Инспектор тупо уставился на него голубыми, помутневшими от хмеля глазами.

– Эх ты, ведь я пошутил! – пробормотал он, смущенно моргая. – Ты что? Или рассердился?

– А ты и вправду подумал, что я могу рассердиться? – Директор разразился громким, но каким-то холодным смехом, который не понравился инспектору. – Мелкая у тебя душонка, инспектор! Просто подленькая! Я на тебя не сержусь, а только забавляюсь.

Инспектор поднялся с оскорбленным видом. Ракия начинала действовать и делала его обидчивым.

– Послушай! – с горечью проговорил он. – Ты перебарщиваешь. Ты меня оскорбляешь. Этого я больше не потерплю.

– Сядь! – приказал директор и налил ему ракии.

– Нет, не сяду! – упирался инспектор. – У тебя отвратительная привычка забавляться людьми, унижать их. Ты просто садист.

– Садист?

– Да, садист!

– Может быть, ты хочешь взять меня на службу в околийское управление?

– Ну вот, видишь? – В глазах инспектора вспыхнула злоба. – То, что ты говоришь, как раз и показывает, какой у тебя скверный характер. Ты бы этого не сказал, если бы не хотел посмеяться над падением… как бы ото сказать… над трудностями других людей.

– Может быть, в этом есть смысл! – промолвил директор.

– Не знаю, по мне это противно. Если я приказываю Длинному избивать арестованных, то я делаю это, чтобы сохранить государство и привилегии таких, как ты. Разве я не прав?

– Да, прав.

– Так почему же ты смеешься надо мной?

– Потому что ты глуп. На твоем месте я никогда бы не стал полицейским инспектором.

– А если нет других возможностей?

– Ну!.. У юристов всегда есть возможности. Куда сунутся, там и деньги.

– Ты все шутишь, директор. Ты избалованный купеческий сынок! Не знаешь ты жизни… Но ты в десять раз глупее меня. Ты это понимаешь?

– Почему? – удивленно, но не обижаясь спросил директор.

Он устремил на инспектора умные, насмешливые, холодные глаза. Это были глаза человека, который понимает все, но которого ничто не волнует.

– Потому что ты сам себя погубил, – сказал инспектор. – Потому что ты имеешь возможность жить разумно, а компрометируешь себя – вот влюбился в Лилу… Я готов сорвать с себя погоны, если ты не питаешь к ней серьезного чувства.

– Браво, инспектор! – Директор снова рассмеялся цинично и спокойно. – У тебя ум как бритва, а твои мысли, словно клопы, ползают по моему телу. Но послушай меня. Если ты арестуешь Лилу, среди рабочих начнутся такие волнения, что обработка табака у нас остановится по меньшей мере на неделю. А это сулит миллионный убыток. Ничто другое меня не интересует! Об остальном заботься сам! Ясно тебе, чего я хочу?… Ну иди. Мне надо договорить с мастером.

После ухода инспектора директор налил себе еще ракии. Все, что произошло здесь, не вызвало в нем ни тревоги, ни угрызений совести, а только досаду. Но досаду медленно притуплял алкоголь. «Надо выгнать этого типа из нашей компании, – подумал он об инспекторе. – Надоел!» В уголках его ленивых глаз появились мелкие морщинки равнодушного беззвучного смеха. Он вспомнил, что адвокатская дочка и сын бывшего депутата уже договорились о помолвке.

**XV**

Зима в этих местах была печальная и безотрадная. Выпадал снег и тотчас же таял от теплых ветров Эгейскою моря, что поднимались по долине реки с юга и превращали рабочий квартал, расположенный в нижней части города, в непроходимое болото. Река разливалась, ее мутные воды затопляли дворы, оставляя после себя желтые, зараженные всякой мерзостью лужи, а их испарения отравляли воздух до конца весны. В низких, смрадных хибарках жгли хворост и сухой коровий навоз – все это летом собирали дети на окрестных холмах. С серого неба падал то дождь, то снег, на черепичных крышах чирикали голодные воробьи. Оттепель приносила грипп, а бедность казалась еще более тягостной и неприглядной, когда вокруг была такая слякоть. Безрадостно текла жизнь в этих лачугах, лишенных воздуха и света.

В душных каморках, где едва можно было выпрямиться во весь рост, спали по пять-шесть человек. Туберкулезные кашляли и заражали здоровых. Дети хныкали, выпрашивая хлеба, а женщины ссорились и ожесточенно бранились. В этом году после летней безработицы наступил голод, а голод принес болезни, раздоры и распущенность.

Нищета озлобляла всех. Одна левая газета, обличив «Никотиану» и другие табачные фирмы, потребовала установить налог на их прибыли и обратилась к правительству с вопросом: что оно сделало для безработных и Для голодающих табачников. Газета была закрыта. Вспыхнул небольшой скандал. Журналисты, играющие в покер с Постовым, забили тревогу, предупреждая общество о «коммунистической опасности». Не стоит, писали они, заниматься демагогическими рассуждениями но поводу несчастий тридцати тысяч табачников. Болгарский народ состоит не только из рабочих табачной промышленности. Всему виной кризис, который героически переносят и сами работодатели. Кроме того, табачникам следовало бы знать, что они рабочие сезонные и не должны рассчитывать только на тот заработок, который получают на табачных складах. В результате можно было заключить, что все табачники лентяи и предпочитают голодать, лишь бы не заниматься другой работой.

А в центрах табачной промышленности, в их рабочих кварталах, продолжал свирепствовать хронический, невидимый для сытых голод. В душах рабочих накапливались ненависть и гнев. Они все яснее видели, как эгоистичен мир, какой мрачной и безнадежной будет их участь, если они сами себе не помогут. Но каждая попытка сделать это сразу же объявлялась опасным антигосударственным выступлением. Хозяева обвиняли рабочих в лени и алчности, «патриоты» объявляли их предателями, сытые возмущались их грубостью, полиция разгоняла их собрания. И тогда они поняли, что им осталось только одно – идти за теми своими товарищами, которые хотят навсегда разрушить этот ненавистный и жестокий мир.

Неуловимые для полиции партийные работники постоянно появлялись в табачных центрах и подготовляли борьбу голодающих за хлеб.

Стефан и Макс быстро поняли, что не смогут занять в этой борьбе тех постов, которые рисовало честолюбие Стефана. Товарищи, руководившие подготовкой к стачке, оставляли их в тени, и это их оскорбляло. Макс был более сдержан, а Стефан возмущался.

– Видишь? – сказал однажды Стефан, сидя в комнатке Макса. – Они даже не сообщают нам партийных директив, данных организациям на складах. Простые люди без всякого образования знают решения городского комитета, а мы только гадаем, будет стачка или нет.

Макс закурил сигарету и задумчиво уставился в окно. Мрачный январский день навевал печаль и тоску. С серого неба падали снежинки и сразу таяли. По грязной базарной улице, где находились дом и мастерская шорника Яко, ехала телега, нагруженная углем. Ее с трудом тянула тощая кляча, которую бил и немилосердно ругал хозяин.

– Правильно! – внезапно сказал Макс, повернув голову. – Так нужно.

– и ты действительно можешь убедить меня в этом? – гневно спросил Стефан.

– Могу, – спокойно ответил Макс – Нам с тобой кое-чего не хватает… морального элемента.

– Что ты называешь моральным элементом?

– Рабочее происхождение.

– Но это сектантство, догматизм, которым страдает курс партии и против которого мы боремся… Ты опять не устоял и метнулся по средней линии?… Или ты только со мной так разговариваешь?

– Нет! Я спорю по многим вопросам и с Лилой.

– Глупости. Твое поведение неопределенно, шатко. То, что ты сейчас говоришь, ниже всякой критики.

– В теперешний ответственный момент это – предусмотрительность.

– Значит, ты допускаешь, что мы можем изменить партии. Этого еще не хватало!

– Теоретически – да! Мы всегда имеем возможность вернуться в мир, против которого боремся. Что-то неуловимое и развращенное в наших душах все еще связывает нас с ним. И это тоска по его спокойствию, удобствам, роскоши, по его нездоровой красоте. Иногда это мечта о светлой и красивой комнате, полной книг, о женском лице, которое тебя когда-то волновало… А с точки зрения борьбы за великую цель, которую партия себе поставила, такие люди ненадежны и опасны. Ты меня понимаешь, правда? На днях ты с чрезмерным восторгом рассказывал мне о новой приятельнице своего брата… Значит, красота женщин из другого мира тебя волнует! У меня тоже бывают проклятые часы, когда я не могу избавиться от воспоминаний об одной женщине, несмотря на ненависть, которую я испытываю к ее порочной душе, к ее по-декадентски красивому телу. Почему я волнуюсь?… Потому что в сознании моем что-то отравлено этой женщиной. Жонглируя мыслями, я могу найти оправдание миру, который ее создал, и в минуты слабости это волнение вступит в опасное противоречие с моим духом. А люди из рабочего класса неуязвимы для подобных паразитических волнений, рожденных другим миром. Они поднимаются со дна социального рабства, из бездны голода, страданий и нищеты. И потому в борьбе они непоколебимы и тверды, как сталь. А мы колеблемся, падаем, ошибаемся… Поэтому они не будут нам доверять до тех пор, пока существует мир из которого мы пришли и который может снова нас принять… Нет, такое недоверие не сектантство!.. В наша дни оно естественно и необходимо. А сектантство в другом: в том, о чем мы говорили много раз и чего ты в своей запальчивости не можешь понять. Сектантство – это постановка непосильных в настоящее время задач, уход в конспиративную скорлупу, разбазаривание ценных кадров в бесполезных и плохо подготовленных операциях, враждебность по отношению к элементам, которые могли бы стать нашими союзниками…

– А у нас разве нет заслуг? – мрачно проговорил Стефан.

– Ах, да!.. Тебе все еще не дает покоя твое честолюбие! Успокойся, наши заслуги ничтожны по сравнению с заслугами других.

– А наша работа в деревне?

– Работали мы неплохо, но это не дает нам права быть генералами.

– Кто ж это хочет быть генералом?

– Ты.

Макс усмехнулся. Стефан хмуро закурил сигарету, не сознавая, до какой степени он сейчас похож на своего брата.

– Ты ошибаешься! – сказал он немного погодя. – Просто я хочу, чтобы стачкой в городе руководили люди интеллигентные и образованные.

– А Шишко кто?

– Неуч и фанатик.

– Неверно. Шишко от природы интеллигентен, хладнокровен и честен. А это гораздо дороже образования.

– Нет! – Стефан покачал головой с упрямством, свойственным всем отпрыскам Сюртука. – Шишко плохо говорит и не может увлечь массы… Вот выпустит он из рук кормило на общем собрании, и стачка может превратиться в экономическую. Не забывай о социал-демократах! У них есть ораторы с медовыми устами, они занимаются риторикой в особых кружках. Их группа может заполонить стачечный комитет.

– Э!.. – Макс улыбнулся. – А мы для чего? На собрали мы поддержим Шишко.

– Значит, мы будем работать, а Шишко – командовать? Тай?

– Тебя это раздражает?

– Да, признаюсь откровенно.

Макс бросил на него недовольный взгляд.

– Остерегайся мании величия и мелочного честолюбия – они недостойны коммуниста! Шишко – превосходный товарищ. И никакой он не сектант. Мы обязаны ему подчиняться.

Макс встал и надел свое потрепанное зимнее пальто.

– Куда ты? – спросил Стефан.

– Одевайся! У Симеона будет совещание. Тебя тоже приглашали.

– Не пойду, – отозвался Стефан и с сарказмом добавил: – Я ненадежный элемент.

Макс вышел из дома и по грязной базарной улице направился к рабочему кварталу. Холодный северо-восточный ветер заставил его сразу же поднять воротник пальто. Вечерние сумерки сгущались, над крышами с жалобным криком кружились стаи изголодавшихся ворон. От постоялых дворов, в которых останавливались крестьяне, от кабаков и покосившихся еврейских лавчонок, от безобразной грязи, сырости и холода веяло безнадежностью.

Дойдя до моста, Макс пошел по берегу реки, потом вступил в лабиринт узких и еще более грязных улочек, скупо освещенных электрическими фонарями, которые тускло горели там и сям на большом расстоянии друг от друга. Из дворов несло зловонием помойных ям. Сквозь маленькие низкие окошки, слабый свет которых привлекал взгляд, смотрели печальные глаза безработицы и бедности. Хилая девочка играла на полу тряпичной куклой. Изнуренная молодая женщина стирала, склонившись над корытом. На кровати, застланной грубым одеялом, лежал утомленный бесплодными скитаниями мужчина, вперив неподвижный взгляд в низкий потолок. Безработные ждали конца долгой и тяжелой зимы. Ждали безмолвно и мрачно.

Домик Симеона стоял почти на краю города, в непроходимой грязи. Часть двора была залита водой из разлившейся реки. Макс смело вошел в грязь – эту преграду Для шпионов и полицейских агентов, которые не затрудняли себя посещением подобных мест, боясь испортить обувь. Из трубы домика шел дым. Макс постучал в единственное освещенное окошко.

– Кто там? – спросил мужской голос.

Услышав ответ, Симеон открыл дверь, потом зажег спичку, чтобы осветить темную прихожую. Пламя озарило мешок с картошкой, на котором лежали фуражки и потертые зимние пальто. На стенах висели связки чеснока, у порога стояла грязная обувь. По приказанию жены Симеон заставлял своих посетителей разуваться. Максу ото было неприятно, так как носки у него были рваные, но он подчинился.

В комнатке сидело не больше пяти-шести человек, но она была так мала, что казалась битком набитой. Обстановка ее состояла из сундука для одежды, железной печки, двух стульев, стола и топчана, застланного одеялом из козьих шкур. Поперек комнаты была протянута веревка, на которой сушились пеленки, а возле печки стояло корыто, в котором обычно купали младенца. На этот вечер Симеон отослал жену с ребенком к родственникам.

Симеон, рабочий лет тридцати, с узким худощавым чином и спокойными глазами, не мог пожаловаться на свое положение. Он и зимой работал ферментатором на складе «Фумаро». Как только вошел Макс, Симеон подсел к печке и быстро разжег ее, чтобы тот согрелся.

Па топчане сидел Шишко – полный, страдающий астмой мужчина лет пятидесяти, с блестящей лысиной. Его немолодое лицо и седые брови свидетельствовали о большом житейском опыте. Единственный глаз, как бы компенсируя утрату другого, светился какой-то особой мрачной зоркостью. Из-за астмы Шишко дышал тяжело и шумно даже тогда, когда сидел неподвижно. Его знали все коммунисты, и он всюду поднимал рабочих на борьбу, поэтому фирмы принимали его на работу лишь в случае крайней необходимости. Почти неграмотный человек, он был опытным и умелым ферментатором.

Рядом с ним на топчане сидел маленький, незнакомый Максу мужчина, одетый совсем не по сезону – в поношенный летний костюм. Он походил на старьевщика или бродячего торговца. Лицо у него было до того обыкновенное, что почти не запоминалось. Он негромко поздоровался и тут же опустил голову, чем еще больше подчеркнул таинственность своей личности, и, пожалуй, подчеркнул умышленно. Макс не смог уловить выражения его глаз.

На стульях сидели Спасуна и Блаже – ветераны и сподвижники Шишко в прошлых стачках. Вид у Спасуны был угрожающий, вдова не могла похвастаться кротостью нрава. Высокая, крупная пятидесятилетняя женщина с низким голосом и горящими черными глазами, она чем-то смахивала па мужчину. Спасуна была отличной тюковщицей, по мастера принимали ее неохотно из-за ее вспыльчивого характера, так что сейчас она, как и Шишко. осталась без работы. На митинги и демонстрации она приходила с толстой палкой и, если какой-нибудь полицейский осмеливался ее толкнуть, мгновенно обрушивала ее на противника. Не менее больно били врагов ее желчные реплики. Во время стачек она обычно проверяла стачечные посты и обходила улицы с важностью участкового инспектора, пока наконец, чтобы ее арестовать, не высылали целое отделение полицейских.

Макс сел на топчан и поспешно поджал ноги, чтобы скрыть дыры на своих рваных носках и голые замерзшие пальцы. Он заметил, что у незнакомца носки тоже рваные, и его охватило грустное сочувствие к этому человеку. Незнакомец явно был скитальцем, человеком без семьи, которому не согревала сердца заботливость жены, матери или сестры.

– Мы ждем еще кого-нибудь? – внезапно спросил незнакомец.

– Нет. Все здесь, – быстро ответил Шишко.

– Тогда начнем.

И тут Макс увидел, как с лица незнакомца сразу же спала маска безличия и оно перестало казаться незначительным. Эта мгновенная перемена была поразительна. Незнакомец поднял глаза, и оказалось, что они у него твердые, серые, как сталь. За притворно мягким выражением липа, за хорошо разыгранной скромностью бедняка, способной обмануть и самого опытного полицейского, скрывался человек с партийной кличкой Лукан, уполномоченный Центрального Комитета, который нелегально объезжал табачные центры и организовывал бунт голодных. Черты его лица вдруг заострились, теперь оно выражало непреклонную волю. Макс понял, что этот человек отдал свою жизнь делу партии, однако от него веяло каким-то леденящим холодом; казалось, он был оторван от мира и совершенно неспособен понять потребности времени, увлечь сердца рабочих. Этот человек был самоотвержен и честен, но как будто слеп духовно – он не видел, что направляет стачку к недосягаемой цели, заставляя рабочих бесплодно тратить силы. Макс встретился с ним впервые, но угадывал в общих чертах, какие он даст директивы, ибо знал, как действуют Шишко и Симеон. Тактика Лукана грозила утопить стачку в крови и убить веру рабочих в партию.

Лукан начал медленно, ровным, спокойным голосом, не глядя на Макса, которого видел впервые, не выражая особой сдержанностью недоверия к нему или тревоги по поводу его присутствия, но и не говоря ничего лишнего, из чего можно было бы заключить, кто он и откуда. В его словах звучало не волнение, но одна лишь бесстрастная, холодная логика. Он сократил теоретические рассуждения и остановился на фактах. Сказал о кризисе, о жалком положении рабочих табачной промышленности, о предстоящем введении тонги и экономическом проникновении немцев в Болгарию. Только непримиримая борьба коммунистов без уступок кому бы то ни было может вывести страну и рабочий класс из этого состояния, говорил он. Часть рабочих надо бросить в уличные бои, а другие пусть занимают склады. Только так можно заставить хозяев повысить поденную заработную плату, укрепить веру рабочих в партию, достичь каких-либо результатов. Кто видит другой выход из теперешнего бездействия в табачном секторе, пусть выскажется.

– Живем хуже некуда!.. – мрачно добавила Спасуна. Она была нетерпелива и в подобных случаях всегда высказывалась первая. – На скотину стали похожи! День-деньской стираешь на чужих за тридцать левов и кусок хлеба. Детишки мои голодают. Уж глаза у них гноятся от сухомятки.

– Надо принять решение и по вопросу о тонге, – напомнил Блаже. перебивая Спасуну.

– Говорите по порядку, – сказал Лукан.

Он вопросительно посмотрел на Спасуну.

– Чего смотришь? Так оно и есть! – запальчиво крикнула работница. Ей показалось, что взгляд его выражает недоверие. – А уж если на улицу выходить, так давайте побыстрей, ие то все передохнем.

Она гневно сжала руку в кулак и угрожающе замахнулась на кого-то. Ее товарищи улыбнулись.

– А все рабочие выйдут? – внезапно спросил Макс.

– Почему бы и нет?

– Нет, выйдут не все! Они не раз уже обжигались, когда вот так необдуманно заваривалась каша. Они знают, что полиция только переломает им кости, а ничего путного не выйдет.

– Ты в этом ничего не смыслишь! – вспыхнула Спасуна, и слова ее снова вызвали смех. – Полиция не посмеет проливать кровь на улице. Ты меня слушай.

– Правильно! – Лукан бросил холодный взгляд на Макса. – Но все ли рабочие это поняли? Как ты думаешь?

Спасуна в недоумении пожала плечами.

– Ничего я не думаю! – сердито ответила она. – Выйдет один – выйдут и другие. Вот как бывает! Я уж раз десять это видела.

– Значит, выйдем на улицу вслепую? – спросил Блаже. – А потом?

– А что потом – думайте вы, ученые. А то чванитесь только своими книгами!

– Не зли меня, Спасуна! – терпеливо проговорил Блаже. – Ты не ребенок и прекрасно знаешь, что такое хозяева… Если мы выйдем на улицу вслепую, мы только зря растратим силы. Только раздерем криками свои пустые глотки, да полиция перебьет человек десять наших, а никто и ne почешется. Получится стрельба холостыми патронами, и хозяева будут на радостях потирать руки. Мы должны подготовить такое выступление, которое их здорово заденет, а это возможно только тогда, когда мы поставим иод угрозу их товар, когда выберем для стачки удобный момент и привлечем на свою сторону ферментаторов. Вспомните, какое сейчас положение. Половина фирм еще не оправилась от кризиса и только теперь начнет покупать табак. Ферментаторы артачатся и бубнят, что в эту безработицу заработка им хватает. Они даже довольны: ведь они спасают табак от порчи и хозяева им за это хорошо платят, а в случае необходимости удвоят, может быть, утроят их заработок… Мы не провели среди них разъяснительной работы. Называем их предателями – и только! А ведь и они – рабочие, наши братья, их так же эксплуатируют, как и нас. Надо их просветить, а не считать врагами. Вот Симеон – перетащил же он на нашу сторону всех ферментаторов со склада «Фумаро». То же можно сделать и на складах других фирм. Вот я и хочу сказать, что время для стачки еще не пришло. Если мы объявим стачку сейчас, мы ее проиграем, а партию подведем. Рабочие скажут: «Дураки нас повели! В другой раз мы за ними не пойдем!..» Стачку нужно объявить в будущем году, и то лишь после усердной работы, когда мы все подготовим. Если же мы объявим ее сейчас, то докатимся до провала. Поспешишь – людей насмешишь.

Наступило короткое молчание. Слова умного Блаже были, как всегда, убедительны.

– Ты кончил? – хмуро спросил Лукан.

– Кончил.

Лукан вопросительно посмотрел на Шишко, который был следующим по порядку.

– Не знаю, как в будущем году, – спокойно начал Шишко своим низким, глухим от одышки голосом, – но, если и в эту весну мы будем сидеть сложа руки, партия потеряет время и положение рабочих еще больше ухудшится… Хозяева готовятся ввести тонгу.

– Да, тонга будет подлым ударом! – гневно проговорил кто-то.

– Они ее введут, – холодно подтвердил Шишко, – и это даст им возможность давить на нас еще сильнее. Если мы отступим перед тонгой, половина из нас весной останется без работы, а тем, кто сумеет поступить на склады, придется продавать свой труд за бесценок. Ждать больше нельзя. Надо начинать весной.

– Правильно, – мрачно подтвердил Лукан.

– А как вы себе это представляете? – бурно вмешался Симеон. – Как легальную первомайскую демонстрацию? Так вот все рабочие вдруг решат объявить стачку! Не будьте детьми.

– Перегибаешь, парень! – спокойно возразил Шишко. – Даже если мы и дураки, мы все же не объявим стачки таким образом, и ты знаешь это очень хорошо.

– А разве мы подготовили рабочих? – нервно продолжал Симеон. – Обеспечили себе союзников? Объяснили рабочим, с какой целью им бастовать? Нет! Только шушукаемся по темным углам о какой-то узкой программе, с которой даже многие из нас не согласны. Никто и не думает, как нам поднять всех рабочих, как быть с несознательными, как быть с подкупленными штрейкбрехерами.

– Как всегда, – ответил Шишко, – человек сто из нас будут рисковать своими костями и жизнью в пикетах возле складов.

– А остальные две тысячи пятьсот, озлобленные голодной зимой, будут нам аплодировать, так, что ли?

Наступило тягостное молчание. Все почувствовали особенно ясно, как жестока участь рабочих и как тяжки цепи, которыми их оковал этот мир.

– И так плохо, и этак плохо, – сердито пробормотала Спасуна.

– Я не против стачки, – продолжал Симеон. – Но я за такую стачку, которая действительно улучшит положение рабочих: тогда они и завтра будут в нас верить. Только так мы укрепим авторитет партии. Теперь я хочу знать – и пусть товарищ ясно, не замазывая, скажет нам, – против кого мы объявим стачку? Против государства или против фирм?

– Значит, ты проводишь различие между государством и фирмами? – возразил Шишко.

– Я-то не провожу, да другие проводят! – запальчиво крикнул Симеон. – Мы должны сказать рабочим, что они будут бороться прежде всего за хлеб, а политические лозунги надо на время свернуть, если мы хотим поднять всех. Сейчас рабочих интересует только хлеб. Все другое должно отойти на задний план.

– Коммунист, а какую чушь несешь! – проговорил Шишко, внезапно рассердившись.

– Струсил, чертов сын! – добавила Спасуна.

– Зачем вы меня оскорбляете? – Симеон встал, бледный и растерянный. – Товарищи…

Он посмотрел на остальных с надеждой встретить сочувствие, но увидел только холодные, почти враждебные лица. Позиция его была слишком уж примиренческой, и никто ее не разделял. Даже Макс и Блаже смотрели на него удивленно. Разве можно проводить стачку без политических лозунгов? Все поняли, что Симеон боится, пытается обмануть себя и других, хочет оставить открытой лазейку для того, чтобы направить стачку по безопасному пути экономической борьбы, а значит – бросить ее в сети подозрительного посредничества инспекторов труда. Ведь это очень легко может произойти, если коммунисты выступят вместе с социал-демократами под единственным лозунгом борьбы за хлеб. Симеон вдруг с горечью понял, что перешел границу умеренности и рассуждал не как коммунист. После своей женитьбы он слишком уж боялся попасть в полицию, слишком много думал о жене и ребенке. Как трудно это – кинуться в пропасть, превратив свое тело в мост, по которому должны пройти другие!.. Но Симеон знал, что в решительный момент он бросится вперед вместе с тысячами других коммунистов.

– Садись и помолчи, – бесстрастно сказал Лукан, довольный его неудачей.

Подошла очередь Макса, и Лукан кивнул ему.

– Наше поведение должно исходить из генеральной линии большевистской партии и конкретных условий в Болгарии, – как-то скучно и отвлеченно начал Макс. – В этом вопросе нет разногласий между честными и разумными товарищами. Но важно дать себе отчет, насколько ясно мы видим и оцениваем эти условия. У нас, в табачном секторе, сейчас положение таково: за спиной владельцев стоят правительство, полиция, армия, пресса и все организованное государство, защищающее их интересы. Капиталисты располагают огромными средствами и действуют невзирая ни на что. Их деньги служат для подкупа алчных, их ложь и демагогия обманывают легковерных, их полиция убивает смелых и запугивает трусливых… Против них с голыми руками выступают рабочие-табачники, голодные, отверженные, оклеветанные, лишенные политических прав. Единственное право, которое они еще могут сохранить, – это право на хлеб. Единственное их оружие в борьбе – это стачка. Но, товарищи, вы знаете, что рабочие-табачники не одни!.. У них есть и другие права, и другое оружие! За ними стоят и вся остальная часть рабочего класса, и все честные интеллигенты, и все крестьяне – бедняки и середняки – и весь болгарский народ, обобранный правящей верхушкой. У рабочих-табачников отняли политические права, но никто еще не забыл, что обладал этими правами. Рабочие сильны своим трудом, без них хозяйский табак может испортиться. Приставят им нож к горлу – у них остается оружие уличной борьбы. Правильно заметила товарищ Спасуна, что полиция не посмеет проливать кровь в уличных боях. Хозяева боятся крови на улицах, потому что она вызывает призрак всеобщей революции, напоминает им, что они находятся на вершине притихшего, но не потухшего вулкана ненависти и негодования. А все это означает, что, в сущности, табачники сильны. У них много союзников, много прав и много оружия. Но мы должны использовать все это разумно и во взаимодействии. Я упомянул вначале о большевистской партии. Только эта партия может нас научить, как действовать. Хотите, чтобы пришли великие дни, – готовьте великие события. А великие события готовить нелегко… Мало только желать их и не бояться жертв: надо понимать общественную жизнь и знать, когда, как и с кем действовать. Мало только объявить стачку и увидеть завтра, как рабочие – униженные, измученные, избитые – снова вернутся, как покорное стадо, на работу. Так мы только нанесем партии тяжелейший удар. Сейчас я выскажусь конкретно о пашей стачке. Мы должны ее объявить. В этом сомневаться не приходится. Иначе мы будем плестись в хвосте событий, а это недостойно коммунистов. Вы знаете, что хозяева готовятся ввести тонгу, что, как только немецкий капитал станет здесь монопольным хозяином, заработки упадут еще ниже. Можем ли мы сидеть сложа руки, когда совершаются такие события? Стачку надо объявить в середине весны, когда хозяева закупят весь табак в деревне, когда обработка будет в самом разгаре и отказ ферментаторов от работы может дорого обойтись фирмам. Как объявить стачку? Товарищи, это очень важный вопрос! Несомненно, нужно поднять всех рабочих – от самых робких до самых смелых, от широких социалистов до анархистов. Искусство заключается в том, чтобы использовать наших возможных союзников, не позволив им причинить нам вред. Многие из них потом сами придут к нам в партию. Надо найти широкую идейную платформу, которая привлечет и объединит всех. Это не означает отказа от конечных целей партии. Вовсе нет, товарищи! Просто это единственный разумный способ действий, к которому мы должны прибегнуть теперь, если хотим чего-то достичь, если хотим остаться коммунистами. Мы должны создать общую, единую платформу!.. Мы должны объявить стачку под лозунгами: «За хлеб, за политические права и за амнистию товарищам, томящимся в тюрьмах!» Стачка не должна быть ни чисто экономической, ни только политической; она должна быть одновременно и экономической и политической. Только при этом условии мы сможем поднять всех и добиться реальных успехов: отвергнуть тонгу, достичь повышения заработной платы и получить политические права. Только тогда рабочие увидят, что партия – мозг рабочего класса, единственный руководитель, который ведет их по правильному и надежному пути… Теперь несколько слов о тактике. Товарищи, трусить недостойно, но преждевременно тратить силы – глупо. Какой смысл выступать безрассудно, бросать рабочих в уличные бои, говорить о захвате складов, допускать отдельные террористические акты? Никакого! Бесспорно, и это – метод борьбы, но нужно применять сто разумно, в зависимости от потребностей момента и наших возможностей. Мы должны беречь свои силы. Борьба между капиталом и рабочим классом будет у нас долгой. Нам предстоят большие испытания. Наша стачка – только одно звено в этой борьбе, и мы не должны напрасно разбрасываться людьми…

Макс умолк, чтобы передохнуть. Товарищи, слушавшие его с большим вниманием, зашевелились.

– Хорошо сказал, Максим! – промолвила Спасуна. – Ум у тебя как бритва.

– Верно, – добавил Блаже.

– Соображает, – сдержанно подтвердил Шишко. – Но у меня есть несколько вопросов.

– Я еще не кончил, – сказал Макс.

– Продолжай, – хмуро проговорил Лукан.

Один он не был взволнован речью Макса. Лукан смотрел па него как-то холодно, враждебно сощурив глаза.

– Товарищи!.. – снова начал Макс. – Остается разобрать самый трудный и самый спорный вопрос – вопрос о подготовке стачки. Как мы ее готовим? Если судить по затраченным усилиям. – Макс бросил взгляд на Лукана, – то надо признать, что товарищи вот уже год работают неутомимо и самоотверженно. Но если судить о подготовке с точки зрения тактики и лозунгов, о которых я говорил, мы не сделали ничего. Ничего, товарищи!.. В чем выражалась наша деятельность до сих пор? Мы создали крепкие конспиративные группы в организациях на складах, но дали возможность социалистам и анархистам свободно пропагандировать свои ошибочные теории классовой борьбы. Мы лишь кое-где влились в руководства складских организаций, не вникли в повседневную жизнь рабочих, не уделили внимания их личным невзгодам. Мы живем оторванно, мы стали важными и скрытными, мы упиваемся какой-то революционной романтикой. Если кто-нибудь из нас весело и непринужденно разговорится с работницами, это приравнивают чуть ли не к нравственному падению. Если сядешь с каким-нибудь широким социалистом или анархистом и за рюмкой ракии попытаешься убедить его в ошибочности его теорий, это назовут разложением. Многие наши товарищи, как это ни смешно, уже привыкли хмуриться, когда люди веселятся, ходить небритыми и грязными, как дервиши, словно это их возвышает духовно. Признаться, я и сам еще недавно был таким. Смешно, правда? Так нельзя, товарищи! Так не завоюешь людских сердец. Коммунист должен быть веселым, общительным, жизнерадостным, должен всюду бывать, показывать пример во всем. Иначе нельзя привлечь к себе людей, рассчитывать на поддержку масс. Вторая ошибка: придерживаясь узкой идейно-политической платформы и не допуская ни малейших временных отступлений от нее, мы отталкиваем те группы, которые могли бы быть нашими союзниками. Среди рабочих есть и широкие социалисты, и анархисты, и левые члены Земледельческого союза. Мы только переругиваемся с ними, высмеиваем их, но не ищем никаких точек соприкосновения, не делаем даже никаких попыток действовать вместе, боясь, как бы не пострадала чистота нашей политической программы. и это неправильно, товарищи!.. На научном языке эта идейная неуступчивость, эта ограниченность, это буквоедство называется догматизмом и ведет только к отчуждению от масс. Догматизм – это скорее выражение трусости и интеллектуальной слабости, чем силы. Наша программа, наша великая идея настолько ясна и могуча, что никакой временный союз не может ее опорочить. Вот что я хотел вам сказать, товарищи. Итак, мы должны подготовить стачку, охватив беспартийных и обеспечив себе поддержку всех возможных союзников… Мы должны объявить ее под лозунгом широкой политической и экономической программы и, наконец, должны провести ее спокойно, хладнокровно, разумно, введя в действие все виды своего оружия, но не сразу, а в зависимости от условий, и не опрометчиво, расточительно, а в соответствии с задачами, которые мы ставим перед собой. То. что я вам сказал, думается мне, очень важно. Если что-нибудь не совсем ясно, могу объяснить, если есть вопросы, готов ответить.

Наступило молчание. Все, за исключением Лукана, были ошеломлены ясным и убедительным выступлением Макса.

– Ты кончил? – резко спросил Лукан.

– Да, товарищ. Жду вопросов.

– Нe будет ни вопросов, ни обсуждений.– сухо произнес Лукан. – Это только информационное совещание.

– Как так? – нервно спросил Макс – А вопросы, о которых я говорил, разве они не важны?

– Важны, – сказал Лукан, – но городской комитет партии уже принял по ним решение, и обсуждать их незачем. Я выслушал твое мнение и доложу о нем. Выступление твое было хорошим но форме, но по содержанию вредным и ошибочным. Позволю себе сделать только несколько замечаний. Во-первых, партия имеет определенную тактику и программу, и их нельзя менять под влиянием случайных критических замечаний. Именно этот несгибаемый курс партии, который ты осуждаешь, создал тысячи самоотверженных борцов. Сделай что-нибудь подобное тому, что делают они, и тогда критикуй… Во-вторых, партия никому не запрещает увлекаться женщинами пли пить ракию. Но партия не позволит таким коммунистам давать ей советы.

– Постой!.. – воскликнул Макс – Ты искажаешь смысл моих слов…

– Я просто повторяю то, что ты сказал, – холодно, уже с металлом в голосе продолжал Лукан. – В-третьих, перед нами только работа и ответственность, а следом за нами неотступно идет смерть, и потому мы суровы… Мы не можем превратиться в сборище социал-демократов и либеральных весельчаков, которые развлекаются на вечеринках и безобидно болтают о политике. В-четвертых, мы не дураки и знаем, с какой целью бросаем рабочих, да и самих себя, даже в безнадежную операцию, в которой можем погибнуть. Достойная смерть каждого из нас – это жестокий удар по врагу, который приводит его в замешательство, пугает, деморализует. В-пятых, стачка будет проведена так, как она была задумана и подготовлена ответственными товарищами. Всякое выступление, направленное против этого, равносильно предательству. На неподготовленных товарищей оно окажет очень вредное влияние. Тебе ясно все это, товарищ Макс Эшкенази?

– Мы простые люди, а понимаем, – загадочно проговорила Спасуна.

– Я думаю, что мы можем все это обсудить, – примирительным тоном сказал Блаже.

– Мы ведь не новички, – добавил Шишко, нахмурившись, и холодно посмотрел на Лукана своим единственным глазом.

– Обсуждать нечего! – гневно проговорил Лукан. – Колесо уже завертелось.

Снова наступило молчание, на этот раз неловкое и тягостное. Макс думал с грустью: «Опять фанатизм, опять ограниченность, опять слепота!..» И все-таки Лукан – самоотверженный, честный и умный работник. Таких, как он, мало. Так почему же свет большевистской правды не проник во все уголки его души? Но колесо уже завертелось. Лукан прав. Если в руководстве партии имеются разногласия, чернь сомнения не должен проникать в простые и честные души Спасуны, Шишко, Блаже… Как ни странно, но они правильно поняли обстановку и как будто хотели поддержать его, Макса… Однако это вызвало бы у них растерянность, породило бы сомнения как раз теперь, когда надо действовать и быть уверенным в себе. Да, Лукан прав! Макс не должен был говорить при них. Это было ошибкой. Но и тут опять-таки всему виной Лукан. всему виной этот уход в тайную, конспиративную скорлупу. Почему он до сих пор никому не сказал, что решения уже приняты?

– Я прав, – внезапно спросил Лукан.

– Да, – глухо ответил Макс.

Он был подавлен своим отступлением, однако считал, что поступает правильно. Металлические глаза Лукана удовлетворенно блеснули.

– Который час? – спросил он.

– Одиннадцать, – ответил Симеон, взглянув на будильник.

Макс поднялся, холодно кивнул всем и вышел в маленькую темную прихожую, чтобы надеть свои грязные ботинки. Симеон вышел с ним, стараясь рассеять угнетенное настроение разговорами о погоде.

Ветер стих. Где-то далеко в сыром тумане маячили тусклые огни электрических фонарей. Макс направился в ту сторону. Его промокшие ботинки уныло хлюпали по грязи. Теперь он понимал, что ему остается только одно – подчиниться общим решениям.

Стефан ждал Макса у него на квартире, растянувшись на жесткой койке и читая старые номера «Комсомольской правды».

– Ну что? – иронически спросил юноша, когда Макс вернулся.

– Ничего особенного, – равнодушно ответил тот. – Мелкие прения по вопросу о складских организациях, и только.

– Так-таки ничего и не было?

– Будем ждать директив сверху.

– Вопрос о стачке ставили?

– Неконкретно… Были только общие, высказывания.

– Кто-нибудь там остался после твоего ухода?

– Кое-кто.

– Л незнакомые были?

– Только один. Вероятно, тот, кого называют Лукан.

– Глупости! – хмуро проговорил Стефан. – Они тебя выгнали.

– Выгнали? – Макс рассеянно закурил сигарету. – Просто они остались обсудить мелкие вопросы. Хочешь чаю?

– Хорошо, приготовь чай!.. А все-таки они тебя выгнали, – снова повторил Стефан. – Они устраивают демонстрации. Явно хотят избавиться от нас, но действуют осторожно. Может, они боятся, как бы мы не рассердились и не заявили в полицию. Не удивлюсь, если их подозрения дойдут и до этого.

– Ну, уж это ты слишком!.. Ничего такого нет, – сказал Макс. Он растопил железную печку и поставил па нее чайник.

– Нет, не стишком! – горячо заспорил юноша. – Это у них система. Но я решил больше не волноваться. Пусть разбивают себе головы, если это им нравится. Я решил заняться теоретической работой. Чуточку философии, брошюрки, стишки, то да се… Как ты к этому относишься? Буду себе заниматься марксизмом-ленинизмом для собственного удовольствия и в полной безопасности.

Стефан презрительно рассмеялся.

– Не смейся! – сурово проговорил Макс. – Ты не имеешь права выходить из партии, когда тебе вздумается.

Макс устремил взгляд на темное окно. Стекло отражало бедную обстановку комнатки, железную кровать, лампу без абажура, груды книг и газет. За окном был мрак, грязная и сырая зима. И тогда воля Макса па миг ослабела; он вспомнил вдруг о мире, который покинул, о зимних вечерах, когда, одетый в красивый темный костюм, он в мастерской художницы кокетничал своими крайними теориями искусства.

Он сел на стул у печки и медленно снял грязные, промокшие ботинки. Долго с каким-то удивлением смотрел на худые подметки, как будто не мог поверить, что это его собственные ботинки. А потом снова стал думать о другом мире и о библейском лице художницы, воспоминание о котором сейчас возбуждало в нем печаль и острую тоску.

Вода согрелась, и чайник уныло зашумел.

В слякотный мартовский день двор склада оглашали обычные ежегодные перебранки между Баташским и крестьянами, приехавшими из Средорека сдавать свой табак «Никотиане».

По всему складу кипела лихорадочная работа на новых машинах тонги, а во дворе кишела толпа.

Сортировщицы старательно складывали табачные листья в ящички, сборщик увозил их на тачке, а мастер высыпал в сита машин для просеивания. Тонга и правда оказалась более удобным и гигиеничным способом обработки табака, но из-за нее многие рабочие остались на улице. Первой ее ввела «Никотиана», а за ней все остальные фирмы.

Двор был забит воловьими упряжками, лошадьми, ослами, нагруженными табаком. Крестьяне, рассевшиеся под навесами или на тюках в ожидании своей очереди, курили едкие цигарки и говорили о том, как гнусно ведет себя Баташский. Никогда еще этот бывший мастер, а теперь директор склада «Никотианы» не был так свиреп и неуступчив при выбраковке. Стол его, стоявший у входа в помещение для необработанного табака, окружала толпа, и время от времени оттуда доносились проклятия и брань. На грязном дворе пахло табаком и навозом. Мартовское солнце, отражаясь в лужах, выглядывало из-за белых рваных облаков, веял теплый ветер, таял снег, и весело пела капель.

Баташский с утра занимался приемкой табака. Возле его стола, заваленного счетными книгами, стояли весы, к которым двое носильщиков непрерывно подносили тюки. Не доверяя никому, Баташский лично проверял вес и сам записывал его в книгу. Приемка очень утомила его, но он по-прежнему изливал на крестьян неисчерпаемый поток брани и обидных шуток. Охрипшим голосом он то и дело обзывал их разбойниками и жуликами, которым только бы грабить фирму. Он был в коротком полушубке на волчьем меху и в фуражке. Круглое лицо его багровело от крика, и крестьяне с нетерпением ждали, что Баташского вот-вот хватит удар. Но ничего не случалось; отличный комедиант, Баташский на самом деле ничуть не раздражался и если краснел, то лишь от беспрерывного истошного крика, требующего физического напряжения. Забраковав тридцать, сорок и даже пятьдесят процентов сбора, он быстро совал в руки потерпевшего квитанцию и отсылал его к кассиру, кряхтя и плаксиво бормоча, что, мол, он, Баташский, разоряет фирму и хозяева уволят его за то, что он принимает всякий мусор. Но средорекские крестьяне упрямо защищали свои права. Некоторые в гневе рвали квитанции, которые насильно совал им Баташский, и забирали свой табак, чтобы отвезти его обратно в село. Директор вскоре разозлился не на шутку. Крестьяне вели себя так, что это напоминало организованное выступление. Один средоречанин прямо заявил ему, что все производители, у которых забраковали больше двадцати процентов табака, обратятся с жалобой в Народное собрание. Баташский ругательски ругал этих крестьян и назвал их коммунистами.

Пока все это происходило, Джонни стоял в стороне и как посредник время от времени заступался за своих земляков, упрашивая Баташского уменьшить процент брака. В последние годы страхи Джонни усилились, не давая ему спать но ночам; все село поднимало его на смех. Он постоянно жаловался на то, что его преследуют какие-то злодеи, по никто уже не обращал на это внимания. Поэтому Джонни больше не мог быть хорошим агентом-закупщиком – страх расшатал ту беззастенчивую смелость, с какой он раньше грабил крестьян, и Баташский собирался его уволить.

В это утро, прислушиваясь к перебранкам Баташского с производителями и терзаясь опасениями, как бы кто-нибудь из недовольных не поджег его дом. Джонни неожиданно обнаружил новый повод для страхов. В числе рабочих, переносивших принятые от крестьян тюки в помещение для необработанного табака, то и дело появлялся какой-то рыжеволосый мужчина. Где Джонни его видел? Незнакомец взваливал на плечи тюк и скрывался из виду за стенами склада; потом возвращался запыхавшись и снова брал груз. Вот он опять появился, встретил пристальный взгляд Джонни и в замешательстве опустил голову. Джонни притворился, что не заметил его. но рыжеволосый сам себя выдал, как только появился снова. Бросив беспокойный взгляд на Джонни, он взвалил на плечи новый тюк и опять скрылся в помещении, где складывали необработанный табак. Страхи развили у Джонни наблюдательность сыщика, и поведение незнакомца показалось ему странным. Да где же он видел этого рыжеволосого?… В памяти Джонни возникли десятки людей подозрительных, но рыжего среди них не было. Мысли его, утомленные неотступным страхом, путались и беспомощно останавливались на самых различных предположениях. Наконец он наклонился к Баташскому и спросил вполголоса, кто такой этот рыжий. Но директор только отмахнулся от него с досадой, не прерывая спора с крестьянами. Он слыхал про беспричинные, навязчивые страхи Джонни и не счел нужным ему отвечать. В эту самую минуту рабочий появился снова. Теперь Джонни окончательно уверился, что тот в свою очередь следит за ним, и это пробудило в нем новую, еще большую тревогу. А вдруг рыжий ему отомстит (Джонни не спросил себя за что), отомстит, если догадается, что Джонни шептался с Баташским о нем?

Взволнованный новым подозрением и обиженный на Баташского, Джонни издали заметил Стоичко Данкина и подошел к нему. У Стоичко повозки не было, и он рассовал свои тюки но чужим возам, когда крестьяне выезжали из села, а теперь снова собрал в одну кучу свой бедняцкий урожай и стоял возле него, ожидая приговора Баташского. Стоичко имел все основания надеяться, что приговор этот будет не слишком строгим. Ведь Джонни обещал заступиться за него. Увидев встревоженное лицо приятеля, Стоичко понял, что в его душе поселился новый страх.

– Ну как? Идет дело? – спросил он.

– Обдирает! – ответил Джонни, бросив сердитый взгляд на толстокожего, нечувствительного к опасностям Баташского. – Живьем обдирает, но погоди, когда-нибудь и он наплачется по их милости. Да и мне заодно достанется…

– Что такое? Опять что-нибудь случилось? – сочувственно спросил Стоичко.

Джонни, расстроенный, кивнул. Стоичко Данкин под, ставил ему ухо и быстро заморгал голубыми глазками.

– Посмотри вон туда! – сказал Джонни. – Где весы стоят. Подожди, не сразу… Видишь вон того, рыжего, который тюки несет?

Стоичко Данкин так усердно скосил свои маленькие глазки, что видны были только белки.

– Ну?

– Все на меня смотрит.

– Не бойся, ведь я с тобой.

– Ты его нигде не видел?

Не выдержав, Стоичко Данкин бросил быстрый взгляд в сторону весов.

– Ух! – негромко воскликнул он, пораженный неожиданной встречей.

– Что? Говори!

– Да это тот, что увез Фитилька, перед тем как его волки съели.

– Да что ты!..

Джонни побледнел, губы его задрожали. Он вдруг вспомнил страшный, но уже забытый случай с Фитильком. Вскрытие обнаружило на его обглоданном трупе след от пули, попавшей в голову.

И тут он вдруг заметил, что незнакомец смотрит па него и Стоичко и следит за их разговором. Рыжий, несомненно, тоже силился припомнить, где он их видел, и догадался, что его узнали. Единственное, что ему оставалось, – это избавиться от обоих свидетелей случая с Фитильком. Джонни не допускал другой возможности, и страх его превратился в панику.

– Ты не ошибаешься? – пробормотал он, заикаясь.

Стоичко Данкин уверенным голосом повторил, что не обманывается. Его свежая крестьянская память помогала ему безошибочно узнавать каждого, с кем он разговаривал хоть раз.

– Что же теперь делать? – хрипло спросил Джонни таким голосом, как будто жизнь его висела на волоске.

– Что делать? Молчи, и все! – успокоил его Стоичко. – Ведь я с тобой!

– Брось ты! – тревожно пробормотал Джонни. – Коли он пальнет, какой мне толк, что ты будешь рядом со мной. – Джонни не понимал, что, если бы это произошло, Стоичко подвергся бы такой же опасности, как и он сам. – Слушай! Ты не улизнешь в село без меня? Поедем вместе.

– Куда я без тебя? – заверил его Стоичко.

– Я сейчас вернусь.

И Джонни, приняв решение, быстро зашагал к выходу.

– Куда ты, Джонни? – насмешливо спрашивали средоречане своего защитника.

– Спешное дело! – на ходу объяснял Джонни.

– Эй, Джонни! – громко окликнул его Баташский, увидев, что агент-закупщик отказывается от своей роли примирителя.

Но Джонни сделал вид. что не слышит его.

– Что за трусливая баба! – выругался вслед ему Баташский. – Опять его какая-то муха укусила…

Средоречане громко рассмеялись. Почти все они знали про болезненные страхи Джонни, и Баташский уже не хотел с ним церемониться. А Джонни в это время спешил в полицию.

Когда Макс узнал Стоичко и Джонни, он решил сразу же уйти со склада. Каждая потерянная минута могла стать роковой. Но перед внезапно наступившей опасностью он с удивлением почувствовал, как ослабел в нем инстинкт самосохранения. Его, наверное, арестуют и заставят признаться, что он причастен к убийству Фитилька. Будут допросы, пытки и, может быть, расстрел без суда… Ну и что же? После случая с Луканом он чувствовал себя одиноким и бесполезным. Ему хотелось бороться против ошибочного курса, но не хватало силы воли – основного качества каждого коммуниста. Он пришел сюда, чтобы работать для партии, он думал о новом курсе, но его деятельность ограничилась созданием маленькой группки из нескольких человек. Лукан его победил.

Макс холодно улыбнулся, подумав о том, как он заблуждался, полагая, что его призвание – быть вожаком рабочих. Этому препятствовало что-то в нем самом, а вовсе не трудности введения новой тактики, которую он считал правильной. И это было порождено, быть может, тем, что ему не доверяли, так как он пришел в рабочий класс извне, и подозревали его в тщеславии и желании командовать. Напрасно влился он в эту рабочую среду, к которой приспосабливался только внешне. Напрасными были и его попытки завоевать доверие рабочих. Они инстинктивно чувствовали, что Макс как был чужаком, так и остался. И пожалуй, они были правы. Оп не мог понять их до конца, не был как следует закален бедностью и бесправием, недостаточно ненавидел прошлое. Какой-то суровый закон противодействовал его усилиям, и Макс все яснее понимал, почему рабочие ему не доверяют. Он стал бесполезным именно потому, что принес с собой из другого мира остатки тщеславия, стремления любоваться собой.

И все это порождало в его душе тяжелые противоречия, которые обессиливали его внутренне и разрушали его способность к действию и сопротивлению. Он подумал с горечью: «Я проиграл борьбу с Луканом и потому превратился в тряпку… Теперь мне больше ничего не хочется делать. Рабочий никогда бы не дошел до такого состояния».

Спокойно, без паники, но с каким-то равнодушным сознанием, что все-таки нужно что-то предпринять, чтобы избежать опасности, он подошел к мастеру-македонцу, наблюдавшему за укладкой крестьянских тюков.

– Чего тебе? – спросил мастер по-македонски.

– Нездоровится. – сказал Макс. – Голова болит.

– II у меня голова болит, а вот работаю же… – назидательно проговорил мастер.

– Не могу больше. Ухожу.

– А хлеб? Что есть будешь?

Макс ушел, не ответив. Проходя по двору, он подумал, что надо предупредить об опасности и Стефана. Быстрым шагом он вышел из склада и направился к дому Моревых. Вот уже месяц, как Стефан жил у родителей, и это давало рабочим новый повод для недоверия. Макс подошел к дому и позвонил у входа. Вышла мать Стефана. Макс учтиво снял фуражку.

– Вам нужен Стефан? – спросила она. – Его нет. Вчера уехал в Софию.

Макс вздохнул с облегчением. Значит, Стефан пока вне опасности.

– Благодарю вас. Извините, сударыня.

Он собрался было идти, но она остановила его.

– Господин Эшкенази, – сказала она. – Войдите, будьте добры. Мне надо поговорить с вами.

Она умоляюще смотрела на некрасивое, преждевременно постаревшее лицо Макса. Нельзя было терять времени, но Макс согласился. Впервые эта любезная, немного грустная женщина захотела поговорить с ним. Они пошли в гостиную.

– Дело вот в чем, господин Эшкенази… – Мать, казалось, подыскивала слова, но не могла их найти. – Я знаю, вы очень умный и образованный человек… Не кажется ли вам, что вы и Стефан могли бы работать для топ же идеи… как бы сказать… для того же дела, но в другой области. Вы меля понимаете, не правда ли? Извините, я вовсе не желаю вмешиваться в ваши убеждения.

– Да, понимаю, сударыня.

– Работа на складах… как-то… не подходит для вас обоих. Она вас только изнуряет. Вы этого не замечаете?… Вот все, что я хотела вам сказать… Простите! И еще…

Она покраснела и опять смутилась. Макс смотрел на нее с глубоким сочувствием. Бедная, измученная заботами мать! Как она все-таки уважает чужие убеждения!

– С первой вашей мыслью я не согласен, но говорите все. что хотите, сударыня.

– Хорошо, спасибо! Я хотела вас попросить, если вы не согласны с этим, то хоть внушите ему, что необходимо одновременно продолжать учение в университете. Пусть он сначала получит образование, как вы. Он сдал экзамены за два курса юридического факультета.

– В этом я с вами вполне согласен, сударыня, и обещаю его убедить, – сказал Макс. – Ведь это по моему настоянию он держал экзамены на аттестат зрелости экстерном.

– Вот как, господин Эшкенази! Очень вам благодарна! Я убеждена, что Стефан очень вас любит и слушает только вас.

Она велела служанке приготовить кофе, но Макс быстро поднялся. Он чувствовал, что теряет драгоценное время. Мать Стефана угадала, что он встревожен и спешит уйти, и не стала настаивать.

Макс вышел из дома и зашагал к базарной улице в нижней части города, где находилась его квартира. Мартовское солнце быстро просушивало землю. На деревьях уже набухали почки. Он засмотрелся на голубое небо, с которого ветер смел облака, и почувствовал, что ему жаль расставаться с весной, жизнью и миром. И тогда он снова вспомнил о прошлом, и в памяти его воскресла женщина из другого мира – краса древнего еврейского рода, который четыре века тому назад пришел из Испании и, не имея склонности к торговле, давал только раввинов, юристов и врачей. В глазах ее сияла романтика старых времен и живая, задорная мысль, которая подсмеивалась над традициями, но не имела сил порвать с ними. И тогда он снова осознал, что как раз эта связь со старым миром и мешает ему полностью приобщиться к новой среде – потому-то рабочие инстинктивно отказались отдать ему свои сердца и Лукан его победил.

Он все шел в сторону нижней части города, думая о разных вещах, но непосредственная и близкая опасность, угрожавшая его жизни, как ни странно, оставляла его совершенно равнодушным. Все сильнее тосковал он по прошлому, все больше его раздражало настоящее. На базарной улице он встретил группу безработных, направляющихся к табачным складам. Они ходили туда каждый день и часами простаивали перед складами в надежде, что фирма начнет работать и они будут приняты первыми. Но пока обработку начали лишь немногие фирмы. Поглощенные своими заботами, рабочие прошли мимо, не поздоровавшись, хотя знали Макса по работе на складе «Никотианы». Это его рассердило. Но вскоре он понял, что иначе они и не могут себя вести. Конспиративные группы Лукана объявили его, Макса, опасным фракционером. И наконец, что общего сейчас между этими рабочими и им, Максом? Он задумался. Может быть, общее у них – это идея, конечная цель?… Но сейчас и это показалось ему неубедительным. Ведь будь это так, он в их среде чувствовал бы себя своим, а не чужим, работал бы как рядовой, не ожидая командного поста в стачке. Он вспомнил, что большевики называли это «генеральством». И тогда ему показалось, что второй источник его внутренней борьбы не столько ошибочный курс Лукана, сколько уязвленное честолюбие, что именно честолюбие породило в нем его теперешнее ощущение, что он человек лишний, а жизнь его разбита; оно же породило и безразличие к смерти. А рабочий, вышедший из нищеты, никогда бы не докатился до такого состояния, никогда бы так не распустился.

Но вот Макс дошел до шорной мастерской Яко и поднялся в свою комнатку. Надо было как можно скорее уложить чемодан и ехать в Софию. Макс решил выйти на шоссе и сесть в какую-нибудь попутную грузовую машину. Ехать поездом было опасно, да и пришлось бы потерять много времени. Он принялся собирать свои вещи, бросая их как попало в потертый картонный чемодан; и снова его охватило чувство безнадежности, словно жизнь его давно кончилась и. что бы теперь ни случилось, это его уже ничуть не касается. Вся эта спешка показалась ему бессмысленной, словно, избежав опасности, он испытает только еще большие огорчения. Он хочет бежать в Софию. Л что он будет делать там?… Снова отчуждение от товарищей, снова унизительное выпрашивание хоть маленькой должности у дальних богатых родственников, снова издевательские намеки на то, что он возвращается как блудный сын, как глупый фантазер.

Макс прервал свои сборы, чтобы закурить, и растерянно посмотрел в окно. На противоположной стороне улицы стоял высокий, с бледным одутловатым лицом парень в сером пальто. Одну руку он держал в кармане.

Макс сразу узнал его – это был шпик, ходивший в штатском. Но ему и сейчас не стало жаль, что все так сложилось, он только вынул револьвер, зарядил его и сел у стола лицом к двери, продолжая курить.

Длинный терпеливо ждал на тротуаре. Он стоял, повернув голову к площади, но глаза его каждые две секунды бросали быстрый взгляд на дом Яко. То были неприятные, тоскливые и злые глаза, искаженные жестокостью и страхом. Этот агент слыл мастером вырывать показания побоями, но ему всегда было страшно. Страшно ему было и сейчас, хотя никаких особенных причин для этого не было. Подавленный, он ждал своего сослуживца, чтобы вместе арестовать подозрительного. Из полицейского участка они вышли одновременно. Один пошел искать Макса на складе «Никотианы», а другой – к нему на дом. Не найдя Макса на складе, первый вернулся в полицию, и начальник велел ему присоединиться ко второму, ожидавшему возле дома.

Злясь и негодуя на медлительность сослуживца, Длинный, однако, не осмеливался войти в квартиру один. Он уже позеонил в участок и узнал, что второй агент вышел оттуда. Наконец тот, кто должен был прийти, показался из-за угла. Это был маленький, с жуликоватой улыбкой толстяк, легкомысленно относившийся к своей работе. Он шел не спеша и грыз орешки. «Свинья», – со злостью подумал Длинный, но не выругался вслух, так как на это сослуживец его только усмехнулся бы, а Длинного его усмешка особенно раздражала.

– Почему не взял с собой полицейских? – резко спросил Длинный.

Толстый поднял брови с глупым удивлением.

– Ведь я же тебе сказал по телефону!.. – обеспокоенно продолжал Длинный.

– Э!.. – беспечно улыбнулся толстяк, – Из-за такого пустяка – полицейских?

Длинный побагровел и мрачно поджал губы.

– Скотина! – выругался он. – Работаешь спустя рукава. Но погоди, когда-нибудь продырявят тебя, как решето… Или не знаешь, что политические – люди опасные?

Он почувствовал презрение к легкомыслию своего товарища и ненависть к жертве, к человеку, которого предстояло арестовать. Все-таки опасная она, эта их собачья профессия!.. Ведь как бывает: посмотришь на человека – ничтожество, оборванец, а подойдешь его арестовать – сразу выпустит обойму тебе в живот или в голову. Длинный видел в морге трупы убитых коллег, и воспоминание о них преследовало его, как кошмар. «Политические – люди опасные», – опять подумал он, и его тупая, животная ненависть к ним возросла еще больше. Это она порождала жестокость, с какой он истязал их после ареста. Но при аресте каждой новой жертвы он испытывал гнетущее, непреодолимое беспокойство. Поэтому он и сейчас был так раздражителен и зол.

– Ну ладно, ладно!.. – успокоил его толстяк. – Я пойду вперед.

– Посмотрю я на тебя… – сказал Длинный, делая вид, что великодушно уступает ему первенство.

Толстяк взглянул на него насмешливо, убежденный, что сам он хитрее Длинного.

– Что «посмотрю»? – повторил он, жуя орешки. – Я свое дело знаю и всегда иду первым. Я не такой трус, как ты.

Длинный униженно промолчал, опасаясь, как бы его напарник не изменил своего решения. Они пересекли улицу, и Длинный вошел в мастерскую, а толстяк остался у входа.

В это время Яко шумно торговался с каким-то крестьянином. Подойдя к ним, Длинный грубо прервал их разговор. Яко испуганно взглянул на него и сразу понял, что это представитель власти – очень уж самоуверенно он вошел. У шорника была длинная седая борода. Вместе с грязной шапочкой и кожаным фартуком она придавала ему какой-то чудной, старомодный вид, разозливший агента.

– У тебя есть квартирант? – сурово спросил Длинный.

– Чего изволите?… Квартирант?… Да, сударь.

Со свойственной ему быстротой соображения Яко сразу же все понял. Он давно уже подозревал, что Макс втянет его в неприятности с полицией, по не хотел его трогать из боязни потерять квартиранта. И вот тебе – пришла беда! Проклиная свое сребролюбие, Яко понимающе кивнул, как будто хотел сказать, что заранее согласен со всеми мерами пресечения, на которые пойдут власти.

– Отведи нас в его комнату, живо! – властно приказал агент.

Яко охватило предчувствие чего-то плохого, и борода у него затряслась от страха.

– Одну минуточку, сударь, я сейчас! – пролепетал он заикаясь. – Вот только чтобы лавка не осталась пустой… Rebeca! Yen aqui!43 Прошу вас, сударь! Rebeca, ven aqui, mujer!44 Прошу вас, сударь! Rebeca!.. Rebeca!..

Яко кричал, поворачивая голову то к крестьянину, то в сторону мастерской, словно прося помощи. Наконец из маленькой двери вышла Ребекка, вытирая передником мокрые руки.

– Qué hay?45 – сердито спросила она.

– Quédate aqui!46 – приказал ей Яко и кивком головы попросил агента следовать за ним.

Они вышли на тротуар перед мастерской. Лицо Длинного нервно подергивалось. Его жестоко мучил страх. Вся обстановка казалась ему подозрительной и грозящей неожиданностями. А вдруг этот тип бросит гранату?

– Иди с евреем! – приказал он толстяку, стараясь казаться спокойным, хотя зубы его стучали от страха.

– Я?… – насмешливо, но с явной готовностью выполнить приказ переспросил толстяк.

Он ничуть не боялся, и паника, охватившая старшего чином сослуживца, забавляла его.

– А кто? Я, что ли? – со злостью ответил Длинный. – Ты моложе и должен привыкать. Представлю тебя к награде.

Толстый агент громко рассмеялся в ответ на это обещание и двинулся вслед за Яко, на всякий случай сжимая в кармане пальто пистолет. Оставшись один на тротуаре, Длинный облегченно вздохнул. Крытый проход под вторым этажом дома соединял улицу с пропахшим помоями двориком. Во двор вели две двери: одна из мастерской, другая из жилой части дома. Толстяк и Яко вошли во вторую дверь. Убедившись, что из жилой половины дома другого выхода нет, Длинный тоже подошел к этой двери и стал в стороне, чтобы стрелять сбоку, если подозрительный попытается бежать. В течение нескольких секунд ou слышал, как толстяк и Яко поднимаются по ступенькам деревянной лестницы. Его напряжение и страх все возрастали. «Собачье ремесло!..» – снова подумал он, облизывая пересохшие губы, и вскоре понял по затихающим шагам, что те двое *уже* поднялись. Потом наступила тишина, но вскоре загремели выстрелы и кто-то глухо и хрипло крикнул. Что-то тяжелое, очевидно тело толстяка, покатилось по лестнице. Длинный прижался к стене и с револьвером в руке ожидал, готовый выстрелить. Но спустя мгновение он услышал еще выстрел, а потом гнусавый и гнетущий вой, прерываемый причитаниями на непонятном ему языке. Кто-то медленно и осторожно спускался по лестнице, словно стараясь обойти что-то лежавшее на пути или перескочить через препятствие. Длинный настороженно, но уже без паники ждал дальнейших событий, зная, что позиция его удобна для стрельбы. Гнусавый беспомощный вой зазвучал громче. «Еврей», – с презрением подумал агент. Он подождал еще немного. Непонятный говор – смесь проклятий и плача – вызывал в нем отвращение, и Длинный выругался. Наконец из двери выбежал Яко. Воздев руки к небу, шорник бросился на улицу. Лицо его было искажено ужасом, а под широко раскрытым красным ртом развевалась борода, редкая и седая. Низенькая шапочка и кожаный передник придавали ему сейчас еще более зловещий вид. Агент быстро выбежал и стал перед ним с револьвером в руке.

– Что там? Кто стрелял? – взревел он.

При виде револьвера Яко пришел в неописуемый ужас.

– Су… су… су… – забормотал он заикаясь.

– Идиот! Говори скорей!

– Су… су… су… сударь…

Голова, руки, ноги – все тело Яко тряслось от ужаса. Агент грубо оттолкнул его в сторону и занял прежнюю позицию. Яко выбежал на улицу, издавая страшные хриплые вопли. Длинный ждал. Сверху не доносилось ни малейшего шума. Наконец он понял, что драма на втором этаже уже закончилась, и почувствовал эгоистическую, животную радость – и на этот раз он спасся! Но он решил пока не двигаться с места. Иногда эти типы, даже смертельно раненные, поднимаются и стреляют. Во двор вошел полицейский. Сзади него собиралась испуганная толпа.

– Полицейский! Тревогу! – крикнул агент.

Спустя пять минут прибыл Чакыр со взводом полицейских. Немного бледный, он умело и спокойно окружил дом и оттеснил толпу. К осажденному обратились с предложением сдаться, но дом молчал. Чакыр спросил, не согласится ли кто-нибудь добровольно подняться наверх. Никто из подчиненных не ответил. Тогда он, стиснув зубы, вынул револьвер и пошел сам. За ним последовал молодой полицейский с красивыми черными усиками, а потом робко и нерешительно двинулся агент. На верхнем пролете лестницы, раскинув руки, головой вниз неподвижно лежал толстяк. Лицо его было рассечено пополам непрерывной вереницей пуль, выпущенных одна за другой. Чакыр невозмутимо перешагнул через труп и зашагал дальше. В такие минуты он думал только о своем полицейском достоинстве. Дверь комнатки, в которой жил Макс, была полуоткрыта.

– Сдавайся! – громко крикнул Чакыр. – Дом окружен.

И в то же мгновение прижался к той стене, в которой была дверь; Длинный и полицейский присели за трупом толстяка. Ответа не последовало. Чакыр сделал несколько шагов вдоль стены и, подходя к двери, повторил свое предложение. Ответом ему снова было молчание, тяжелое, напряженное, словно лишенное жизни. Чакыр посмотрел на лестницу. Из-за трупа убитого торчали револьверы полицейского с усиками и агента. Чакыр вспомнил о своей семье. После короткого колебания он хмуро толкнул дверь и заглянул в комнатку.

На полу, в луже крови, лежал Макс Эшкенази. Последнюю пулю он пустил себе в рот.

**XVI**

Секретарь господина генерального директора «Никотианы» со стесненным сердцем ждал звонка, которым его обычно вызывали для доклада. Сегодня он особенно беспокоился, так как из провинции было получено много неприятных телеграмм и шеф мог стать злобно придирчивым. Вот уже пять минут секретарь нервно перечитывал телеграммы, стараясь решить, которая из них наименее неприятна, чтобы положить ее сверху. Наконец раздался звонок.

Секретарь вошел в кабинет, как провинившийся школьник, вызванный классным наставником для выговора, и даже слегка вздрогнул, как будто был виноват в том, что происходило в провинции. Он впился взглядом в лицо шефа и с облегчением заметил, что сегодня оно не очень злое. Больше того, как всегда в понедельник, после свободного дня, проведенного с любовницей в Чамкории, лицо у Бориса было свежее и довольное. Но телеграммы, телеграммы… Робко ступая, секретарь подошел к столу. Лицо шефа сразу же приобрело холодное выражение, словно по-другому он просто не мог разговаривать с подчиненными.

– Что нового? – небрежно спросил господин генеральный директор.

– Стачка!.. – хрипло пробормотал секретарь. – Рабочие предъявили требования и угрожают стачкой.

– Стачка?.

Борис побледнел, потом вдруг покраснел, и на лице его застыла яростная, гневная гримаса человека, неожиданно получившего пощечину. И это действительно была пощечина – ведь именно теперь стачка могла причинить большие неприятности «Никотиане» и поколебать доверие немцев к фирме при первых же ее поставках.

– Где? – хмуро спросил Борис, оправившись от неожиданности.

– Всюду, – ответил секретарь. – Во всех наших филиалах, во всех других фирмах. Очевидно, это всеобщая стачка.

– Чего они требуют?

– Многого… Но главное – права организовать свободные профсоюзы, ликвидации тонги и повышения заработной платы.

Секретарь положил телеграммы па стол, с трепетом ожидая, что скажет шеф Борис прочитал их и швырнул в сторону.

– Идиоты! Они с ума сошли! – прохрипел он.

Потом закурил сигарету и, опустив голову, стал обдумывать, с чего начать. На его бледном красивом лбу вздулись вены. Стачку надо подавить немедленно, безжалостно. Но как ее допустили?… Ну и бабы же эти директора филиалов! Да и петиция тоже. Он вдруг поднял голову. Секретарь с блокнотом и карандашом в руке испуганно смотрел на него, панически боясь, как бы не перепутать что-нибудь, стенографируя распоряжения шефа. По Борис пока не сделал никаких распоряжений, только сказал:

– Соедините меня с «Джебелом»! Потом с председателем Союза промышленников и с премьер-министром!

Секретарь бросился в свою комнату к телефону. В проводах загудели голоса.

Владелец «Джебела» был председателем Общества торговцев табаком, но ничто не могло пробудить его от сна после ночной оргии в кабаре «Империал». Вместо него к телефону подошел главный эксперт.

– Что происходит, Папазов?

– Широко организованная акция, господин Морев.

Мы все поражены.

– Полиция, очевидно, проспала все на свете!

– Да, безобразие!

– Теперь слушайте. Если вы меня поддержите, я с ними быстро разделаюсь.

– Разумеется, поддержим! Но чего вы хотите?

– Только полномочий вести переговоры от имени всех торговцев.

– Шеф скоро проснется. Я скажу ему, что необходимо сейчас же созвать собрание.

– Вы уверены в их единодушии? Л то ведь есть такие субъекты, которые будут злорадствовать, если «Никотиана» запоздает с обработкой.

– Да, – отозвался эксперт. – Но это шакалы… Пигмеи… Какой у вас план?

– Измотать стачечный комитет ожиданием, пока мы по перетянем на свою сторону ферментаторов. Потом объявим локаут, и никаких уступок. За зиму они изголодались и долго упорствовать не смогут.

– Отлично задумано, господин Морев.

Борис положил трубку. Секретарь принялся лихорадочно разыскивать председателя Союза промышленников и наконец выяснил, что он в Габрове.

– Дайте, пожалуйста, Габрово. Очень срочный разговор… Прошу вас! Господин генеральный директор "Никотианы» желает говорить с вами.

Весь в ноту от усердия, секретарь связал по телефону двух магнатов. Один из них одевал всю болгарскую армию сукном своих фабрик, другой вывозил треть болгарского табака в Германию. Господин генеральный директор «Никотианы» был изысканно вежлив. Господин председатель Союза промышленников соглашался выполнить его просьбы с дальновидной любезностью. Как им было не попять друг друга! И они поняли. Господин председатель Союза промышленников обещал разослать циркуляр всем членам союза с указанием не принимать на работу бастующих табачников.

Секретарь снова принялся вертеть диск телефона. По-прежнему обливаясь потом, он теперь искал премьер-министра. Но премьер-министр, утомленный государственными делами, уехал куда-то отдыхать; а может быть, и наоборот: утомленный отдыхом, занялся в виде исключения государственными делами. Это был известный всем лентяй, при дворе игравший роль лакея. Лицо у» его было опухшее, глаза сонные, утомленные бриджем. Кто-то внушил ему, что он незаменимый государственный деятель, и это побуждало его удивлять страну и правительства других держав непрерывными дипломатическими актами, которые походили на поклоны во все стороны. Остальное он предоставлял своим чиновникам. Но сейчас его нигде не могли найти, и секретарь беспомощно посмотрел в открытую дверь на господина генерального директора «Никотианы».

– Ищите, ищите! – сказал Борис. – Под водой или под землей, но надо найти этого лентяя!

Секретарь в отчаянии вертел диск, все более дерзко разговаривая с подчиненными и домочадцами премьер-министра. Он просил, требовал, настаивал, заклинал… И наконец ему удалось вырвать у домочадцев признание, что господин премьер в субботу уехал в гости на виллу к одному своему богатому приятелю и еще не вернулся. Докладывая об этом, секретарь смотрел на шефа.

– Звоните туда! – спокойно приказал господин генеральный директор «Никотианы».

Как и все, он считал премьер-министра Болгарии просто глупым и ленивым чиновником, которого надо пнуть ногой, если он спит. Но в отличие от всех прочих господин генеральный директор «Никотианы» действительно имел возможность разбудить премьера пинком. Премьер отозвался хриплым, кислым, сонным голосом, но, как только узнал, с кем говорит, сразу же сделался любезным. Господин генеральный директор сейчас уже не просил, а требовал. Он настойчиво требовал многого – сделать внушение министру внутренних дел (с которым «Никотиана» была не в ладу), большинству Народного собрания, начальнику полиции, главному инспектору труда и начальникам гарнизонов в крупных табачных центрах.

– Да, да… – отвечал премьер-министр. – Будьте спокойны, дорогой Морев!.. Это вопрос политический, это может повредить нам за границей… Да, да!.. Прихлопнем их сразу!.. Да, да!.. Правительство вас поддержит… Да, да!..

И премьер-министр еще много раз сказал: «Да, да». Он привык поддакивать и при дворе, и своим богатым друзьям, что дало ему возможность сделать крупные вложения в швейцарские банки, и теперь он уже помышлял бросить политику в знак своего несогласия с германофильским курсом. Так он рассчитывал доказать обществу, что у него есть нечто похожее на характер и что он не чета прежним премьерам, которых двор выбрасывал как негодные тряпки.

Господин генеральный директор «Никотианы» положил трубку и, не теряя ни минуты, начал диктовать секретарю письмо-циркуляр директорам филиалов фирмы. При этом он достиг вершины своего жестокого искусства управлять, которое должно было поставить голодающих в совсем уж безвыходное положение. Он предписывал директорам отказаться после объявления стачки от каких бы то ни было переговоров с выборными делегатами рабочих под тем предлогом, что делегаты представляют провокаторские элементы. Затем директора должны были требовать выбора новых делегатов на новых собраниях рабочих, с тем чтобы «порядок» на этих собраниях был «гарантирован» полицией, а полномочия для ведения переговоров возложены на «действительно беспартийных». Борис категорически требовал «не спешить» и «выжидать» развития событий, что попросту означало обманывать и водить за нос рабочих, пока они не истратят своих последних сбережений и голод не высудит их отступить. Для «спокойного проведения» переговоров, то есть для их затягивания, директор советовал прибегать к помощи местных инспекторов труда, которые получат инструкции о «беспристрастной» ликвидации конфликта. Письмо завершалось гуманным предложением сохранять «корректные» отношения с рабочими.

Но кроме этого, генеральный директор продиктовал второе циркулярное письмо филиалам с надписью «лично, секретно», в котором вопрос рассматривался более откровенно. Директора складов должны найти «патриотов» и «преданных фирме» рабочих и «склонить их за вознаграждение» войти в стачечные комитеты. Рабочим-коммунистам, само собой разумеется, объявляется «беспощадная война» при «широком содействии» полиции. На рабочих собраниях, созванных для выборов новых делегатов, коммунисты должны быть уличены в «продажности» беспартийными и другими «более умеренными» элементами. Если эти элементы выразят желание вернуться на работу на старых условиях, их надо принять немедленно. Приказано было утроить вооруженную охрану и ввести круглосуточное дежурство служащих у телефона; им предписывалось вызывать полицию, а в случае нужды и войска, если начнутся беспорядки и рабочие нападут на склады. Директорам запрещалось обсуждать с выборными делегатами какие бы то ни было условия прекращения стачки. Условия эти сообщит делегатам генеральный директор, когда будет объезжать провинциальные склады. Таким образом, господин генеральный директор сохранял за собой право сильного начать, переговоры, когда сам найдет нужным, иначе говоря – когда голодные, истощенные рабочие будни вынуждены вернуться на работу на старых условиях, а рабочие делегаты уже перестанут быть делегатами.

От этого письма генерального директора, как и от предшествующих его распоряжений, веяло холодом, эгоизмом и жестокостью но отношению к тысячам беззащитных существ, которые с утра до вечера работали на его складах за ничтожную плату. Но он не видел, не сознавал этого: а если бы и сознавал, это не смогло бы его растрогать, потому что даже те крохи юношеской отзывчивости, которые у него были когда-то. исчезли в годы зрелости, запушенные его успехами, триумфом его энергии.

– Где Костов? – вдруг спросил он, кончив диктовать письма.

– Уехал в Рильский монастырь, – ответил секретарь.

– Когда?

– Сегодня утром.

– Вы ему сказали о забастовке?

– Да! Он поручил мне передать вам, что оставляет работу на месяц и не желает, чтобы его беспокоили. Извините… Я передаю вам его поручение слово в слово, как он велел.

– Значит, и он бастует!

Секретарь ожидал молний холодного гнева, но господин генеральный директор только рассмеялся. Секретарь впервые видел своего шефа смеющимся, и как раз тогда, когда всякий другой нормальный директор воспылал бы справедливым гневом. Дьявол их разберет, этих тузов!.. Секретарь в свою очередь деланно улыбнулся. Несмотря на стачку, господин генеральный директор не терял хорошего настроения. Может быть, этим он был обязан своей любовнице. Секретарь однажды видел ее в машине Бориса. Она была ничуть не похожа на любовницу миллионера: красивая, но скромная девушка, без косметики, без драгоценностей: и у нее, кажется, не было ни малейшего желания афишировать свою связь. Впрочем, секретарь находил ее неинтересной. Ему нравились только блестящие, роскошно одетые женщины, которыми он любовался каждую неделю в кино, где показывали американские фильмы. Да, странные люди эти тузы!.. Но он тут же раскаялся в своем удивлении. Шеф смотрел на него холодно и строго: секретарь не смеет столь фамильярно вторить смеху своего хозяина.

– Быстро приготовьте письма! – приказал господин генеральный директор. – И принесите их на подпись.

Он закурил и посмотрел в открытое окно. Был ясный апрельский день. Теплое небо синело, в воздухе пахло сиренью.

Господин генеральный директор «Никотианы» получил полномочия от всех табачных фирм и начал борьбу хорошо продуманными ходами.

Директора провинциальных складов отказались вести переговоры, поэтому рабочие избрала делегацию, которая должна была добиться приема у хозяев в Софии. В состав делегации входили десять мужчин и две женщины. Господин генеральный директор не принял ее, заявив, что она состоит из «агентов Коминтерна», и сообщил главному инспектору труда, что согласен вести переговоры только с делегатами, выбранными па общих собраниях рабочих, а не членами складских организаций. Ловко избежав встречи с некоторыми политическими деятелями, которые предлагали свое посредничество, он, прежде чем отказать делегатам, заставил их напрасно прождать четыре дня в дешевенькой гостинице. Инспектор труда со своей стороны давал настойчивые заверения – которые, к сожалению, не сбылись – в том, что он убедит господина генерального директора принять делегатов. Так они потеряли еще три дня. Л за это время директора складов в провинции выполнили все распоряжения, полученные от хозяев. Среди рабочих появились агитаторы, которые, правда, тоже были за стачку, по требовали новых собраний, выборов новых стачечных комитетов и новых делегатов потому-де, что избранные раньше присваивают чужие деньги и ценою горя рабочих стараются выслужиться перед теми, кто им платит. Вместе с тем агитаторы уверяли, что хозяева не так уж неуступчивы, как утверждают некоторые, и готовы договориться с рабочими, не доводя дела до стачек, побоищ и кровопролития. Инспекторы труда красноречиво подтверждали это, приводя в пример Италию и Германию.

Пришли теплые дни мая, и состоялись новые собрания – с разрешения полиции, предварительно проверившей ораторов и показавшей себя строгой, но доброжелательной. После долгих споров на этих собраниях выбрали новую делегацию, в которую вошла только треть прежнего состава комитета, и она уехала в Софию. Часть рабочих ясно сознавала, что уплывают драгоценные дни ферментации табака, когда прекращение работы, особенно ферментаторами, связано с серьезным риском для хозяев, и они поэтому могут пойти на некоторые уступки.

Делегаты прождали еще три дня, пока господин генеральный директор «Никотианы» не вернулся из Чамкории, где отдыхал. А когда он вернулся, рабочие столкнулись с новой неожиданностью.

Встреча состоялась в Главной инспекции труда. Шестеро делегатов – в их число удалось попасть и Блаже – расселись вокруг стола, несколько смутившись, но вместе с тем польщенные вежливостью главного инспектора. Они были в опрятных старых костюмах, пропитанных табачным запахом складов, но вычищенных и заботливо выглаженных женами. Некоторые даже повязали дешевые галстуки – первый признак, по мнению трудового инспектора, того, что делегаты и впрямь настроены умеренно. Господин генеральный директор «Никотианы» предъявил свои полномочия, полученные от табачных фирм, и, взяв слово, стал говорить ледяным, сухим голосом, неприятно удивив этим социал-демократов и нарушив доверчивое воодушевление, с которым они явились на прием.

Он начал с тонги. Вопрос о ней был, но его мнению, вопросом национального значения. Ликвидация тонги немыслима. Не будет тонги – не будет ни покупателей, ни торговли, ни обработки, ни производства табака. Вот почему вопрос о тонге вообще не должен ставиться.

Главный инспектор труда рисовал авторучкой парусную лодку на странице блокнота и одобрительно кивал. Это был красивый молодой человек, получивший юридическое образование в Германии. Лицо у него было румяное, цветущее, волосы черные, мягкие, как шелк. Он надеялся получить звание областного чемпиона но теннису, а также пост торгового советника в посольстве. Делегаты социал-демократы, широко раскрыв удивленные глаза, следили за его одобрительными кивками. Ведь местные инспектора труда дали им попять, что вопрос о тонге разрешится благополучно.

– А рабочие, которые останутся без работы? – внезапно спросил Блаже.

– О них позаботятся государственные учреждения, – равнодушно ответил генеральный директор. – Фирмы ото не интересует.

– Но чем же им помогло государство до сих пор? – возразил Блаже.

В его глазах вспыхнули саркастические огоньки, а голос зазвучал вызывающе. Все сразу поняли, что он заранее уверен в неудачном исходе переговоров.

– Как чем? – сердито огрызнулся главный инспектор труда.

Молодость его вначале вызывала у рабочих доверие, но тут им стало ясно, каким путем он поднялся до столь высокого поста. Несмотря на свою утонченную, почти женственную внешность, этот молодой человек был прожженный негодяй. Он многозначительно посмотрел на дерзкого делегата и попросил господина генерального директора продолжать.

Господин генеральный директор быстро перешел к другому требованию рабочих – о праве свободно создавать свои организации. Это требование также не интересовало фирмы, и он ограничился лишь язвительным замечанием, что рабочим не следует усложнять вопрос прихотями политического характера. Зато господин генеральный директор подробно остановился на вопросе об увеличении поденной платы на двадцать процентов. Целых полтора часа он подробнейшим образом рассказывал, наг; развивался кризис цеп на табак, какие героические усилия приложили фирмы для спасения производства и как тяжело их положение до сих нор. Заключение его было пронизано холодной горечью и сожалением. Фирмы не могут допустить увеличения заработной платы, говорил он. В настоящее время фирмы изнемогают. Да, и табачные фирмы, и производители табака окажутся на пороге разорения, если рабочим увеличат заработную плату. Он вынул из портфеля кипу бумаг и подтвердил свои слова цифрами.

Наступила тишина, только с улицы доносились звуки военной музыки. Делегаты не спускали глаз с изысканного костюма директора, словно не в силах понять, как это возможно, чтобы существовали люди, одетые так красиво, когда тысячи женщин и детей живут впроголодь. Они невольно вспомнили о его особняке, расположенном в самой тихой и зеленой части Софии и стоившем несколько миллионов, о его американской машине, о его виллах в Чамкории и Варне. Они вспомнили также о домах, виллах и машинах других табачных магнатов и об огромном жалованье их экспертов и директоров. Неужели же можно утверждать, что фирмы не в состоянии увеличить ничтожную поденную плату рабочим на двадцать процентов? Даже социал-демократы, вполне доверявшие главе трудовой инспекции, почувствовали, какая это бесстыдная ложь. Но господин генеральный директор, ничуть не смущаясь явной несостоятельностью своих доводов, продолжал с наглостью сильного.

– Вы требуете увеличения поденно)! платы па двадцать процентов, – говорил он, впиваясь холодным взглядом в лица делегатов и словно желая упрекнуть их в бессердечии. – Но спрашиваете ли себя, откуда фирмы могут взять эти двадцать процентов? Мы больше других испытали на себе тяжесть кризиса и потеряли своих лучших покупателей за границей… Мы платим громадные налоги, тратимся на покупку новых машин и введение топги, улучшаем санитарные условия, страхуем вас на случай болезни или увечья…

Все аргументы господин генеральный директор подкреплял цифровыми данными, которые делегаты, правда, вряд ли могли проверить.

– Верно, – продолжал он с добродушной снисходительностью к тем слоям общества, представителем которых являлся. – Мы живем лучше вас. Но зато вы избавлены от наших забот и тревог. Если каждый из вас думает о том, как накормить дома два или три рта, то мы должны соображать, как нам выплатить заработок сорока тысячам рабочих-табачников и служащих. В сущности, мы больше думаем о ваших женах и детях, чем думаете вы, когда требуете увеличения платы и тем самым разорения фирм.

Генеральный директор замолчал, мысленно подыскивая новые сокрушительные доводы. Инспектор труда закончил парусную лодку и начал рисовать теннисную ракетку. Если дело кончится пятью процентами и фирмы дадут ему обещанное вознаграждение, он проведет лето в Варне не хуже какого-нибудь богача. Молчание его недвусмысленно показывало, что в принципе он согласен с директором. Однако, если рабочие будут упорствовать и стачка поставит под угрозу качество табака, он предложит, как было условлено, повысить плату на десять процентов, чтобы в конце концов стороны согласились на повышение от трех до пяти процентов. Но это может произойти не раньше чем во вторую или третью встречу. Социал-демократы и беспартийные также молчали, ожидая, чтобы директор высказался до конца. Они не хотели возражать резко, та?; как боялись, что их обвинят в коммунизме, и от всего сердца желали, чтобы фирмы согласились на десять процентов. Только Блаже осмелился взять слово.

– Сдается мне, что между вашими и нашими заботами разница немалая, – гневно заметил он. – Не смешивайте их и не думайте, что перед вами дураки!

Генеральный директор на мгновение смутился.

– Что? – переспросил он. – Что вы хотите сказать?

– Просто я говорю, что мы не настолько глупы, чтобы слушать подобную ложь, – твердо продолжал Блаже. – Если бы торговля табаком шла плохо, капиталы сразу были бы переведены в другой сектор. Фирмы работают ради собственных прибылей, а не ради рабочих. Если бы они думали о нас, наши дети не болели бы туберкулезом и мы но устраивали бы стачек… Следовательно, все, что вы только что сказали, – неправда.

– Значит, вы продолжаете провоцировать?! – возмущенно воскликнул генеральный директор.

– Я не провоцирую, – спокойно возразил Блаже. – Но вы утверждаете, что заботитесь о наших женах и детях, а это сплошная выдумка, которая нас только раздражает.

Лицо у генерального директора покраснело от внезапного припадка ярости, какие случались с ним очень редко, и вены на его висках вздулись.

– Слушайте! – крикнул он еще раз, с силой ударив по столу. – Замолчите немедленно.

– Не вижу оснований молчать. Мы тут собрались, чтобы вести переговоры.

– Именно! А вы эти переговоры саботируете.

– Просто я отвечаю на ваши неверные утверждения.

– Замолчи ты!.. – грубо крикнул инспектор труда.

Наступило молчание, и все поняли, что переговоры провалились. Блаже повернулся к инспектору и сказал с улыбкой:

– Господин инспектор, благодарю вас за арбитраж.

– Это уж слишком! – Голос генерального директора снова стал спокойным и сухим. – Склады принадлежат фирмам, и фирмы будут определять плату рабочим. А у вас в свою очередь свободный выбор: хотите – поступайте на работу, хотите – пет. Фирмы не будут увеличивать поденную плату. Если вам это не нравится, уходите со складов и не отвлекайте меня глупостями!..

Затем он повернулся к инспектору и проговорил небрежным тоном:

– Считаю встречу оконченной.

Снова наступило молчание. Господин генеральный директор «Никотианы» начал складывать свои бумаги в портфель. Делегаты беспомощно заморгали, невольно глядя на Блаже. Тогда он громко сказал:

– Господин инспектор! Завтра все табачники в стране объявят стачку.

В этот день Симеон проснулся рано, измученный кошмарными снами и неотступной мыслью о предстоящих событиях. Он вошел в городской стачечный комитет вместо Шишко, которого отстранила полиция после аннулирования выборов, проведенных на первом рабочем собрании. Стачку должны были объявить в это утро в четверть девятого, после того как рабочие соберутся па складах. Насчет этого он получил телеграмму накануне и до вечера успел проинструктировать всех ответственных по нелегальному профсоюзу.

Несколько минут он пролежал в постели, глядя в маленькое окошко, за которым занималась заря тревожного дня, и внезапно почувствовал острую, пронизывающую тоску. Он слышал ровное дыхание жены – она лежала рядом с ним па кровати, а возле нее, в корытце, спал ребенок. Симеон повернулся к ним и посмотрел на их лица, нежные и неясно очерченные в предрассветном сумраке, и его снова охватил страх, который тут же превратился в печаль и тревогу. Может быть, он видит их в последний раз!.. Может быть, сегодня его убьют, арестуют, замучают до смерти или отправят по неведомым путям следствия в Софию, откуда он никогда не вернется!.. Но сегодня первый день стачки, и он должен ее возглавить. Если рабочие хотят показать свою силу, нанести удар, сбить с толку правительство, принудить фирмы к уступкам, нужно после объявления стачки организовать митинг, а это может повлечь за собой уличные бои и кровопролитие. Он давно уже покончил с колебаниями и взял на себя тяжкую ответственность. Но сейчас, в последнее мгновение, мысль о жене и ребенке смутила его. Он вспомнил о печальной участи, постигшей семьи товарищей, которые погибли в борьбе. Неужели и он должен броситься в эту борьбу слепо, очертя голову, как они? А эта женщина и этот малыш?… Сердце у Симеона болезненно сжалось. Но он уже привык преодолевать в себе тягу к спокойной жизни. После отъезда Блаже, выбранного делегатом, он один мог возглавить стачку в городе. За ним стояли голод, муки и доверие двух с половиной тысяч рабочих.

Он решительно откинул одеяло и встал, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить жену и ребенка. Но деревянная кровать заскрипела, и жена проснулась. Она посмотрела на мужа, сонно улыбаясь, но взгляд ее сразу же омрачился: она вспомнила, какой нынче будет тревожный день. Она знала о телеграмме.

– Который час? – глухо спросила она.

– Пять, – ответил Симеон. – В половине седьмого я должен выйти.

В голосе его звучала притворная беззаботность, от которой жене стало страшно. Она то, ке встала и, пока он брился, приготовила ему завтрак. Как и все рабочие, они завтракали чаем с хлебом, а молоко покупали только для ребенка. Но сейчас она вместо чая налила мужу стакан молока, так как знала, что сегодня ему придется много бегать и волноваться.

– Ну что ты? – сказал он, когда они сели за стол и он заметил, что лицо у нее все такое же грустное. – Страшного ничего нет!.. Не пугайся, если мы немножко и пошумим…

– Только бы крови не было, – тихо вздохнула она.

– Крови?… – Он засмеялся с притворной веселостью. – Ну, может, кому-нибудь и разобьют голову, так ведь это пустяки… А малышу хватит? – спросил он, отхлебнув молока.

– Куплю еще, – ответила жена.

Как она ни противилась, он отлил половину молока ей в стакан и продолжал бодрым голосом:

– Я член стачечного комитета, а нам ничто не угрожает… Мы только будем распоряжаться из безопасного места через ребят-связных.

Но она знала, что опасность угрожает ему больше, чем другим, именно потому, что он в стачечном комитете. Она вспомнила о прошлых стачках – они были подавлены с беспощадной жестокостью, а их руководители убиты или пропали без вести. Она вспомнила те дни, когда среди рабочих вспыхивали волнения, когда с площади доносились крики и плач, а по улицам мчались конные полицейские и давили окровавленных мужчин и женщин. Она вспомнила, как в такие дни долгими, томительными часами ждала возвращения мужа, с тревогой и острой тоской спрашивала каждого прохожего, не видел ли он Симеона. Все это могло случиться и сегодня. И потому сейчас, ранним утром, она снова испытывала все тот же страх перед стачками и беспорядками, все ту же тоску по мужу, которого ей сегодня предстояло ждать, сжавшись от муки и ужаса. Все больше омрачались ее мысли, все крепче охватывало ее зловещее предчувствие, что в это утро оиа видит мужа в последний раз. Она не смогла удержаться и заплакала. Крупные, тяжелые слезы катились по ее щекам, капая на домотканую скатерть. Она плакала безмолвно, тихо, стиснув губы, как плачут люди обреченные. Она плакала о муже, о сыне и о себе, плакала от тоски по недоступной спокойной жизни, от гнева на злую судьбу рабочего человека…

– Ну, хватит, – строго проговорил Симеон. – Будет тебе! Или в тюрьму меня сажают, что ты слезы льешь, как старуха? Объявим стачку, и все… Над Спасуной посмеемся.

И, силясь притвориться спокойным, он принялся передразнивать Спасуну, изображая, как она грызется и переругивается с полицейскими. Вспомнив о Спасуне, жена засмеялась нервно, сквозь слезы.

– Не лезь вперед! – сказала она и вытерла слезы. – Подумай о ребенке! Слышишь?

– Я теперь генерал, – отозвался он. – Буду только командовать… Вперед побегут другие.

Но он знал, что будет не так, что он должен выйти вперед, если хочет, чтобы другие за ним последовали, а приклады и пули полицейских всегда поражают тех, кто идет в первом ряду. И потому сейчас он хоть и смеялся, но снова чувствовал острую, мучительную тревогу за судьбу жены и ребенка.

Они стали говорить о разных хозяйственных мелочах, о малыше и своих знакомых, пытаясь этим прогнать мучившие их темные мысли. Потом Симеон вынул деньги и без объяснения причин отдал их жене. Это была его заработная плата за последнюю неделю, полученная на складе «Фумаро», и несколько сот левов, вырученных от продажи золотой монеты, которую подарил его матери свекор к свадьбе. Он хранил эту монету про черный день, на случай безработицы или тяжелой болезни. А вчера продал ее, опасаясь, как бы с ним не случилось чего-нибудь плохого, и не желая, чтобы его жена и ребенок оставались без денег хотя бы в первые недели.

Но от этого жена его снова заплакала, все так же тихо, даже не всхлипывая, а он сделал вид, что не замечает ее слез, и вышел во дворик наколоть дров. Когда пробило половину седьмого, он подошел к спящему сынишке и поцеловал его. И тогда тоска, сжимавшая его сердце, внезапно отлила, и он почувствовал силу и бодрость, которые, казалось, вдохнуло в него крошечное личико сына. Он вдруг осознал: что бы пи случилось сегодня, коммунизм рано или поздно победит во всем мире, а эта женщина будет любить его всегда, и сын вырастет окруженный ее заботами, как молодое деревце, которое посадили во дворе в день его рождения. Вскоре он простился с женой и направился к центру города. Рабочий район был все еще тих и безлюден. А над печальными, покосившимися домишками и тесными двориками, над нищетой и бедностью ярко снял майский день.

И Спасуна проснулась рано в этот день. Пока дети спали, она, как обычно, прежде чем пойти на склад, занялась домашними делами: принесла на коромысле волы из соседского колодца, полила и подмела двор, а потом умылась и вымыла ноги. Покончив с этим, пошла в пекарню за хлебом и купила для детей немного творогу у рано вставшего лавочника, проклиная дороговизну и обвиняя его в спекуляции; а на обратном пути, сама того не желая, завернула в корчму.

– Доброе утро, ирод! – приветствовала она корчмаря, который подметал свое заведение, взгромоздив стулья на столы. – Для хорошего дела небось не откроешь так рано… Дай-ка мне стопку ракии!..

В голосе ее прозвучало раскаяние, смешанное со злобой, словно корчмарь был виноват в том, что она любила выпить. Сегодня она собиралась выпить только чуть-чуть, лишь бы успокоить нервы, возбужденные мыслью о предстоящем дне.

– Сливовой? – спросил корчмарь.

– Сливовой, убей тебя бог! – крикнула Спасуна. Она снова рассердилась на себя и почувствовала угрызения совести, так как сливовая ракия стоила дороже виноградной; однако Спасуне хотелось именно сливовой. – Чтоб она сгорела, твоя корчма, чтоб все сгорели, кто сюда приходит! Чтоб тебе твоей ракией подавиться!

– Давись сама! – ухмыляясь, проговорил корчмарь и поставил перед ней стопку ракии.

– И пачку «Томас яна» третьего сорта, – добавила Спасуна.

– Платить будешь?

– Когда ж я у тебя брала в долг, а?

Спасуна бросила на прилавок никелевую монетку в десять левов. Корчмарь знал, что она заплатит, но хотел показать себя великодушным и вызвать ее на разговор. Он небрежно взял деньги и положил перед ней сигареты.

– Сегодня опять что-то затеваете? Вижу, шмыгаете туда-сюда… Уж не стачка ли? – спросил он заговорщическим тоном.

– Не твое дело, злодей проклятый!.. – грубо отрезала Спасуна, проглотив ракию. – Язва тебя возьми, если еще спросишь!..

– Чего тебе от меня таиться? – с горечью проговорил корчмарь, словно был по гроб жизни предан рабочему классу. – Прижмите-ка, прижмите кровопийц!

Но Спасуна не поддалась на провокацию. Она закурила сигарету и жадно втянула едкий дым.

– Ну! Угощаю! – дружелюбно проговорил корчмарь, поставив перед ней вторую стопку.

Но Спасуна только бросила хмурый взгляд на седые закрученные усы корчмаря и отказалась пить. «Дурак, – подумала она. – Хочет поживиться на стачке». Корчмарь догадывался, что в этот день что-то должно произойти. Беспорядки его пугали, но стачки приносили доход. После криков и угроз обычно наступало уныние, и тогда рабочие заливали свои невзгоды ракией. Корчмарь почувствовал приятное возбуждение мирного обывателя, который радуется своему благоразумию, в то время как глупцов преследует и избивает полиция.

– Когда же ты мне отдашь в услужение своего старшего? – спросил он, желая снова проявить доброжелательство.

Спасуна казалась ему опасным человеком, с нею неплохо было поддерживать хорошие отношения.

– Своих сыновей в услужение не отдаю! – надменно отрезала работница, закурив новую сигарету.

– Что же ты будешь с ними делать?

– Учить буду.

– Оголодают тогда.

– Возможно!.. – Спасуна по-мужски выпустила дым через нос и презрительно посмотрела на корчмаря. – Пошлю их работать па склады, а в слуги не отдам.

– Слуга, рабочий – не все ли равно? – небрежно заметил корчмарь.

– Нет, не все равно, черт бы тебя побрал! – взорвалась Спасуна. – Если я его отдам в слуги, он станет похожим на тебя!.. Ты ведь начал с лакея.

Корчмарь посмотрел на нее с удивлением. Намек на его прошлое заставил его покраснеть от гнева, но благоразумие посоветовало ему смолчать – слишком уж вспыльчивый нрав был у Спасуны. Из борьбы этих двух чувств возникла привычная льстивая и примирительная улыбка.

– Тo-то и оно! – сказал он самодовольно. – А сейчас я сам хозяин.

– Хозяин? Ты? – Спасуна помолчала, а потом разразилась громким гортанным смехом. – Все равно холуй. Прислуживаешь пьяницам и полиции.

Она обтерла ладонью губы и, все еще смеясь, вышла на улицу.

– Сука! – прошипел корчмарь ей вслед. – Ни угостить, ни выругать!

Вернувшись домой, Спасуна приготовила молочную тюрю и разбудила детей. Мальчики жадно набросились на еду. Тюря была сдобрена творогом и овечьим маслом – редкостная роскошь для детей, привыкших завтракать хлебом и красным перцем. Спасуна задумчиво смотрела на них. Одному было десять, другому двенадцать лет. И оба как две капли воды были похожи на отца: та же широкая кость, продолговатые лица и светлые глаза, спокойные и лучистые. И тот и другой – вылитый отец! Но их длинные руки и ноги были очень худы, а лица – бледны. К весне глаза у мальчиков всегда бывали красными от зимней сухомятки: зимой Спасуна ходила по домам стирать и готовить для детей было некому. Плоховато она их кормит, думала она. Да, плоховато, потому что не хватает денег, потому что надо покупать им одежду, учебники, тетрадки, потому что она решила дотянуть их хотя бы до седьмого класса – непосильная задача для одинокой женщины без мужа, работающей на табачном складе. Эх, бедность!.. Спасуна глубоко вздохнула. Подумав о своей бедности, она вспомнила о тех днях, когда был жив ее муж и оба они работали на складе «Восточных Табаков», а за детьми смотрела ее мать.

Мальчики наелись и по приказу Спасуны – каждое ее распоряжение выполнялось беспрекословно – вышли во двор повторять уроки. Спасуна осталась одна в домишке. Она доела тюрю и снова закурила. В тишине майского утра послышался бон городских часов. Спасуна сосчитала удары. Семь. Еще было время докурить сигарету и предаться горестным воспоминаниям о муже, которого забрали кровопийцы. Они арестовали его семь лет назад в теплый осенний вечер, когда он вернулся домой с корзиной винограда. Спасуну все еще бросало в дрожь, когда она вспоминала об этом вечере. Агенты налетели неожиданно, с пистолетами в руках, как бандиты. Они взломали иол, распороли соломенные тюфяки, все перерыли, угрожали, ругались, дрались и, наконец, обнаружив стеклограф и какие-то листовки, стали зловеще усмехаться. Спасуна и сейчас видела искаженные плачем лица детей, слышала последние слова мужа: «Прощай, жена!.. Со мной – кончено! Работай для детей и постарайся дать им образование». Потом его увели, и он не вернулся – ни слуху ни духу о нем не было. Воспоминание об этом вечере наполняло Спасуну неугасимой ненавистью к хозяевам. Эта ненависть была так сильна, что мысль о предстоящем дне, о стачке, митинге и суматохе, когда можно будет проклинать, ругаться и кричать сколько душе угодно, вселяла в нее мрачную радость.

Дети собрались идти в школу.

– До свидания, мама! – крикнули они, как их наставляла учительница.

– Ну-ка, подойдите сюда! – неожиданно сказала Спасуна.

С пестрядинными сумочками на плечах дети подошли к ней. В приливе суровой нежности она прижала их к себе и поцеловала их бледные личики. А потом, словно раскаиваясь в этом баловстве, сказала хмуро:

– Идите! И не озоровать, слыхали? Завтра я опять пойду к учительнице, спрошу про вас.

Она нервно выкурила еще одну сигарету и отправилась в город.

И Стефан Морев рано проснулся в этот день. После самоубийства Макса он продолжал жить у родителей. Он боялся, что и его арестуют, хотя это было маловероятно. Ему хотелось успокоиться, чтобы разобраться в ошибках стачечного комитета. Что ошибки были, в этом начал убеждаться даже Лукан. Но что ошибки эти связаны с отстранением Стефана от стачечного комитета, а вовсе не с общим сектантским курсом – в этом могли сомневаться только глупцы. Так у Стефана проявился порок, свойственный его отцу: думать, что ничто в мире не может обойтись без него.

Он проснулся бодрым и свежим, но, когда уселся за вкусный завтрак, приготовленный матерью, с грустью почувствовал всю противоречивость своей жизни.

Он был коммунист, но деятельность его протекала под сенью покровительства, которое ему обеспечивало имя богатого, всемогущего брата. Он жил в родительском доме, но этот дом был куплен на деньги, отнятые Борисом у рабочих и крестьян. Сегодня начинается стачка, предстоят беспорядки, аресты, побоища, а он, Стефан, будет смотреть на все это только как зритель, с безопасного места. Тысячи рабочих-табачников в этот час пересчитывают свои последние деньги, прикидывают, сколько дней они смогут выдержать без хлеба в начинающейся борьбе, а он завтракает спокойно, как праздный и сытый обыватель. Десятки партийных руководителей в этот час бросаются с суровым мужеством в мрачное и неизвестное будущее стачки, может быть, навстречу арестам, истязаниям или расстрелам, а он только наблюдает, чтобы потом по мелочам критиковать их ошибки…

Расстроенный своими мыслями, он позавтракал и вышел на террасу, с которой открывался вид на сад, улицу и часть площади перед читальней. Майское солнце поднималось над зелеными окрестными холмами, в саду пели соловьи, а свежий воздух был напоен благоуханием весны. Отец, в одном жилете, поливал розы в саду. Мать возвращалась с базара, за ней шла девочка, которая несла полную сумку с покупками.

Стефан посмотрел на часы. Было около восьми. По улице, как всегда, плыл поток табачников, направлявшихся к складам, – мужчины с исхудалыми лицами, в потрепанных кепках, женщины в ситцевых платьях и налымах. «Тик-тирик, тик-тирик» – постукивали деревянные подошвы по каменным плитам тротуаров. Тут и там в волосах работниц пылали красные гвоздики или маленькие алые розы, украшавшие молодые свежие лица. Что-то особенное чувствовалось в настроении рабочих. Понимая значение этого решающего дня, они возбужденно спешили, разговаривали негромко, нервно, отрывисто. Стефан смотрел на них, и все большая горечь пронизывала его мысли. Никогда он не ощущал себя таким оторванным от людей, таким ничтожным, мелким и жалким, как сейчас. «Тик-тирик, тик-тирик» – все так же постукивали налымы, будто подсмеиваясь над его бездействием. Он превратился в беспринципного честолюбца и, чего доброго, скоро пойдет по стопам Бориса. «Тик-тирик, тик-тирик» – смеялись налымы работниц. Ему осталось только щеголять прогрессивными идеями и постепенно превратиться в человеколюбивого маньяка – такого, как главный эксперт «Никотианы», который в молодости был социалистом, а сейчас, услыхав о стачке, сбежал, оберегая свое спокойствие, в Рилъский монастырь!.. «Тик-тирик, тик-тирик» – насмешливо стучали налымы.

Но в плену горьких мыслей, бушевавших в его голове, Стефан вдруг почувствовал, что поток рабочих снова зажигает в его душе какое-то пламя, которое раньше – в гимназические комсомольские времена – ярко горело, поддерживаемое лишениями. В этом пламени были и юношеские порывы, и надежды, и самоотречение – и все это, сливаясь, вырастало в гордое сознание собственного достоинства и нравственной мощи. Это пламя превращало идею в страстно желанную цель, слабых юношей гимназистов – в борцов за новый мир и порождало у них стремление к действию. Неужели же оно навсегда угасло в душе Стефана? Да, возможно!.. Во всяком случае, теперь оно горело уже не так ярко, как раньше.

Стефан спустился с террасы и медленно, обуреваемый горькими мыслями, зашагал к складу «Никотианы».

И Лила проснулась рано в этот день, но не бодрой и уверенной в себе, а с мучительным сознанием того, что несколько лет подряд она совершала непоправимые ошибки, а сейчас отстранена от руководства и ничего уже не может сделать.

Открыв глаза, она увидела за окошком ночной мрак, боровшийся с серебристым сиянием зари. В комнате раздавался напевный басовитый храп Шишко. Лила посмотрела на спящих родителей и почувствовала тоску, смешанную с нежностью. Под одеялом из козьей шерсти их крупные тела мерно приподнимались и опускались в такт дыханию. В наступающем рассвете были видны их лица – спокойные лица людей, не ведающих сомнений, людей, которые встретят этот бурный день с ясным сознанием своего долга. Насколько умнее, тактичнее и дальновиднее оказались они по сравнению с ней – образованной! Сколько мудрости и терпения внесла партия в их души! Какие трезвые у них убеждения! Лила стала вспоминать решения городского комитета, против которых выступал ее отец и последствия которых выяснились только теперь. Отец презрительно усмехнулся, когда исключили Павла, он гневно и бурно раскричался, когда из состава городского комитета вывели пожилого товарища, он целый месяц не разговаривал с Лилой, когда она внесла предложение об исключении Блаже. Шишко не знал теоретических тонкостей марксизма-ленинизма, но на деле оказался гораздо более последовательным большевиком, чем самоуверенные образованные молодые люди, входившие в городской комитет.

Лила не отрывала глаз от окошка. Серебристое сияние зари порозовело, а небо над ним постепенно приобрело голубовато-зеленоватый оттенок. Она пыталась думать о предстоящем дне, но не могла. Чувство тяжелой вины перед рабочими упорно возвращало ее мысль к прошлому.

Преодоление кризиса в партии началось в прошлом году после речи, произнесенной Димитровым в Москве в годовщину смерти Благоева. Лукан позаботился о том, чтобы эта речь не дошла до широких партийных масс, но Блаже достал ее копию и распространил между активистами. Речь содержала точный и яркий анализ тесняцкого прошлого. Изумленные рабочие впервые узнали, что Центральный Комитет, как ни странно, исключил из партии десятки заслуженных и ничем не запятнанных старых активистов. Здравый смысл невольно склонялся к выводу, что если и существует различие между большевизмом и теснячеством, то оно несравненно меньше, чем различие между большевистской тактикой и теперешним курсом партии.

Вторым событием, потрясшим сознание активистов, был пленум Центрального Комитета. Оп вынес резолюцию, требующую создания единого фронта. Лукан и его сторонники начали это толковать и разъяснять по-своему. Единый фронт? Да, но только на местах! Союзники? Да. но только после того, как они откажутся от своих прежних убеждений! Указания Коминтерна? Мы их, конечно, выполним, по применительно к местным условиям! Будьте совершенно спокойны, товарищи, Центральный Комитет знает свое дело! Активисты удивленно пожимали плечами. Значит, будем сотрудничать с членами Земледельческого союза и социал-демократами, но лишь при условии, если они согласятся стать коммунистами… Вот и агитируй за такое сотрудничество!

II наконец, последняя речь Димитрова – снова о Благоеве, – которую Лила непрестанно перечитывала уже несколько дней… Эта речь была сокрушительной но своей убедительности, по глубине и ясности анализа. Она полностью ликвидировала левосектантскую идеологию Центрального Комитета, разбивала позицию Лукана и его сторонников.

Розовое сияние в светлом квадрате окна алело все ярче. Майская заря рассеивала последние остатки ночной тьмы, но не могла рассеять сумрак виновности и раскаяния в душе Лилы.

Сейчас прошлое казалось Лиде невероятным, печальным и унизительным. Невероятным по своей ограниченности, печальным – по последствиям, унизительным – по ее духовной слепоте! В словах Димитрова ее убеждала не только сила логики, но и поразительное совпадение этой логики с действительностью, совпадение его мыслей со всем, что Лила видела своими глазами. За что она так несправедливо упрекала Павла? Почему так надменно ссорилась с отцом? Почему настояла на исключении из партии Блаже и несчастного Макса Эшкенази? Почему упрямо проводила бесполезные операции, в которых пали самые верные и самоотверженные, самые храбрые товарищи? Почему так слепо исполняла директивы Лукана? Чтобы спасти единство партии? Увы, теперь она сознавала, что руководствовалась не только соображениями об этом единстве. Заблуждалась она потому, что в своем ослеплении воображала, будто коммунистами могут быть только люди, занимающиеся физическим трудом. Она платила дань своему сомнению, недоверию к людям, незнанию действительности и марксистско-ленинского учения. И таким образом, вместо того чтобы сохранять единство партии, она на деле работала против него, безрассудно пропагандируя убеждения группы сектантов, которые превратно понимали марксистско-ленинское учение.

Лила вздохнула. Сиянье зари перешло в ровный свет безоблачного утра. Где-то далеко, в прибрежном ивняке, пел соловей. Каким прекрасным, хотя и страшным был бы для Лилы первый день борьбы рабочих за хлеб, если бы она могла прийти к ним без этого сознания своей вины! Но сейчас оно давило ее, унижало, ранило. Рабочие уже потеряли к ней доверие, считали ее запальчивой, горячей девушкой, которая самоотверженно воодушевляет их, но рассуждает неправильно. Ее не выбрали даже в легальный стачечный комитет. Неумолимый ход событий отбросил ее на задворки борьбы. Левосектантский городской комитет выпустил руль стачки из своих рук. Рабочие сплотились не вокруг него, а вокруг исключенных из партии старых и опытных товарищей. Они выбрали свой легальный стачечный комитет, за которым стоял другой, нелегальный, образованный также из старых коммунистов. В этот нелегальный комитет вошли Симеон, Блаже, Шишко, Спасуна и десятки других рабочих, участвовавших в прошлых стачках. В решающий момент городской комитет партии остался головой без тела, штабом без армии. Он превратился в досадный и ненужный придаток стачки, который вынужден был тянуться за ней, как хвост, и мог только повредить ей в случае, если бы полиция переловила его членов и подвергла их пыткам. Городской комитет партии, руководимый Лилой, катастрофически провалился. Провалился и потому, что между ним и рабочей массой разверзлась пропасть, и потому, что упорный и красноречивый Блаже – теперь Лила восхищалась его способностями, – заменив Павла и Макса, непрерывно, неустанно, незаметно вел агитацию среди рабочих.

Лила опять вздохнула беспомощно. В комнатке стало совсем светло. Блеснули лучи солнца – красные, словно обагренные кровью борьбы, которая должна была разгореться днем. Но Лила уже не могла принять участие в руководстве этой борьбой. В последний момент она стала не нужна стачке. Ее беспорядочные мысли снова вернулись к прошлому. Зачем она поссорилась с Павлом? Зачем проводила столько бессонных ночей над книгами и докладами, а утром с тяжелой головой шла на склад? Зачем, рискуя здоровьем и жизнью, столько раз водила рабочих на уличные демонстрации? Не напрасно ли было все это? Напрасно, напрасно, Лила!.. Ты неправильно использовала свой разум, свою волю, свое самоотверженное желание посвятить жизнь рабочим. Ты не сумела увидеть настоящий путь, указанный партии Димитровым. Объясняется это твоей неспособностью рассуждать диалектически, видеть противоречия, которые борются в любом явлении, твоим недоверием к общественному сознанию пролетариев умственного труда и, наконец, твоим самомнением, которое отвергало советы старших и более опытных, чем ты. Да, вот ошибки, последствия которых ты видишь сейчас!.. Теперешнее Политбюро и городской комитет, Лукан и ты – вы только беспомощные, приносящие партии вред сектанты!.. Поняла ли ты это, убедилась ли наконец? Единственное, что тебе остается, – это признать свои ошибки и искупить их в будущем. Снова стань рядовым в партии! Вернись к рабочим! Продолжай непрестанно когтями и зубами бороться за их права и хлеб!..

Красные лучи солнца, проникавшие в комнатку, стали оранжевыми, потом белыми. Утро разливало потоки золота и синевы. Соловей в ивняке перестал петь, по вместо него во дворе жизнерадостно зачирикали воробьи. Лила почувствовала какое-то просветление. Раскаяние не покидало ее, но тоска и боль утихли. Из пепла прошлого в душе ее рождалось новое и светлое решение. Сейчас ее место па улице, с бастующими рабочими, под ударами полицейских дубинок, плетей и прикладов! Только бы ее не убили в этот день! Только бы не искалечили, не превратили в негодного для партийной работы инвалида! Она боялась этого не из малодушия, а в порыве страстного желания пойти с удвоенной энергией по новому пути, освободившись от сектантства, избавившись от колебаний, сомнений и чувства неуверенности, которые угнетали ее при прежнем курсе.

Лила посмотрела на будильник. Было около половины седьмого. Она откинула одеяло, встала с постели и начала быстро одеваться. Вскоре зазвонил будильник, и проснулись родители. Шишко закашлялся и закурил сигарету. Табачный дым сразу успокоил его кашель.

– Куда? – с тревогой спросила мать. – Уж не собираешься ли ты пойти на склад?

– Пойду, конечно! – твердо ответила Лила.

– Да ты с ума сошла! – воскликнула мать. – Тебя первую схватят или убьют.

– Ну так что же! Прикажешь мне спрятаться здесь? Чтобы все меня на смех подняли?

– Никто не будет над тобой смеяться, – вмешался Шишко. – Товарищи знают, что ты не из трусливых. Мы с матерью пойдем. И хватит.

– А беспартийные? – спросила Лила. – Скажут: «Заставила нас лезть в огонь, а сама сбежала и спряталась».

– Пусть говорят, что хотят. Когда на улицах дерутся, это для полиции самое удобное время перебить тех, кто у них на заметке. Тут ведь, как говорится, не разберешь, кто пьет, а кто платит… Иди доказывай, что они убили человека, как бандиты, среди бела дня.

– Все равно пойду! – решительно сказала Лила.

– Никуда ты не пойдешь! – рассердился наконец Шишко, – Хватит болтать! Что это такое? Только бить себя в грудь умеем! Мы уже видели, до чего довела эта тактика.

Лила сердито вышла, взяв мыло и зубную щетку.

Вслед за ней вышел Шишко.

– Птенцы! – проговорил он более мягко. – Еще молоко на губах не обсохло, а уже учат уму-разуму стариков, у которых волосы побелели на стачках. Дай полью тебе!

– Ты не прав, папа! – упрекнула его Лила, намыливая лицо, – Что подумают товарищи?

– Товарищи нас знают. Слушай! – Шишко заметно колебался. – Не хотел я тебе говорить, чтобы ты снова нос не задрала, да уж ладно. На прошлой неделе Блаже сказал нам, чтобы мы берегли тебя как зеницу ока! «Наделали они дел, – говорит, – но она нужна партии».

– Кто? Это Блаже сказал? – удивленно спросила Лила.

– Ну да, Блаже! И ты его исключила из партии!.. Тоже – умница! Человек из тебя выйдет, но сначала надо ума набраться.

Лила повернулась к отцу. Под мыльной пеной лицо ее озаряла ясная улыбка.

– Ну, мойся! – сказал Шишко. – Потом мне польешь.

Лила вытерла лицо, но, когда, перекинув полотенце через плечо, приготовилась поливать отцу, послышался шум осыпающихся камней. Через ограду, отделявшую их двор от огородика соседей, перелезал мальчик лет пятнадцати. Шишко и Лила сразу узнали сына Блаже. Мальчик еле переводил дух, вид у пего был испуганный.

– Что случилось, Петырчо? – тревожно спросил Шишко.

Мальчик подбежал, стряхивая пыль со штанов и с опаской оглядываясь по сторонам.

– Плохо! – вполголоса прошептал Петырчо. – Арестовали товарища, который приехал из Софии.

– Когда?

– Вчера вечером.

– Кто тебе сказал?

– Буфетчик на вокзале. Я разбрасывал на перроне листовки о стачке, а потом пошел взять еще и проходил мимо буфета… Беги, говорит, сейчас же скажи Лиле.

Лица у отца и дочери вытянулись и стали белыми как полотно. Шишко и Лила растерянно переглянулись.

– Кого вы ждали? – спросил Шишко.

– Лукана.

– Только его здесь не хватало! – Шишко со злостью махнул рукой. – Теперь расхлебывайте кашу… Вот вам и провал.

– Он никого не выдаст, – уверенно произнесла Лила.

– Беги немедленно! – сказал Шишко, совсем расстроенный.

– Куда? – спросила Лила.

– Куда глаза глядят… Лучше всего в деревню к Динко.

Лила поставила кувшин, из которого собиралась поливать отцу.

– Тебя кто-нибудь видел, когда ты бежал сюда? – обратилась она к Петырчо.

– Только наши люди. Но у реки стоял Длинный, а на углу перед бакалейной лавкой – какой-то новый агент.

Шишко и Лила снова переглянулись и поняли друг друга без слов.

Лила вошла в комнатку. Шишко машинально последовал за ней. Мать, уже одетая, убирала постели. Лила несколько раз провела гребенкой по волосам. Потом надела жакет от костюма на старое летнее платье и, поспешно достав со дна сундука маленький пистолет, положила его в карман.

– Доченька! – закричала мать, увидев пистолет. – Что ты делаешь?

– Тише! – остановил ее Шишко.

Он тяжело дышал, лицо его было искажено душевной болью, по взгляд здорового глаза был тверд.

– Боже мой! – В голосе матери прозвучал ужас – Что случилось? Говори скорей! Да говори же, чтоб тебя…

– Тише! – повторил Шишко. – Закричишь – хуже будет. На улице агенты.

Мать остолбенела, глаза ее широко раскрылись, из уст, казалось, готов был вырваться дикий, отчаянный крик. Но она не крикнула, только глухо застонала.

Лила наскоро обняла и поцеловала родителей.

– Прощайте! – сказала она.

– Прощай, дочка! – хрипло проговорил Шишко. – Смелей! Ничего не поделаешь.

– Убили дитятко мое! – как безумная причитала мать. – Погубили!

Лила быстро вышла из дому. Мать беспомощно рухнула на лавку. Ее бессвязные слова перешли в негромкий, хватающий за душу ровный вой. Шишко сел возле нее и опустил голову. В глазу его блеснула слеза. Он смахнул ее. Еще оставалась надежда, что пуля Лилы опередит выстрел агента. Но Шишко сразу же представил себе и другую возможность. И тогда подумал: «Что ж! Иного выхода нет. Лучше уж такая смерть, чем пытки». Он прислушался. В здоровом его глазу горела мрачная, зловещая ненависть к враждебному миру.

Проходя через двор, Лила решила было сразу же свернуть к реке, но, выйдя на улицу, подумала, что лучше идти в центр города. Новый агент неопытен, и его легче, чем Длинного, запутать, кружа по улицам. Если направиться к центру, агент захочет узнать, куда она идет, и, вместо того чтобы сразу же арестовать ее, пойдет за нею следом. И наконец, стены домов могут до некоторой степени защитить ее от выстрелов. Все это Лила сообразила, как только увидела агента, стоявшего на углу у бакалейной лавочки, и повернула в противоположную сторону. На первом же перекрестке она искоса посмотрела назад через плечо и снова увидела агента. Он шел за ней. «Никуда он не годится, – подумала она с усмешкой, – если он хочет узнать, куда я иду, то он ведет себя как мальчишка». Но уже через секунду она с тревогой заметила, что агент и не думает прятаться, но догоняет ее, шагая быстрее, чем она. В этом она окончательно убедилась, когда он, вложив пальцы в рот, громко и продолжительно свистнул два раза. Очевидно, это был сигнал Длинному, поджидавшему у реки. Длинный ответил таким же свистом из ближнего ивняка. Сомнений уже не оставалось – они решили арестовать ее немедленно, но не дома, а на улице. Должно быть, надеялись захватить ее с листовками, что позволило бы следователю обвинить ее в нелегальной деятельности. Сердце у Лилы забилось, но мысль осталась ясной. Она хладнокровно подумала, что надо любой ценой справиться с новым агентом до появления Длинного.

Лучи раннего солнца светили косо, и дома отбрасывали длинные тени. Квартал просыпался медленно, улицы все еще были пусты. Кое-где во дворах умывались рабочие, а тощие ребятишки жевали куски хлеба. Где-то вдали глухо и печально куковала кукушка.

Лила ускорила шаги. То же сделал и агент. Солнце светило им в спину, и она заметила по длинной тени агента, постепенно нагонявшей ее собственную тень, что он двигается быстрее. Еще полминуты – и нужно действовать. Она опустила руку в карман и, стиснув рукоятку пистолета, нажала предохранитель и положила указательный палец на спуск. Застывшее ее лицо было как маска, сомкнутые губы образовали прямую линию. Дойдя до низенького домика на углу, она внезапно свернула, остановилась и прижалась к стене. Глаза ее сверкали голубоватым металлическим блеском. В них было какое-то высшее спокойствие, холодное и жестокое, и оно давало ей огромное преимущество перед агентом, не говоря уж о том, что она заняла выгодную позицию. Шаги агента слышались все яснее. Его длинная тень, бегущая перед ним, быстро скользила по разрытой пыльной мостовой. Лила пристально смотрела на угол дома. И как только агент показался из-за угла, она почти в упор несколько раз выстрелила ему в голову. Агент не успел даже вынуть пистолет. Он повалился головой вперед, прямой, словно доска, и поднял облако пыли. Тело его стало корчиться, руки судорожно загребали пыль. Он на миг сжал губы, словно пытаясь что-то проглотить, потом рот его открылся и из него хлынула кровь. Несколько секунд Лила смотрела на все это, не вполне сознавая, что она сделала, потом опомнилась и бросилась к главной улице.

Она не бежала, а летела, не чувствуя ни усталости, ни одышки. Улочки все еще были безлюдны. Лишь изредка она мельком видела каких-то рано вставших рабочих, которые умывались во дворах или шли в пекарню за хлебом. Они слышали выстрелы и, сразу догадавшись о том, что произошло, одобряли ее словами:

– Беги, Лила!

– Сюда! Сюда!

– Навстречу идет патруль!.. Сверни к пекарне!

– Держись!

Лила выполняла их советы. Добежав до главной улицы, она пошла не торопясь и только тогда почувствовала, что задыхается. Сердце ее бешено билось, в легких как будто не было воздуха. Она несколько раз глубоко вздохнула и немного успокоилась. Дыхание ее стало более ровным. Перед ней была главная улица, такая же безлюдная, как и те, по которым она только что бежала. На углу перед аптекарским магазином пыхтел грузовик.

В это время с противоположной стороны внезапно показался конный патруль из двух полицейских. Лила пошла медленнее, делая вид, будто разглядывает вывески лавчонок.

– Эй, девушка! – крикнул один из полицейских, когда патруль поравнялся с нею. – Где это стреляют?

– Не знаю! – спокойно ответила Лила. – Где-то там!..

Она показала рукой на рабочий квартал.

– А ты не видела, никто здесь не пробегал?

– Нет, не видела.

Полицейские пустили лошадей в карьер.

Лила подошла к аптекарскому магазину. Машина пыхтела по-прежнему. За рулем ее сидел толстый пожилой шофер с подстриженными седыми усиками. Аптекарь, молодой человек в белом халате, с гладко зачесанными волосами, говорил с ним о том, как доставить десять килограммов контрабандного анетола. Когда Лила подошла к машине, оба они вдруг стали говорить громко.

– Слушай, любезный! – сказал аптекарь. – Ты меня не подведешь? А?

– Будь спокоен! – ответил шофер.

– Поосторожней, ладно?

– Я стреляный воробей.

– Не забудь и бутыли с мелникским вином, – усмехаясь, добавил аптекарь.

Лила остановилась.

– Дядя! – обратилась она к шоферу. – Ты не в Мелник ли едешь?

– Туда! – быстро ответил шофер.

– Мне в Червену-реку надо… Подвезешь?

– Залезай, но – за двадцать левов! С рейсовым автобусом вдвое дороже.

– Ладно!

Лила поставила ногу на ступеньку сзади кузова и ловко прыгнула в него.

Аптекарь подозрительно взглянул на нее и наклонился к шоферу:

– Смотри, как бы она не стащила коробку пудры или румян!

– Не стащит! – Шофер добродушно усмехнулся. – Не видишь разве, какая скромница!..

И быстро повел машину.

В покрытом брезентом кузове размещались ящики и пакеты с косметическими товарами. Лила скорчилась на дне так, что заметить ее было нельзя. Когда машина проезжала по площади, не было еще никаких признаков того, что полиция подняла тревогу. Лила увидела только патрули полицейских, – утомленные бессонной ночью, они вяло тряслись на лошадях. Сквозь отверстие в брезенте перед ее глазами промелькнули сначала тюрьма, потом вокзал и еврейское кладбище. С облегчением она вздохнула, только когда увидела поля. Теперь она попыталась думать, но не смогла. Усталость навалилась на нее, притупив рассудок. Ей было холодно, захотелось спать. И все эти ощущения подавляло жуткое, ужасающее воспоминание: она убила человека. Но вскоре это воспоминание уступило место чувству новой вины перед рабочими и партией: убийство агента давало козырь в руки полиции, могло повредить стачке, повлечь за собой аресты и террор. Нет, не совсем так! Может быть, напротив, поступок Лилы поднимет дух рабочих, заставит опомниться хозяев и штрейкбрехеров! Как трудно оценить обстановку, чтобы действовать правильно! Что сектантство, а что нет?… Мысли Лилы снова смешались.

Полчаса спустя машина выехала на шоссе, извивающееся между низкими холмами. Вокруг, насколько хватал глаз, на красной песчаной почве холмов зеленели табачные поля, а над ними сияло кобальтово-синее небо. Воздух был теплый, душный. Где-то здесь начиналась проселочная дорога, ведущая к селу, где жил Динко.

Лила подползла к краю брезента, ухватилась руками за задний борт кузова и перекинула через него ногу. Нащупав пальцами ноги ступеньку, она перебросила через борт и другую ногу. Потом оттолкнулась от борта и спрыгнула. Она тяжело упала на шоссе в облако ослепившей ее мелкой пыли. Два или три раза перекувырнулась через голову, а потом ощутила в правой руке острую, пронизывающую боль. Несколько секунд она пролежала на шоссе, ошеломленная падением, и наконец поднялась. Платье ее и жакет были покрыты пылью. Снова ее пронзила острая боль в руке. Теперь боль была так ужасна, так невыносима, что Лила громко вскрикнула; на лбу у нее выступили капельки холодного пота.

Она несколько секунд постояла не двигаясь, потом пришла в себя и попыталась поднять руку. Но согнуть ее удалось только в локте. И тогда Лила заметила, что рука вместе с облегающим ее рукавом жакета образует неестественный изгиб. «Вот угораздило!» – спокойно подумала она. И тут же улыбнулась. Каким пустяком показался ей перелом руки в сравнении с ужасами ареста!

Обливаясь холодным потом и сдерживая стоны, Лила пошла к селу, где жил Динко.

И Лукан проснулся рано в этот день, но не от сна – он очнулся от беспамятства, в которое его привели полицейские палачи. Арестовали его вечером, в привокзальном буфете. Что сейчас – день или ночь? Где он – в арестантской или в подвале? Что ждет его – жизнь или смерть? Все стало ему безразлично, все, кроме страха, как бы не помутилось у него сознание и он не проговорился бы, не назвал имен товарищей из нелегального комитета. Наконец он понял, что лежит в цементированном подвале без окон, куда его бросили после того, как он отказался говорить. Подвал освещался электрической лампочкой. У стола возле двери хмурый фельдшер в полицейской форме убирал в металлическую коробку шприц. Из-за его спины виновато выглядывал испуганный молоденький полицейский с тупым лицом. Фельдшер сунул коробку в карман и сказал сердито:

– В подобных случаях больше приходить не буду. Длинный посмотрел на него враждебно.

– Что? Ты что сказал?

– Ничего, – сухо ответил фельдшер. Агент захихикал:

– Поосторожней, доктор! Потеряешь и службишку свою, и пенсию.

– Пусть! – мрачно отозвался фельдшер и направился в коридор, сопровождаемый молоденьким полицейским с испуганным лицом.

Укол вернул Лукану силы. Он начал лучше видеть, слышать и пытался думать. Вместе с тем боль в разбитой груди и сломанной руке стала еще более жестокой, нестерпимой. Но даже в это мгновение первые его мысли были о стачке. Макс, бедный Макс, кажется, был прав! Вот теперь становилось ясно, что не все рабочие примут участие в стачке… Твердость и волю, которые сейчас проявляют коммунисты, надо было использовать в решающий момент для достижения более важной цели, Лукан не закончил своей мысли. Невыносимая, пронизывающая боль снова затуманила его сознание. Не угасла только одна мысль, одно чувство, один импульс: не выдать никого, выдержать. Еще немного, и жизнь его кончится. Еще немного, и палач утратит власть над ним. Только бы не помутилось сознание! Нет, не помутится. Лукан снова почувствовал, что он остается господином своего духа.

Длинный наклонился над ним, но увидел только бесформенную массу вспухших мускулов, перебитых хрящей носа и сгустки крови. Потом в этой массе, потерявшей всякое подобие лица, открылись и с нечеловеческой силой впились в него холодные, серо-стальные глаза. Агенту стало страшно. Это был не просто физический страх, а что-то другое – чувство глубокого смятения; но, отупевший от ракии, он не понимал, что это.

– Собака! Ты будешь говорить? – прохрипел он.

– Я ничего не знаю, – ответил Лукан.

– Кого ты ждал на вокзале?

– Никого.

Под взглядом этих серых, стальных глаз агент снова почувствовал глубокое смятение. Ему показалось, что на него угрожающе смотрят все жертвы, которых он когда-либо истязал.

– Слушай, ты!.. – сказал он. – Если не будешь говорить, живым отсюда не выйдешь. У тебя жена и дети есть?

– Есть, – ответил Лукан.

– Говори ради них! Кого из здешних рабочих ты знаешь?

– Никого не знаю.

Агент схватил сломанную руку арестованного и грубо дернул ее. У Лукана вырвался глухой, болезненный стон. Нервно хихикая, агент несколько раз дернул больную руку, потом снова нагнулся над своей жертвой. Лукан уже не мог вымолвить ни слова и опять лишился чувств, но глаза его говорили: «Зверь!.. Я сильнее тебя».

И Чакыр проснулся рано в этот день, но не бодрый, а измученный кошмарными сновидениями. Всю ночь его преследовала зеленая ядовитая змея. Он пытался наступить ей на голову сапогом, но это ему не удавалось. Змея куда-то ускользала, а потом снова бросалась на него. Наконец Чакыр проснулся в холодном поту. Он не мог вспомнить, ужалила ли его змея. И так как сны бывают вещие, он с утра заглянул в маленький пожелтевший сонник, унаследованный от отца. Сонник гласил: «Если тебе приснится змея, увидишь зло от женщины». Чакыр мрачно закрыл книжку. Так!.. Значит, сон в руку, и то, о чем он вот уже год лишь смутно догадывался, со вчерашнего дня стало для него ясным как белый день.

Хмурый и злой, Чакыр подошел к умывальнику, намылил лицо и начал бриться. Вчера шпики донесли, что сегодня рабочие должны объявить стачку, но это его ничуть не волновало. Черные мысли его были вызваны поведением Ирины. Все прозрачнее становились сыпавшиеся вот уже год намеки знакомых па то, что дочь его стала любовницей все так же презираемого им Сюртучонка. Несмотря на свои способности и огромное богатство, средний сын Сюртука оставался для Чакыра грязным типом, мальчишкой без чести и достоинства. Вся околия стонала от его грабежа и от высокого процента выбраковки, установленного его служащими. Иногда Чакыр пытался понять, чем отличается обыкновенный разбойник от генерального директора «Никотианы», который так безнаказанно обирает производителей; но разобраться в этом он так и не мог. В такие минуты Чакыр видел многие события в новом свете. Вот братья Бориса, те хоть и коммунисты, а как будто более достойны уважения. Младший, например, имел возможность стать служащим фирмы, получать большое жалованье и жить на широкую ногу, однако он ходит обтрепанный и всюду ругает махинации «Никотианы». Он не занимается вымогательством, никого не грабит, не скомпрометировал ни одной девушки в городе. Почему же его называют шалопаем, а его брата – разбойника, грабящего среди бела дня, – провозгласили почетным гражданином города? Но это были редкие, случайные мысли, смущавшие полицейскую душу Чакыра. Он их сразу же обрывал.

Все так же мрачно, недовольно ворча на затупившуюся бритву, он скоблил щеки до синевы. Теперь он уже знал наверное, что его дочь – любовница Бориса Морева. Конечно, вначале никто не осмеливался прямо сказать ему об этом. Он чувствовал это только по недомолвкам, по особенным взглядам людей, когда речь заходила об Ирине. Он догадывался об этом потому, что «Никотиана», покупая у пего табак, платила ему чрезвычайно щедро, а Баташский, встретив его на улице, кланялся ему чуть не до земли. Было что-то невыносимо двусмысленное в этих поклонах и раболепных улыбках. Наконец, Чакыр догадывался обо всем и по перемене в поведении самой Ирины. На каникулы она приезжала в родной городок только на два-три дня, была рассеянна, скучала и спешила вернуться в Софию под предлогом дополнительной работы на практике. Застенчивость и девичья миловидность навсегда покинули ее лицо. Правда, она еще больше похорошела, но ее ярко накрашенные губы, острый, уверенный взгляд, сочное контральто, непринужденные движения и даже сигареты, которые она курила, раздражали Чакыра. Все-таки он был еще не вполне уверен в своих подозрениях, а перемены в манерах дочери объяснял новой жизнью, которую она ведет в Софии. Но вчера – этот день стал для него черным днем – один из его сослуживцев раскрыл ему всю правду. Сослуживец был одного набора с Чакыром и родом из того же городка, но служил в Софии – стоял на посту перед итальянским посольством. Он приехал сюда, чтобы провести свой короткий отпуск на родине, и, сидя в корчме с Чакыром, хмуро спросил его после того, как они выпили ракии и хорошо закусили:

– Как поживает твоя дочь?

– Заканчивает ученье, – неохотно ответил Чакыр.

– И зачем тебе нужно было ее учить? Девушка ведь… – Почтенный пожилой сослуживец из Софии нахмурился еще больше. – Свою я отдал в школу домоводства, так спокойнее.

– Ты что-нибудь слышал про Ирину? – спросил Чакыр, с болезненной чувствительностью относившийся к этой теме.

– Хоть и тяжело мне, а должен я тебе сказать, – сочувственно проговорил полицейский из Софии. – Я не раз видел ее в машине Морева. И уже два раза она бывала в итальянском посольстве, тоже с Моревым и двумя немцами. Не нравится мне это, Чакыр! Нехорошо, когда такая молодая девушка водится с женатыми гуляками.

Что-то до удушья сдавило грудь Чакыра. Все закружилось у него перед глазами. Из горла его вырвался хриплый звук, не то вздох, не то беспомощный стон, в котором, однако, звучала ярость.

– Ты… своими глазами видел?… – глухо проговорил он.

– А как же? Неужели выдумываю? – сказал полицейский из Софии, а потом начал успокаивать сослуживца. – Слушай, брат! Может быть, ничего плохого и нет. Молодежь любит веселиться. Моя девка тоже вертелась с разными лоботрясами, а выдал ее замуж – народила детей и утихомирилась.

Чакыр замолчал и, взбешенный, вернулся домой, не сказав ни слова жене. После обеда он не пошел на службу – первый раз в жизни позволил себе такую вольность – и остаток дня провел, мрачно посасывая ракию, все такой же молчаливый, с помутневшими глазами. Вечером он неожиданно вышел из себя, разбил несколько стаканов и, ругаясь, дал пощечину жене, которая всегда настаивала, чтобы Ирина кончила гимназию и университет. Он был твердо убежден, что все началось именно с этого. На крики сбежались соседи и начали с искренним сочувствием его успокаивать. Одни советовали но думать дурно о дочери, другие, знавшие про давнюю связь Ирины о Борисом, высказывали предположение, что все может кончиться хорошо. В городке было известно, что жена Бориса страдает тяжелой болезнью и смерти ее ждут со дня на день. Но эти предположения еще больше оскорбили достоинство служаки. Немного протрезвившись, он успокоился, а около девяти часов вечера его вызвал в участок полицейский инспектор. Чакыр предстал перед ним, стиснув зубы, и вперил в начальника мутный взгляд.

– Слушай, дядя Атанас, оставь-ка ты девушку в покое! – дружелюбно сказал инспектор, которому уже доложили, как тот бушевал дома.

Чакыр уставился на бегающие, неприятно голубые глаза начальника. Он тупо думал о том, чем они ему так не нравятся. Это были острые, нечестные, подлые глаза. В них было что-то от быстрой находчивости Сюртучонка, его уменья пользоваться людьми в своих целях.

– Что ж такого, что твоя дочь с кем-то прогуливалась! – продолжал инспектор с некоторой строгостью. – Велико дело! Перед твоей дочерью всякий снимет шапку, а ты ее ругаешь! Разве так можно?

Чакыр молчал. Никогда и ни за что на свете он не согласился бы с тем, что его дочь вольна кататься в машине с женатыми мужчинами.

– Теперь о другом, – продолжал инспектор уже официальным тоном. – Завтра табачники объявят стачку. Есть сведения, что коммунисты готовят митинг, а ты опытен в этих делах. Это я и хотел тебе сказать. А теперь пойди выспись и подумай, что нам делать завтра.

Чакыр отправился домой, но оскорбленная отцовская честь продолжала бушевать в его душе. На известие о стачке он не обратил никакого внимания. Какое ему сейчас дело до стачки, когда горит его собственный дом, когда его дочь стала уличной девкой, развратницей, потаскухой? Он вернулся домой, подавленный всем пережитым, лег и заснул. А увидев в кошмарном сне змею, которая, уж конечно, была его дочерью, проснулся утром еще более хмурым и разбитым.

В последний раз проведя бритвой по шее к подбородку, Чакыр умылся и начал тереть квасцами свое багровое лицо. Он делал это с яростным, но беспомощным гневом, совсем позабыв о стачке. Мысль о ней таилась лишь где-то в глухом углу его сознания. Его не волновали ни тревожные слова инспектора о том, что рабочие готовят митинг, ни сделанное на основании двадцатилетнего опыта наблюдение, что стачки принимают все более крупные размеры и подавление их связано со все большим кровопролитием. Сейчас все его существо было поглощено диким и мрачным решением, которое он принял и собирался осуществить со всем деспотизмом своего непреклонного характера: прервать ученье дочери, запереть ее дома, как в монастыре, и выдать замуж за какого-нибудь простого, по сильного мужчину, который умеет справляться с распущенными бабенками. Да, он сделает это не моргнув глазом. В последнее время он стал слишком мягким и слишком легко позволял жене и дочери садиться себе на шею.

Приняв это решение, Чакыр успокоился и вволю напился молока. Потом надел свой темно-синий мундир с серебряными нашивками на погонах, ударил тростью по юфтевым сапогам, заботливо начищенным женой, и отправился в участок, все такой же хмурый и злой, но гордясь принятым решением.

И Баташский проснулся рано в этот день. Он пришел на склад к шести часам и проверил, выполнены ли его распоряжения. Принимая меры по борьбе с будущей стачкой, Баташский так же усердствовал, как во время закупок и браковки табака. Во всех отделениях склада были установлены шланги и огнетушители. Железную ограду со стороны улицы опутали колючей проволокой, а выходившее к реке неогражденное пространство, откуда рабочие в случае беспорядков могли хлынуть во двор, за одну ночь превратилось в неприступную позицию – так густо были поставлены здесь железные колья, также переплетенные колючей проволокой. За кольями охранники вырыли небольшие окопы, из которых можно было стрелять. Монтеры обвили двор и сад проводами с сильными электрическими лампами – можно было подумать, что готовится иллюминация. Таким образом, если бы бастующим удалось ночью перелезть через ограду, их заметили бы раньше, чем они успели войти в помещение. Число охранников-македонцев было утроено. Баташский нанял человек десять четников из македонской «революционной» организации, которой все табачные фирмы регулярно выплачивали обязательную дань и которую правительство и дворец поощряли отчасти из патриотизма, отчасти потому, что сами на нее опирались. Четники эти – низкорослые худощавые парни – были профессиональными наемниками. Во имя какого-то идеала, о котором они, по существу, и не думали, эти люди спокойно пристреливали любого, кто пытался им противоречить, а неразумным трактирщикам, которые осмеливались предъявить им счет, отвечали небрежно и коротко: «Сегодня плохи дела. Не буду платить». Баташский нанял их временно, оговорив с их шефом – воеводой Гурлё – некоторые особые условия, так как присутствие этих людей на складе было опасно во многих отношениях. Сейчас, вооруженные карабинами, они, важно подкручивая усы, расхаживали по двору и намекали Баташскому, чтобы тот зажарил им к ужину ягненка. Баташский соглашался, но при условии, что они не будут пить.

Служащие склада получили ответственные задания, которые должны были выполнить под страхом увольнения. У телефона непрерывно дежурили доверенные лица, а одному из охранников было поручено следить за электросетью и телефонными проводами, которые связывали склад с городом. Убедившись, что все распоряжения господина генерального директора перевыполнены вдвое, Баташский стал у открытого окна своего кабинета и принялся наблюдать за рабочими. Хмурыми и злыми показались они ему сейчас. Мужчины бросали в его сторону враждебные взгляды, а женщины коротко и сердито отвечали мастерам, которые спрашивали, почему они бродят по двору и не входят в помещение.

Баташский невольно нащупал револьвер, лежавший в заднем кармане брюк. Ему вспомнилось, как во время одной стачки, пятнадцать лет назад, он, тогда еще простой рабочий, стал штрейкбрехером и женщины из пикета чуть не убили его железными прутьями. Униженные и беззащитные каждый по отдельности, рабочие превращались в могучую силу, когда собирались вместе.

Между тем рабочие начали наконец входить в цеха в занимать свои места. Носильщики принесли распакованные тюки, электромоторы и вентиляторы запели свою докучливую песню, сита машин затряслись с раздражающим сухим стуком. Мастера громко (и в это утро довольно вежливо) призывали к усердию, но никто еще не принимался за работу всерьез. Сортировщицы рассеянно бросали табачные листья в ящики, путая сорта, рабочий с тачкой собирал ящики небрежно, а рабочий, стоявший у машины, погрузившись в своп тревожные мысли, забывал равномерно распределять листья по всему ситу и отделять те, что по ошибке попали не в свой сорт. Неясный гул негромких, но взволнованных голосов наполнял цеха. Десятки, сотни людей прислушивались к чему-то, возбужденно ожидая сигнала к стачке.

И вот ровно в четверть девятого в одном из цехов прозвучал голос партийного уполномоченного – бледной худенькой девушки со светлыми, угрюмо горящими глазами. Она встала на ящик, и ее сразу же окружила охрана из рабочих, входящих в пикеты.

– Товарищи! – крикнула она громко. – Слушайте известие, которое мы вчера вечером получили из Софии! Наши требования отвергнуты, переговоры с хозяевами провалились. Делегаты, которых мы послали для переговоров, арестованы. Можем ли мы дальше терпеть насилия, тонгу и грошовую плату? Можем ли бросить наших достойных товарищей? Можем ли молчать и подчиняться, как скот?… Нет, товарищи! Мы тоже люди. Мы тоже хотим есть, радоваться и жить по-человечески. Хозяева отвергли наши требования, поэтому общий комитет, выбранный делегатами от всех табачных центров, решил объявить стачку!.. Стачку за свободу профсоюзов, товарищи!.. Стачку за ликвидацию тонги, которая обрекает на безработицу треть из нас!.. Стачку за повышение поденной платы!.. Стачку за амнистию нашим товарищам!.. Стачку за наказание преступников, которые издеваются над рабочим классом и болгарским народом!..

Наступившее молчание вдруг прервалось взрывом яростных криков.

– Тише, товарищи!.. – продолжала уполномоченная. – Я хочу сказать вам еще несколько слов!.. Стачка начинается сегодня. В наших интересах сохранять спокойствие и не поддаваться ни на какие провокации. Руководство обдумало все и знает, как действовать. Доверяйте ему. А сейчас все выходите во двор!.. Оттуда пойдем на митинг на площадь, куда придут и товарищи с других складов. Полиция попытается нас остановить, но не пугайтесь, не отступайте перед нею, товарищи!.. Мы должны показать хозяевам и правительству нашу силу… Да здравствует стачка, товарищи!.. Да здравствует рабочий класс!.. Да здравствует Советский Союз!.. Все на митинг, товарищи!..

Снова раздались пламенные восклицания, гневные крики, яростные угрозы. Рабочие «Никотианы» были уже в достаточной мере озлоблены колючей проволокой и охранниками из македонцев, которых Баташский поставил на складе. Все вскакивали с мест, отбрасывали тюки с необработанным крестьянским табаком, опрокидывали ящички с уже рассортированными листьями, безжалостно топтали ненавистный табак. Механики останавливали машины. Электромоторы затихали с басистым воем. Сита на машинах стучали все медленнее и глуше и наконец умолкали, словно испуганные криками.

Да. хорошо начала эта девушка, на вид такая слабенькая, хорошо разожгла справедливый гнев своих товарищей. У нее не было дара огненного красноречия, но в ее простых, точных и сильных словах звучал протест тридцати тысяч угнетенных людей, работавших с утра до вечера на табачных магнатов.

– Долой тонгу!.. – кричали со всех сторон.

– Не уступают ни гроша!.. – с горечью говорили одни.

– Арестовали делегатов!.. За ч-ю?… – возмущались другие.

– Кровопийцы!.. – ругались третьи.

Среди этого шума слышались и голоса агентов фирмы – бедняков, подкупленных «Никотианой».

– Товарищи!.. – кричали они. – Надо подумать… Выскажемся… Зачем бастовать?…

Но мужчины и женщины, входившие в пикеты, силой стаскивали их со стульев.

То же происходило и в других цехах. Электромоторы и вентиляторы замирали один за другим. Крики людей становились все громче. Огромный четырехэтажный склад «Никотианы» походил на улей с рассерженными пчелами, которые в гневе вылетали наружу. На дворе уже собралась толпа из нескольких сот человек. Македонцы открыли железные двустворчатые ворота, ведущие на улицу, и, растерянные, призывали рабочих очистить двор. Малорослые и слабосильные – все это были выходцы из бедных, голодающих горных селений, служившие темной власти табака только как наемники, – они боялись возбужденной толпы и чувствовали себя уверенно лишь с карабином в руке и за надежным укрытием. Но рабочие отказывались выйти. Они хотели собраться вместе, чтобы дружно отправиться на площадь. Чувство солидарности, развитое и укрепленное партийными руководителями, связывало их в единую, мощную, грозную массу. В ожидании рабочие запели «Интернационал», и это сразу повысило общее настроение.

Спрятавшись за занавеской у открытого окна, Баташский наблюдал за толпой. Он был бледен, растерян, но еще владел собой. Стачка начиналась бурно, уже видны были угрожающие признаки того, что бастующие готовы к упорной борьбе и кровопролитию. Директор сел за письменный стол и, тревожно прислушиваясь к пению «Интернационала» и шуму, долетавшему снизу, связался по телефону с другими фирмами. Со склада «Братьев Фернандес» ему лаконично ответили, что рабочие неспокойны, и сразу же повесили трубку. Вероятно, директор этого склада был занят – отдавал запоздалые распоряжения. Это был легкомысленный и распущенный франт, охотник поиграть на гитаре; он никогда не поспевал за событиями. Фирма «Фумаро» пожаловалась, что в охранника бросили кирпичом, а старшего ферментатора избили. На складе «Восточных табаков» произошло столкновение между анархистами и коммунистами, что было на руку фирме и очень обрадовало директора. Здесь не было активистов, способных подать пример, поэтому четверть рабочих отказалась бастовать и обработка табака продолжалась. Но зато в «Эгейском море», где складская организация считалась крепостью социал-демократов, а рабочие слыли самыми послушными, пятеро коммунистов подняли на ноги весь склад. Директор испуганно спрашивал, что делать.

– Не знаю!.. – рассеянно ответил Баташский, пожалуй даже довольный тем, что и в других местах происходят беспорядки. – Дай им выйти на улицу и закрой склад.

– А потом? – Голос директора дрожал от волнения.

– Потом ничего! Разопьем бутылочку сливовой.

И Баташский засмеялся, гордый тем, что может хладнокровно острить в такой напряженный момент. Но ему было страшно, хоть он и притворялся спокойным и даже самоуверенно покручивал свои длинные черные усы. Как всякий неглупый подлец, который нелегко поддается панике, но ясно видит опасность, он боялся, боялся до смерти каждого изможденного лица, каждой пожелтевшей руки людей, которые сейчас могли появиться перед ним. В его сознании еще жило воспоминание о разъяренных женщинах из пикета, которые когда-то железными прутьями сбили его с ног. Поэтому он после своих телефонных разговоров не осмелился показаться у окна, а продолжал трусливо выглядывать из-за занавески.

Но Баташский боялся и другого. Рабочие объявили стачку, а он не вышел поговорить с ними, он ничего не сделал, чтобы убедить хотя бы часть из них остаться на работе. А в этом отношении приказ Бориса был категорическим и грозил увольнением. Баташский беспомощно сжал кулаки. Что, если шеф призовет его к ответу за малодушие, что, если бухгалтер донесет в главное управление? В последнее время бухгалтер подозрительно интересовался цехами, в которых производилась обработка табака, и втихомолку изучал техническую сторону дела. Уж не собирается ли он вытеснить Баташского?… А это постоянное шушуканье с хозяевами, насмешки над всем, что делает Баташский, насмешки, которым вторят хозяева! Ну и подлец же этот бухгалтер!.. Баташский выглянул из окна и увидел своего ненавистного соперника, спокойно стоявшего на лестнице между двором и садом в рубашке и белых брюках, с сигаретой в зубах. Беззаботно ему живется, этому мошеннику, – ведь он не имеет дела с рабочими!.. Сейчас он, вероятно, следит за Баташским и в уме, может быть, уже сочиняет подлый донос. Баташского бросило в жар. Он представил себе гнев Бориса и увольнение, которое может последовать, если тот узнает, что не были приняты все меры для того, чтобы задержать рабочих на складе. С горечью представил он себе, как потеряет хорошо оплачиваемое место и связанные с ним бесконечные возможности для побочных доходов. Непростительно рисковать такой замечательной службой, наживой во время закупок в деревне, тайными взятками с владельцев небольших партий товара. И все это из-за какой-то минутной слабости! Э, нет! Баташский не трус! И он решил, что глупо бояться каких-то голодранцев, которым завтра будет нечего есть. Черт бы их взял, этих рабочих! Баташский быстро выпил две рюмки анисовки, которую держал в тумбочке письменного стола, и решительно спустился по лестнице.

Но когда он вышел во двор, его охватили прежний страх и желание немедленно улизнуть. Со всех сторон его встретили грозным и продолжительным гулом: «У-у!..» Он на понимал, что сейчас рабочие злятся на него в десять раз больше, чем раньше, за то, что он нанял македонских охранников и опутал склад колючей проволокой.

– Эй, подхалим! – крикнул кто-то.

– Баташский, и не стыдно тебе? – с суровой и строгой горечью упрекнул его другой. – Мы боремся за хлеб, а ты нацеливаешь нам в грудь карабины.

– Ребята!.. – начал было Баташский.

И прикусил язык. Крики не прекращались, со всех сторон Баташского окружали враждебные, изможденные лица мужчин и женщин, которых он еще вчера ругал, запугивал, унижал. В десяти шагах от себя он заметил крупную фигуру Спасуны, одетой в выцветшую безрукавку и пеструю юбку. Она наклонила голову, и крепкие мускулистые руки ее угрожающе сжались в кулаки. Спасуна сейчас была как львица, готовая броситься на врага. Баташский устремил на нее невинный и заискивающий, даже несколько огорченный взгляд, словно хотел объяснить, как трагичны и бессмысленны социальные конфликты, которые портят личные отношения. Надо сказать, что он вообще избегал ссориться с нею. Но лицо Спасуны сохранило каменную неподвижность, и это встревожило Баташского. Такое лицо у нее бывало в тех случаях, когда добра от нее ждать не приходилось. И все-таки Баташский, собравшись с духом, начал говорить. От страха он заикался, а слова его, вкрадчивые и неумные, только вызывали смех у рабочих.

– Я вижу ваше положение! – уверял он, несколько ободренный тем, что рабочие его не обрывали и отзывались на его речь только смехом и шутками. – Но вы уж потерпите немножко, голубчики! Подумайте! Ну что хорошего в стачке?… Уж будто от нее такая большая польза! Убыток для нас, голодовка для вас… – Голос Баташского звучал все более уверенно: – Пусть каждый решает сам за себя! Кто хочет, пусть бастует, а кто не хочет, не мешайте ему вернуться на работу…

– Молчи, пес!.. – взревела Спасуна.

Крик ее разнесся по всему двору. Она сделала несколько шагов к Баташскому, словно собираясь броситься на него. Он повернулся и пустился бежать вверх но лестнице. Спасуна и рабочие покатились со смеху.

Между тем стали сказываться недостатки в подготовке стачки. Люди все еще слонялись по двору, теряя драгоценное время, а руководство почему-то медлило. Некоторые под разными предлогами пытались улизнуть. Трусливые и подкупленные удирали один за другим, выдумывая всевозможные оправдания и твердя, что им необходимо уйти ненадолго. Один клялся, что его жена вот-вот родит. Другой говорил, что забыл купить детям хлеба. Третий воинственно уверял, что обязательно придет на площадь. – вот только зайдет домой за палкой. Вспыхивали мелкие стычки, слышались улюлюканье и насмешки. Во всех этих сегодняшних трусах и обманщиках можно было угадать завтрашних штрейкбрехеров. В это время появился Симеон, который обходил склады в сопровождении нескольких человек из легального стачечного комитета. Стоя в воротах, но не заходя во двор, он обратился к рабочим с призывом быть твердыми, дисциплинированными и выдержанными в борьбе.

– Мы победим, – сказал он. – если докажем, что не боимся, и если каждый из нас исполнит свой долг перед рабочим классом!

Потом он отдал какие-то распоряжения партийной уполномоченной и, взглянув на часы, отправился на другие склады. Рабочие густой толпой двинулись к площади.

Они шли молча, твердым шагом, хотя и не в ногу. Несколько остряков попытались было подпить настроение бастующих шутками, по их смех остался без ответа. Неизвестность угнетала всех. Даже самые смелые с тревогой думали о встрече с полицией. Она могла появиться с минуты на минуту, через две-три улицы, и тогда могут произойти какие-то решающие события, от которых зависел исход стачки. Некоторые тайком набивали карманы камнями. Мужчины вышли вперед, женщины и девушки держались сзади. Спасуна предложила поменяться местами, утверждая, что полиция не посмеет избивать женщин и детей. Но мужчины этого не допустили. Они согласились только принять Спасуну в свою передовую группу. Спасуна отпустила несколько шуток, и рабочие повеселели. Потом все снова умолкли. Сотни глаз пристально смотрели вперед, ожидая, что вот-вот появятся синие мундиры.

С соседней улицы, из-за угла, послышался глухой топот множества ног. Наступило мертвое молчание. Напряженные лица рабочих застыли, руки их судорожно стиснули трости, палки, камни. Но вдруг все облегченно вздохнули. Из-за угла показалась толпа рабочих. Это были бастующие со складов «Братьев Фернандес» и «Эгейского моря» и маленькая группа из «Восточных Табаков», не все там решились бастовать. Лавина бастующих увеличилась. Сейчас их шло уже не менее восьмисот человек. И все знали, что к площади направляются бастующие с других складов. Рабочие почувствовали свою силу, настроение их снова поднялось. Впереди показались двое пеших полицейских; завидев толпу, они повернулись и бросились бежать. Их бегство приободрило рабочих, они стали высмеивать полицию. Но тотчас же, развернутое плотной цепью, показалось целое полицейское отделение. Бастующие поняли: инспектор приберегает конный эскадрон, чтобы послать его на площадь, а может быть, этот эскадрон уже разгоняет стачечников, идущих со складов в западной части города. Перед цепью шел худенький светлоусый унтер-офицер с дубинкой.

– Назад! – крикнул он. – Разойдись!

К нему бросилась было Спасуна, но товарищи благоразумно удержали ее.

– Что ты делаешь, убийца! – завопила она.

– Назад! Назад! – все более тревожно и неуверенно кричал унтер, сбитый с толку порывом Спасуны и растерявшийся при виде численного превосходства бастующих.

С ним было не более тридцати человек. Заглушаемый стуком ботинок, налымов и сапог, голос его звучал беспомощно.

– Справимся, товарищи! – бодро выкрикнул кто-то. – Их мало!

– Смелее вперед! – воскликнул другой.

Расстояние между полицейскими и бастующими уменьшалось.

– Назад! Дам приказ стрелять! – кричал унтер.

Он выхватил пистолет из кобуры. Так же поступили и его подчиненные. Передняя группа бастующих дрогнула, однако рабочие по-прежнему шли вперед. Завидев полицию, люди испугались; но теперь они снова были полны мрачной решимости. Всем уже стало ясно, что три десятка полицейских – ничто по сравнению с толпой в семьсот-восемьсот человек. Даже самые несмелые понимали, что унтер вряд ли решится на кровопролитие. Впрочем, это было заметно и по его растерянному голосу.

– Молокосос! – сказал кто-то.

– Поджилки трясутся!

– Шапками закидаем!

Стачечники смеялись, но вдруг унтер выстрелил, а за ним открыли огонь и другие полицейские. Толпа остановилась и, как волна, ударившаяся о стену, отхлынула назад. Началась суматоха. Раздались крики.

– Бегите! – в панике закричал кто-то. – В людей стреляют!

Но стреляли в воздух, и это испугало только женщин. Стремясь использовать панику, полицейские бросились вперед, нанося удары дубинками. Однако Спасуна и ветераны ответили на это градом камней. Унтер оказался новичком. Схватившись с первыми рядами толпы, полицейские не посмели в нее врезаться, опасаясь, как бы не оказаться окруженными и не попасть в тяжелое положение. Один из них выстрелил еще раз, но стачечники закидали его камнями. Поняв, что их начальник допустил тактическую ошибку, полицейские обратились в бегство. Первая схватка закончилась победой бастующих. Унтер признал это со стыдом. Лицо его блестело от пота. Он был напуган и разъярен. Немного приободрившись, он собрал своих людей и снова повел их вперед. Полицейские пошли за ним неохотно.

– Не бойтесь расследований!.. – подбадривал он их мрачно. – Это предатели, подрывные элементы… Нам черным по белому приказано – остановить их!

С этими словами он выстрелил и ранил в ногу одного из бастующих. Раненый глухо застонал, схватился за колено и рухнул на пыльную мостовую. Двое мужчин сразу же вынесли его на тротуар. Задние ряды дрогнули, но передняя группа ветеранов снова обрушила град крупных камней на полицейских, не осмеливающихся начать рукопашный бой. Начальник, правда, сказал им: «Не бойтесь расследований!» – но он не дал им и приказа стрелять по людям. Этот негодяй хотел переложить всю ответственность на подчиненных… А потом, если будут убитые и разразится скандал, службу-то потеряют они. Отлично зная это, полицейские пятились, отступая перед толпой, которая приближалась к площади. Положение становилось все более напряженным. Растерянный, потный и бледный, унтер то и дело оглядывался, и лицо у него было смущенное. Где же замешкался эскадрон? Почему его нет? Ведь эскадрон может за одну минуту и без пролития крови разогнать эту ужасную толпу! Но унтер не знал, что в эти мгновения полицейский эскадрон топчет и разгоняет плетьми другие толпы рабочих. Совсем запутавшись, унтер теперь рассуждал так же, как его подчиненные. Этот трус инспектор хочет свалить ответственность на него! Легко чваниться своей коротенькой шпагой и отдавать туманные распоряжения. Унтер рассердился. Он подумал, что его карьера и служба висят на волоске. Если он не остановит рабочих и позволит им выйти на площадь, они соединятся с другими бастующими и могут произойти еще более страшные события. А потом начальство будет искать виновников, и унтеру припишут малодушие, нераспорядительность и отсутствие такта. Да, малодушие, если он не будет стрелять, и отсутствие такта, если будет! Попробуй угоди этим идиотам! Только ухмыляются, глазеют на баб, а по вечерам пьют ракию с директорами складов! Унтер был человек неглупый и по вечерам занимался, чтобы сдать экстерном экзамен на аттестат зрелости. Иногда поздней ночью, погасив лампу, он задумывался, и в его воображении заманчиво возникала Высшая полицейская школа, а за ней – короткая шпага и серебряные погоны инспектора. Да, он надеялся, что эти погоны вытащат его навсегда из низов, из грубой жизни. Да, нужно стрелять по толпе, черт возьми! Унтер перевел дух, чтобы дать команду. А рабочие, словно догадавшись об этом по выражению его лица, невольно замедлили шаги.

Но как раз в эту минуту унтер заметил новое осложнение: откуда ни возьмись, в передней группе бастующих появился младший Сюртучонок. Он растолкал всех и вышел вперед, ободрив этим заколебавшихся стачечников.

– Полицейские! – крикнул Стефан во весь голос – И вы посмеете стрелять? Подумайте об ответственности!

– Вы подумайте, господин Морев!.. – отозвался унтер, но так тихо и неуверенно, что рабочие его не услышали, а полицейским он показался жалким.

Он невольно назвал Сюртучонка «господином Моревым» – из уважения к его могущественному брату. И тут же сообразил, что даже инспектор, даже сам начальник полиции никогда бы не отдали приказа стрелять по толпе, в которой вертится брат крупнейшего табачного магната. Хоть и странно ему казалось, что один из братьев – миллионер, а другой – коммунист, он объяснял это каким-то особым соглашением между ними, которое его не касалось. Он привык приспосабливаться к непонятному поведению сильных мира сего. Появление Стефана подсказало ему возможный выход из положения: он просто должен позволить бастующим дойти до площади – и все. Вместо того чтобы дать команду открыть огонь, унтер приказал подчиненным убрать оружие. Полицейские выполнили приказ с облегчением, а рабочие почувствовали, что появление Стефана спасло их от кровопролития.

– Он с нами, – говорили одни. – А мы ему не верили.

– Там видно будет, – недоверчиво отзывались другие.

– Чего тебе еще? Вот он! А ведь тут опасно.

– Гм!.. Опасно-то опасно, да не для него. Разве посмеет полиция стрелять в брата Морева?

Однако все поняли, что по крайней мере в эти минуты младший Сюртучонок им необходим. Эта уверенность окрепла, когда Стефан начал убеждать бастующих быть твердыми до конца.

– Что? Струсили? – кричал он. – Ну, может, кое-кто из нас и погибнет, но ведь без этого не обойтись.

– Пусть! – отвечали рабочие. – Лишь бы победить.

– Все зависит только от нас самих.

– Как это?

– А так! – Стефан поднял сжатый кулак. – Если мы им покажем зубы на площади… Если они увидят, что мы не шутим и не сегодня, так завтра их склады могут загореться.

– Ну а потом?… – спросил один рабочий, втайне подозревая, что Сюртучонок – провокатор.

– И потом тоже – все зависит лишь от нас самих! Если только в пикетах у вас настоящие мужчины, а не бабы и если они справятся с подкупленными ферментаторами… Через десять дней табак начнет плесневеть, даже если хозяева сами примутся перекладывать тюки.

– Верно! Тут они слабы.

– Ну да! Тогда они вам и тридцать процентов прибавят, но для этого нужны крепкие кулаки и, может быть, немножко крови.

– Послушай, – сказал тюковщик со склада «Никотианы». – Мы люди простые и не во всем разбираемся. Брат у тебя – богач, а ты-с нами. Как это понять?

– С братом у меня нет ничего общего! – гневно воскликнул Стефан.

– А кто тебя кормит?

– Никто! Сам.

– Заливай кому-нибудь другому! – насмешливо проговорил тюковщик. – Твоя мать каждое утро присылает тебе па склад служанку с молоком и пирогами на завтрак. Я же вижу!

Его толкнули, чтобы он замолчал.

– Заткнись! – останавливали его. – Если он все-таки с нами, это делает ему честь.

Они и правда чувствовали в глубине души, что, если Стефан сейчас подвергается опасности наравне с ними, значит, он не может быть лицемером. И Максу ведь сначала не верили, а потом узнали, что он умер как настоящий борец. Однако тюковщик повторял упрямо и возмущенно:

– По утрам пироги слоеные лопает! Знаем мы таких.

И все-таки ему не удавалось настроить товарищей против Сюртучонка. Наоборот, Стефан сейчас поднимал настроение, увлекал и воодушевлял всех. Он говорил то же, что и другие агитаторы, но говорил это ярче, красноречивее и убедительнее. Одни хлопали ему, другие одобрительно кричали, и нестройное движение толпы к площади становилось все более стремительным. Теперь унтер только делал вид, что силится задержать рабочих и выполнить свои полицейские обязанности. Попытки его подчиненных остановить толпу превратились в комические потасовки с бастующими. Кое-кто из рабочих поднимал их на смех:

– Эй, щенки! Хватит путаться у нас под ногами!

– Сапоги себе запылите, эх вы!

Другие пытались смутить полицейских горькими упреками:

– Стыдно, ребята! За кусок хлеба и тысячу левов жалованья стрелять в своих братьев!

– Приказ! – тупо оправдывались полицейские.

– При чем тут приказ? – рассмеялся кто-то. – А если тебе прикажут лечь под поезд, ты что, ляжешь?

– Дураки вы, ребята! – добавил другой. – Ведь жизнью своей рискуете! Детей сиротами оставите, а ради чего? Ради имущества богачей!

Целое полицейское отделение беспомощно отступало под натиском рабочих.

Унтер подумал со стыдом, что, если бы инспектор увидел его людей в столь плачевном положении, он сразу бы подал рапорт о его увольнении. Сам унтер держался не более достойно, чем его подчиненные.

– Господин Морев, поймите, нельзя так!.. – жалко и умоляюще твердил он, все еще убежденный, что между братьями существует какое-то соглашение.

И так как он видел, что уже не может ничего сделать, он старался по крайней мере подчеркнуть, какую услугу он оказывает Стефану.

– Поймите, господин Морев!.. Я не стреляю единственно ради вас! – раболепно твердил он. – Ваш брат – хороший болгарин, почтенный человек… Меня уволят… Я рискую своей службой.

Стефан и рабочие смеялись. Наконец толпа подошла к площади, прорвала заслон охраняющих ее полицейских и, подобно бурной реке, разлилась по ней.

Бастующие увидели, что па площади пет копной полиции, которая могла бы их разогнать, и, успокоившись, мирно остановились перед читальней. Балконы и окна прилегающих к площади домов заполнили зеваки, сгоравшие от любопытства, смешанного с приятным чувством собственной безопасности. Площадь казалась им чем-то вроде арены для гладиаторов, на которой забастовщикам и полиции предстояло устроить редкостное, возбуждающее зрелище, способное разогнать провинциальную скуку. И ни одному из этих ничтожеств не пришло в голову, что подобное зрелище – предвестник бурных времен, которые прежде всего нарушат их покой. У окон кафе при читальне столпились пенсионеры – стратеги в политике, безработные интеллигенты – чемпионы бильярда, таблы, моникса – и несколько юнцов из золотой молодежи, которые проснулись рано, чтобы утром попытать счастья в рулетку, а вечером – в любви. Даже аптекарь, идейный приятель Сюртука, теоретик новых патриотов городка и общепризнанный виртуоз карамболей, отказался от дешевой славы, которую принесла бы ему партия в бильярд с одним из коллег, чиновником министерства здравоохранения, приехавшим сюда из Софии, чтобы лечить ваннами свой ревматизм. Оба они бросили кии ради более интересного зрелища, которое надеялись увидеть на площади. Приятели стали позади одной группы у окна и включились в общий разговор. Если не считать суждений о дальнейших ходах Гитлера, самой злободневной темой бесед у безработных интеллигентов и пенсионеров была «красная опасность». Они говорили об этой опасности не потому, что им самим пришлось бы что-то потерять, если бы она стала неминуемой, а потому, что эта тема была навязана им газетами.

Увидев, что забастовщики собрались около читальни, посетители кафе забеспокоились. Если начнутся беспорядки, бастующие могут ворваться в кафе, а это нарушит идиллию мовикса, таблы и нескончаемых лихорадочно сладостных разговоров о возможностях Гитлера. По сути дела, этим людишкам нравились не бурные события, а только разговоры о них.

– Заварится каша, вот увидите! – сказал один пенсионер, бывший учитель математики, старательно протирая пенсне уголком носового платка, чтобы разглядеть эту «кашу» получше.

– Вряд ли! – небрежно бросил аптекарь. – Сейчас их разгонят.

– Такую толпу разогнать нелегко, – заметил учитель. Это был маленький аккуратный старичок с лысиной и белыми усами. Сорок лет подряд он мыслил холодными математическими силлогизмами, и это мешало ему верить в великое будущее, которое Гитлер готовил болгарам.

– Полиция знает свое дело! – раздраженно проговорил аптекарь. – Да и войска у нас имеются.

– Что хорошего, если придется вызывать войска?

Аптекарь быстро взглянул на дверь за прилавком, через которую можно было в случае необходимости сбежать, и тут же воспользовался случаем уязвить существующий строй.

– Чего вы хотите, господин Дешев, – демократии? Вот вам демократия: стачки, беспорядки, классовая ненависть… Все что угодно, только не творческий труд! – Он взял двумя пальцами кусочек рахат-лукума, поданного официантом, и, чавкая, продолжал: – Да, все что угодно, только не творческий труд! Одни лишь немцы могут навести порядок в Европе.

Лицо у аптекаря было полное, бритое, гладкое, как фарфор, одет он был со старомодной элегантностью пятидесятилетнего холостяка. Он сгорал от желания стать главным агентом фирмы «Байер-Майстер-Луциус», продать свою аптеку и переселиться в Софию, где он уже купил квартиру. Съев свой рахат-лукум, он продолжал славить творческий труд.

Пока зеваки на балконах и комментаторы в кафе ожидали развязки событий на площади, по телефонным проводам велись драматические служебные разговоры. В околийское управление поступали тревожные вести со всех табачных складов. Рабочие прекращали обработку табака без особых инцидентов – берегли свои нервы для дальнейших испытаний в борьбе. Только кое-где возникали мелкие стычки, преимущественно с ферментаторами: фирмы повысили ферментаторам поденную плату, и они отказывались бастовать. Но все это раздувалось директорами складов, ибо они преувеличивали по приказу своего начальства размах столкновений с целью заставить полицию действовать более энергично. Директор «Джебела», па складе которого рабочие избили македонских охранников и силой выгнали ферментаторов, возмущенно спрашивал околийского начальника, намеревается ли местная полиция защищать частную собственность или надо просить помощи из Софии. Околийский начальник сорвал свой гнев на инспекторе, а инспектор – на младших офицерах. Оп тотчас же послал конный эскадрон к складу «Джебела». Эскадрон разогнал около двухсот рабочих – после возни с ферментаторами они были утомлены и несколько пали духом. Расправа с этими забастовщиками задержала эскадрон, и это позволило рабочим «Никотианы», «Восточных Табаков» и «Эгейского моря» беспрепятственно выйти на площадь. Туда же прошли бастующие и с других складов.

Когда рабочие собрались на площади, околийский начальник по телефону назвал инспектора растяпой. Начальник – офицер запаса, маленький плешивый человек – боялся потерять свою службу по трем линиям: политической, административной и македонской. Только что ему сообщили по телефону из Софии, что правление союза торговцев табаком пожаловалось в министерство на бездействие полиции в городе. Сейчас начальник видел из открытого окна своего кабинета, что толпа па площади непрерывно увеличивается, и то разражался потоком яростных и бессмысленных приказов, то, оцепенев от страха, падал духом. Он видел, как стачечники подняли плакаты с оскорбительными для властей коммунистическими лозунгами и один оборванец (этого надо было застрелить па месте), взобравшись на стол, взятый из дансинга, произносил зажигательную речь. Околийский начальник с ужасом представил себе, что скажут директора фирм, городская общественность, кмет, начальник гарнизона и воевода Гурлё!.. Весь город стал свидетелем его бессилия в борьбе против агентов Коминтерна!

Но вот инспектор послал конного полицейского с приказом эскадрону немедленно вернуться на площадь. Конный полицейский должен был передать распоряжение устно, но задержался, так как искал своих товарищей у склада «Джебела», а тем временем эскадрон в порыве служебного усердия и по собственному почину помчался к складу австрийского торгового представительства, где директор встретил его улыбочкой: здешние рабочие не бастовали. Так было потеряно еще десять минут, в течение которых положение на площади стало напряженным и вынудило околийского начальника принять отчаянное решение. Он вызвал к себе Чакыра и приказал ему разогнать толпу с помощью полицейских, охранявших околийское управление.

Чакыр угрюмо выслушал приказ, поджав губы. Ему казалось, что околийский начальник сошел с ума.

– Господин начальник, – возразил Чакыр первый раз в жизни. – Это невозможно.

– Что?! – взревел околийский начальник.

– Невозможно! – твердым и враждебным голосом повторил Чакыр. – Двадцать полицейских, даже вооруженных, не могут разогнать толпу в полторы тысячи человек… Надо подождать эскадрон.

– Что? Ты боишься? – в ярости заорал околийский начальник. – Я приказываю! Из Софии приказывают, понимаешь? Фирмы пожаловались министру, что мы ничего не делаем! Баба! Передай командование другому, если боишься!

Чакыр секунду стоял неподвижно, потом щелкнул каблуками, отдал честь и направился к двери. Никогда еще начальство не разговаривало с ним таким тоном, и никто так глубоко не задевал его служебной чести. Передать командование другому! Как бы не так!.. И фирмы пожаловались мипистру, что ничего не делается! Какая подлость, какое безумие!.. Но именно эта подлость пробудила в его закостеневшем от служебных уставов мозгу неясное просветление, внутренний протест и горькое понимание того, что полиция, в сущности, давно уже перестала быть полицией и выродилась в охранника фирм. Почти каждую неделю в городе происходили убийства. И все знали, кто убийцы, – это люди воеводы Гурлё, но никто не смел их арестовать. Какая же это полиция? Участки кишат хорошо оплачиваемыми штатскими сыщиками – разложившимися типами, алкоголиками и развратниками, единственное занятие которых – обвинять людей в коммунизме, незаконно арестовывать их и пытать. Разве это полицейские? Совсем недавно в стычке тяжело ранили его сослуживца, и он, вероятно, умрет. Это бедняк из того же села, что и Чакыр, и двоим его детям придется жить на жалкую пенсию. Разве этот полицейский стоял на страже законности? Он пожертвовал жизнью, останавливая бастующих, а ведь они имели право требовать прибавки от фирм! И Чакыра теперь посылают с горсточкой людей против бастующих!.. Нет, полицейские не занимаются своим прямым делом, а гибнут ни за что, только чтобы выколотить побольше прибыли для фирм… Опять фирмы!.. Все вращается вокруг фирм, словно такие понятия, как жизнь и честь людей, просто не существуют, а государство – это те же фирмы. Все яснее становилось в голове у Чакыра. Он рассуждал медленно, неуклюже, но его мысль переходила от отдельных фактов к общим выводам. Существует какая-то мафия, невидимо управляющая государством. Существует какой-то союз очень богатых людей – торговцев, промышленников, банкиров, – союз, который подчинил себе правительство, полицию, армию, который решает и направляет все, не знает жалости и не останавливается ни перед какими средствами, чтобы сохранить за собой власть и возможность грабить. И Сюртучонок входит в этот невидимый союз, в эту всесильную мафию. Неужели найдется разумный человек, который стал бы отрицать, что фирмы имеют полную возможность выделить частичку своих миллионных прибылей, чтобы повысить поденную плату? Табачные магнаты живут чуть ли не во дворцах, катаются на лимузинах, позорят семейную честь людей – тут Чакыр вспомнил об Ирине и задрожал от гнева, – а рабочие гибнут в бесправии и нищете. Все знают, что лидеры многих партий входят в правления фирм, что министры и генералы участвуют через подставных лиц в делах предприятий, у которых «Никотиана» закупает табак, подбрасывая им крохи своих прибылей. Всем известно, что торговцы, банкиры, промышленники, министры и генералы поддерживают друг друга, что их мафия, словно чудовищный спрут, оплела народ тысячами властных и цепких щупалец и, чтобы увеличить своп прибыли, толкает его к немцам, от которых – Чакыр знал это по прошлой войне – нельзя ожидать ничего хорошего. Чакыр давно уже понимал все это, но не осмеливался прямо признаться в этом самому себе, ибо то же самое говорили и коммунисты. Но сейчас, когда мафия опозорила его дочь, а его самого посылала на неизбежную гибель, приказывая ему с двадцатью полицейскими разогнать полторы тысячи голодных людей, он понял это, как никогда, ясно. И не так уж был виноват околийский начальник, когда он, дрожа за свой кусок хлеба, отдавал невыполнимый приказ!.. Над околийским начальником стоял областной, над областным – министр, над министром – правительство, а над правительством – мафия, невидимая, всемогущая и бесчеловечная!.. И тогда Чакыр, несмотря на свое маленькое благополучие, несмотря на то что он владел виноградником, табачным полем и небольшим хозяйством в деревне, вдруг понял, что и он сам, и полицейские, которых ему сейчас предстояло вести, – только жалкие слуги, только ничтожно оплачиваемые наемники этой мафии, которая и ломаного гроша не даст за их жизнь, а заботится только о своих прибылях.

Во главе своих подчиненных Чакыр вышел на тротуар перед околийским управлением и, расстроенный тяжкими думами, остановился на мгновение, устремив куда-то в пространство грустный взгляд. Под голубым небом и жизнерадостным майским солнцем победоносно ликовала толпа. Давно уже рабочим не удавалось собраться вместе, давно их ораторы не имели возможности воодушевить их жаждой свободной и сытой жизни!.. Несколько комсомольцев прикрепили к рейкам красные знамена, притащив их из дому тайком, под рубашками, и теперь размахивали ими над толпой. Рабочие прониклись уверенностью в своих силах и гордостью. Слова ораторов пробуждали в них чувство собственного достоинства, помогали им осознать, что рабочий класс борется не только за хлеб, но и за нечто более важное и великое, что принесет счастье всему человечеству. В лучистом сиянии майского дня витала надежда на новый мир, в котором не будет униженных бедностью, в котором склады и фабрики будут принадлежать всем, а не горстке дармоедов, приказывающих сейчас своим вооруженным прислужникам стрелять в рабочих. Все пламеннее звучали слова ораторов, все больше росло воодушевление рабочих. Оно вызывало жажду справедливости даже у бедных горожан, наблюдавших со стороны, даже у безработных завсегдатаев кафе, которые тоже размышляли о своей судьбе.

– Рабочие – это не шутка, да!.. – задумчиво проговорил пенсионер, бывший учитель математики.

– Правильно действуют! – сказал монтер, который исправлял вентилятор в кафе и теперь слезал со стремянки.

– Смелее, ребята! – негромко подбадривал бастующих участковый ветеринар: он как раз пересекал площадь на своей двуколке, нагруженной лекарствами, которые он получил от своего начальника, околийского ветеринара. Как большинство агрономов и ветеринаров, в душе он считал себя коммунистом и сочувствовал рабочим.

– В добрый час, доктор! – дружески ответил ему какой-то тюковщик. – Поешь печенки за здоровье голодных!

Но тюковщик не знал, что ветеринарный врач сейчас едет в деревню, чтобы помочь своим коллегам провести массовую прививку скоту от сибирской язвы. А это было опасное, тяжелое дело, и ветеринару предстояло попотеть. Поэтому он сочувствовал рабочим и крестьянам, также обливавшимся потом, и ненавидел их хозяев, лимузины которых, проезжая по шоссе, нередко обдавали пылью его лошаденку и двуколку.

Из сада при читальне вылетела вспугнутая стая воробьев. Полицейские, безуспешно пытавшиеся остановить бастующих рабочих «Никотианы», стояли па другом конце площади и, держась подальше от толпы, собравшейся на митинг, злобно ругали инспектора, который сделал глупость, послав эскадрон на окраину. После недавней схватки и лица полицейских, и их мундиры имели довольно помятый вид. У щуплого белобрысого унтера, который ими командовал, был отпорот погон и оторвано несколько пуговиц. Он побежал в околийское управление за новыми распоряжениями и, поравнявшись с Чакыром, даже не поздоровался с ним. Между обоими полицейскими существовала скрытая вражда. Молодой любил покутить со штатскими агентами, а старому это не нравилось. Пока Чакыр, подавленный мрачными мыслями, шел с подчиненными к толпе, из открытого окна доносились истерические крики околийского начальника.

– Вперед!.. Разгоните их!.. Стреляйте!.. – вопил он, обезумев от страха, что кмет, дирекция фирмы и воевода Гурлё оклевещут его, обвинив в бездействии.

Чакыр и его люди медленно шли вперед, не обращая внимания на крики. Они понимали в эту тяжелую минуту, что какая-то зловещая сила приказывает им подвергать опасности свою жизнь ради прибылей фирм. И Чакыр слышал: устами околийского начальника кричит мафия, которая стоит над всеми и управляет всем. И не околийский начальник, а она приказывает разогнать голодных людей.

– Скорее! – снова завопил околийский начальник. – Трусы! Под суд вас отдам! Ах ты, старый осел, за шкуру свою дрожишь! Передай командование другому!

– Принимаю! – раболепно отозвался молодой унтер.

Чакыр вздрогнул, словно его хлестнули плеткой, и пришел в себя. Мысли, только что волновавшие его, сразу же исчезли. В голове образовалась пустота – бессмысленная пустота, тупая, но освободившая его от натиска противоречивых дум. И среди этой пустоты вновь зашевелились разбуженные криками околийского начальника привычка к дисциплине и мелочное чувство служебной чести, которое мафия умело воспитывала в своих слугах. Теперь Чакыр думал только о том, что околийский начальник обвиняет его в трусости и приказывает передать командование другому. Он боится? А чего бояться? Как бы не так!.. Чакыр выпятил атлетическую грудь и стиснул плетку. Честолюбие и привычка, воспитанные многими годами службы, снова превратили его из мыслящего человека в послушный автомат.

– Стой! – крикнул он молодому унтеру. – Командовать своими людьми буду я! А ты наступай с другой группой со стороны гостиницы.

– Но господин начальник… – попытался было возразить унтер.

– Марш отсюда! – заорал Чакыр.

Он поднес ко рту свисток и дал сигнал. Подчиненные, как послушные цыплята, сбежались к нему. Чакыр приказал им развернуться в цепь и повел их на толпу. Так же поступил и молодой унтер, двинувшись с другой стороны площади. Забастовщики, увидев, что полицейские снова направляются к ним, приготовились к встрече. Вперед вышли вооруженные палками, досками и камнями, образовав своего рода фалангу, другие сомкнулись у стола, с которого держал речь Симеон, а третьи, преимущественно женщины и девушки, побежали к соседним улицам. Чакыр дошел до живой человеческой стены и глухо проговорил:

– Ну, ребята! Расходитесь по домам!

– Чакыр! – сказал кто-то. – Зачем ты пришел сюда стараться ради богачей? Лучше иди домой пить ракию под орешиной.

– Так я и сделаю, – отозвался Чакыр. – Но сначала расправлюсь с вами.

Он схватил смельчака за шиворот и резким движением вырвал его из фаланги. Забастовщик, маленький и тщедушный, повалился на землю, но его товарищи не двинулись с места. Крупная, атлетическая фигура Чакыра внушала им страх. Кроме того, все знали, что он чуть ли не единственный честный полицейский в городе и никогда не проявляет излишней жестокости.

– Ребята, будем драться! – зловеще предупредил Чакыр, увидев, что никто не двигается.

– Бей, Чакыр, бей!.. – с горечью произнес упавший. – За то тебе и платят!..

Он поднялся, по двое полицейских сразу же схватили его за плечи.

– Стыдно, дядя Атанас!.. – с укором сказал другой забастовщик. – Ты человек разумный.

– Дай нам мирно и тихо закончить собрание.

– Нельзя, господа! – громко крикнул Чакыр.

В слове «господа» прозвучала служебная строгость, но вместе с тем желание избежать кровопролития. Чакыр терпеть не мог применять оружие. Сейчас он сознательно медлил, затягивая выполнение приказа, в тайной надежде, что скоро подойдет эскадрон и толпу удастся разогнать плетьми.

Но внезапно положение ухудшила работница по прозвищу Черная Мика.

– Эй ты, кровопийца! – в негодовании крикнула она. – Моревский сынок сделал твою дочь шлюхой, а ты пришел нас бить!

Послышался смех. Стрела была направлена метко и поразила Чакыра в самое уязвимое место.

– Что?… – взревел он, как раненый зверь.

– Дочь твоя – шлюха!.. – повторила Черная Мика под злорадный хохот остальных женщин.

Плеть Чакыра описала широкую дугу и обвилась вокруг шеи и груди Черной Мики; женщина пронзительно взвизгнула. В тот же миг на руку полицейского молниеносно обрушилась палка. Чакыр побледнел от боли, но не вскрикнул. Плеть его стала без разбора хлестать бастующих. Увидев это, его подчиненные бросились в атаку с дубинками. В толпе раздались глухие крики. На другом конце площади загремели выстрелы. Люди молодого унтера слова пустили в ход пистолеты.

Чакыр услышал голос кого-то из своих подчиненных:

– Господин начальник, Спасуна!.. Берегись Спасуны!

Чакыр оглянулся и увидел искаженное, залитое кровью лицо Спасуны. Держа в руке большой камень, она замахнулась, готовая изо всей силы швырнуть его в голову Чакыра. Он не успел даже попытаться отскочить назад – слишком поздно его предупредили. Но в то же мгновение, прежде чем удар обрушился ему на голову, он увидел, как один полицейский почти в упор выстрелил в грудь Спасуне из пистолета. Чакыр рухнул на землю, а на него упала сраженная пулей Спасуна. Толпа растерялась и после минутного колебания в панике бросилась бежать па бульвар, который вел к вокзалу. На взмыленных копях к площади мчался эскадрон полицейских.

**XVII**

Чакыру устроили торжественные похороны, и в городке это вызвало много разговоров, но не столько о заслугах покойного, сколько о его дочери. Все понимали, что полицейский вряд ли удостоился бы таких почестей, если бы господин генеральный директор «Никотиаиы» не известил заранее через Баташского, что будет лично присутствовать на погребении. Узнав об этом, кмет и полицейский инспектор готовились к церемонии с таким рвением, что многие благонадежные горожане, собиравшиеся пойти на похороны из уважения к Чакыру, пришли скорее из любопытства.

Перед домом Чакыра стояла большая толпа его опечаленных друзей и знакомых, праздных ротозеев и городских сплетников. Соседи поглядывали то на раскидистую орешину, под которой Чакыр любил посидеть вечерком за стопкой ракии, то на начищенное толченой черепицей крыльцо, с которого должны были вынести гроб. Соседи эти были простые, бесхитростные люди, искренне жалевшие Чакыра. Сейчас они вспоминали, какой он был вспыльчивый, по честный человек, и скорбно причмокивали языком, выражая этим жалость, сочувствие и покорность судьбе.

Компания молодежи, собравшаяся на тротуаре перед домом и привыкшая смеяться над простонародьем, ожидала выноса тела с шутовской почтительностью. Сын бывшего депутата Народного собрания, соседа Чакыра по винограднику, пришел со своей собакой и, пересчитав собравшихся священников, нашел, что их до смешного много для такого скромного полицейского чина. Этот молодой человек был все еще красив, хотя с годами немного опух от провинциальной привычки злоупотреблять ракией.

– И начальник гарнизона здесь! – заметил инженер из дорожной конторы.

Он вырос в одной из окрестных деревушек, но местное избранное общество великодушно приняло ого в свой круг, потому что он получил инженерное образование на Западе и умел играть в бридж.

– Не хватает только представителя правительства, – подхватила дочь первого адвоката в городе.

Она училась в Стамбуле в одном колледже с Марией и заботилась о том, чтобы этого не забывали.

– А немцы? – спросил толстый владелец вальцовой мельницы. – Где же заправилы из Германского папиросного концерна?

– Вместо них явился сводник! – пошло улыбаясь, ответил хилый желтолицый юноша.

Этот юноша унаследовал от отца целый квартал домов в центре города и теперь продавал их один за другим, чтобы поддерживать в софийских кабаре свою славу донжуана. Желая побольнее уязвить Бориса, он распускал слухи, что тот лишь благодаря Ирине добился благосклонности немцев.

– Ты пересаливаешь! – сердито одернула его адвокатская дочка.

Она не любила непристойностей и всегда стремилась держаться в рамках хорошего тона. Отвращение к крайностям создало ей репутацию девушки добродетельной, хотя и без предрассудков.

– Вовсе не пересаливаю! – возразил хилый юноша, удачно передразнивая ее грассирование. – А почему ее катают на автомобилях по Чамкории? Почему приглашают играть в бридж?

– Вздор! – Бывшая одноклассница Марии рассердилась, словно это оскорбили ее. – Ирина – в бридж!.. Не смеши меня.

Она была твердо убеждена, что бридж – трудная и сложная игра, ничем не уступающая алгебре, которой она училась в колледже, – совершенно недоступен для скороспелых богачей из простонародья.

– Ну что же! Хочешь верь, хочешь пет! – отозвался донжуан, знавший, как легко эта игра дается даже дамам из «Этуаль».47

Но вот толпа перед домом возбужденно зашевелилась. В конце улицы показался длинный черный лимузин. Вес поняли, что господин генеральный директор «Никотианы» прибыл, чтобы защитить честь любовницы своим присутствием на похоронах ее отца. Из машины вышли Борис и Костов. Они поздоровались кое с кем из толпы, а па избранное общество не обратили внимания.

– Индюк! – сердито пробормотал сын бывшего депутата. – Еще вчера был паршивым голодранцем, а сегодня пыжится, как министр!

– Нам надо было войти в дом и вместе со всеми выразить соболезнование, – сказала бывшая одноклассница Марии.

Она втайне восхищалась Борисом, и порой ей даже казалось, что ради него она могла бы отречься от своего умеренно добродетельного образа жизни.

– Иди, если тебе так хочется!.. – грубо отрезал сын бывшего депутата, зарекаясь жениться на ней.

Очевидно, ждали только приезда Бориса – сейчас все в доме и во дворе покойного засуетились. Священники надели епитрахили. Мальчишки с хоругвями и венками выстроились на улице и ждали выноса, лениво поедая вишни, которые они успели нарвать в саду Чакыра. Поджарый белобрысый унтер вышел к почетному взводу полицейских и скомандовал: «Смирно!», а четверо других – пожилые, тщательно выбритые младшие офицеры с повязками из черного крепа на рукавах мундиров – вынесли из дома гроб. Тотчас же заголосили деревенские женщины – сестры, невестки и племянницы Чакыра, а за ними и добровольные плакальщицы, собравшиеся со всего квартала. Пронзительные голоса их сливались в дикое и тоскливое завыванье, заставившее досадливо поморщиться некоторых официальных лиц, но знакомых с местными обычаями. Одна плакальщица жалобно перечисляла достоинства покойного, другая горестно вопрошала, кто будет заботиться о его винограднике и табачном поле, третья оплакивала осиротевшее семейство, а четвертая с эпическим пафосом описывала, как Чакыр возвращался с дежурства, садился под орешиной и потягивал ракию. Вскоре плакальщицы раскраснелись, и по щекам у них потекли неподдельные слезы. Когда же гроб поставили на катафалк, женщины заголосили так громко, что заглушили все прочие звуки, а представители избранного общества вынули носовые платки и, прикрыв ими лица, громко захихикали. Только бывшая одноклассница Марии была по-прежнему невозмутима. Хороший тон, усвоенный в колледже, убил в ней способность ценить комичное и трагикомичное. Она негромко бормотала:

– Совершенно мужицкие похороны!.. Будь Ирина подлинно интеллигентной, она не допустила бы такой комедии! Жалко Бориса.

По лестнице, тихо всхлипывая, спускалась жена Чакыра. За ней, красивая и скорбная, в дорогом траурном платье шла Ирина, устремив неподвижный взгляд куда-то в пространство. Но в глазах ее не было ни слезинки. Под траурным крепом собравшиеся видели уже не прежнюю девочку, а женщину из другого, недосягаемого мира, которую не могли задеть ни насмешки местной знати, ни нелепые обряды невежественных деревенских родственников. Следом за Ириной с подобающими печальному событию скорбными и серьезными лицами шли Борис, Костов, кмет и начальник гарнизона. Не было только околийского начальника. Он чувствовал себя виноватым и понимал, что положение его пошатнулось. Сразу же по приезде господин генеральный директор «Никотианы» спросил у кмета, почему околийский начальник послал на опасное дело самого старого и заслуженного полицейского. Кмет, который был не в ладах с околийским начальником, угодливо ответил:

– Я тоже не могу этого попять, господин Морев! Непростительная ошибка! Просто он никудышный администратор и не сумел справиться с положением.

Осудив таким образом своего шефа, на чье место он метил давно, кмет, пользуясь случаем, стал перечислять и другие оплошности околийского начальника. Господин генеральный директор «Никотианы» многозначительно заметил, что поинтересуется деятельностью этого субъекта. Итак, все уже знали, что песенка околийского начальника спета и долго он не продержится.

От жары тело Чакыра начало разлагаться, и от гроба попахивало.

– Воняет! – невозмутимо заметила бывшая одноклассница Марии, сморщив курносый носик.

Это спокойное замечание вызвало новый взрыв смеха у ее приятелей. Но она, не обратив на это внимания, продолжала во все глаза следить за погребальной церемонией, чтобы ничего не упустить и потом описать все подробно в длинном письме к подруге, живущей в Софии.

Мальчишки с хоругвями и венками первыми тронулись в путь по пыльной улице, за ними потянулись потные и раздраженные долгим ожиданием священники, потом полицейский, который нес ордена Чакыра. Наконец тронулся и катафалк, сопровождаемый родными и близкими покойного, почетным взводом полицейских и толпой горожан. Шествие медленно растянулось по залитым солнцем улицам городка, оставляя за собой облака пыли, пропитанные тошнотворным запахом тления, ладана и цветов. Время от времени слышалось заунывное пение священников и позвякивание кадил. Прохожие останавливались и удивленно смотрели на Бориса, шагавшего за гробом. Одни толковали его присутствие как проявление раскаяния, другие – как наглую демагогию. Только немногие, самые проницательные, сразу поняли, что Борис теперь так богат и могуществен, что ему незачем ни раскаиваться, ни ударяться в демагогию.

В это время на кладбище поспешно хоронили Спасуну. Возле ямы, которую могильщики проворно засыпали землей, стояли родственники покойной – жены рабочих и несколько мужчин с кепками в руках. Сестра убитой тихо всхлипывала. Осиротевшие дети моргали опухшими глазами, чем-то напоминая брошенных щенят. Тощий старый священник торопливо складывал свою епитрахиль.

К могиле подошел маленький сморщенный полицейский в потертом мундире.

– Давайте поживее! – прикрикнул он. – Нечего тянуть.

Он получит от инспектора приказ выгнать рабочих, прежде чем к кладбищу подойдет другая похоронная процессия, многолюдная и пышная.

Могильщики заспешили. Над убогой могилой вырос небольшой холмик, в который женщины воткнули несколько стебельков базилика и гвоздики. Сморщенный полицейский снова стал торопить рабочих. Могильщики присели на траву, вытирая потные лица. Один из них закурил. Рабочие молча стали расходиться. Последними ушли сестра Спасуны и какая-то старушка, которая повела за руки сирот. На опаленном зноем кладбище снова воцарилась печальная, сонная тишина.

Спустя несколько минут на шоссе показалось длинное шествие, окутанное пылью. Приближалась похоронная процессия с гробом Чакыра.

Ирина возвратилась с кладбища вместе с матерью, окруженная толпой деревенских родственников, которые приехали за день до похорон и остановились на постоялом дворе. Она с самого начала встретила их холодно и недружелюбно. Стремясь избежать лишних расходов, они заикнулись было о том, чтобы переночевать в доме, но только рассердили Ирину, которая не хотела, чтобы ее стесняли. Динко тоже показался ей неприятным, хотя в вопросе о ночевке он стал на ее сторону и спровадил родственников на постоялый двор. Он избегал говорить о смерти дяди – видимо, придерживался особого мнения. Ирина заметила, как неприязненно он смотрит на ее дорогое черное платье, маникюр и модную прическу. Наверное, прикидывает в уме, хватает ли на все это тех денег, которые ей посылают родители. Но вскоре она со стыдом почувствовала, что и все обращают внимание па ее внешность. Ей приходилось все больше считаться с требованиями среды, в которой она вращалась, и вот уже несколько месяцев Борис целиком оплачивал ее туалеты.

После похорон родственники, несмотря на строгие наказы Динко, притащили с постоялого двора свои суконные плащи и котомки с едой. Они хотели остаться на заупокойную молитву, которую священник, должен был на следующий день прочитать на могиле.

Ирина незаметно покинула родню и ушла в свою комнатку. Она была утомлена и подавлена, но в то же время ее охватило какое-то странное чувство освобождения, словно она была довольна, что смерть отца избавила ее от его суровой и деспотической власти. Конечно!.. Никогда больше ее не будут преследовать его упреки, его сердитые полуграмотные письма, никогда больше не придется испытывать унижение во время неожиданных приездов отца в Софию. У Чакыра была неприятная привычка приезжать в столицу в полицейской форме и поджидать дочь у дверей клиник и аудиторий. Студенты при виде полицейского насмешливо улыбались. Правда, отец всегда был опрятен, подтянут и даже молодцеват, но она краснела от стыда, когда ходила с ним по улицам, и, хоть этот стыд был нелеп и унизителен, она не могла его побороть. Наконец-то смерть отца избавила ее от всего этого. Но вместе с тем она со страхом ощутила, что сама она стоит па распутье.

В комнатке все было по-старому: та же простая железная кровать, на которой она в ранней юности лежала, мечтая часами, та же деревянная этажерка с книгами, тот же столик, покрытый полотняной скатертью, сотканной руками матери. За открытым окном журнала речка и тихо шелестела листва орехового дерева.

Перед Ириной сразу возникло прошлое. Она вспомнила, с каким волнением мечтала об университете, вспомнила об осенних вечерах, когда па небе сияли яркие звезды и она помогала отцу убирать табак. Она знала, что деньги, вырученные от продажи табака, отец каждый год вносил в банк. Их откладывали для Ирины – на ее ученье в университете. На эти деньги, которые отец начал копить уже давно, она проучилась шесть лет в Софии, не зная ни нужды, ни забот. Каким дальновидным и мудрым человеком был, в сущности, ее отец!..

И тут она заплакала – о прошлом и об отце. Плакала она потому, что за его суровостью таилась глубокая любовь к ней, потому, что он был честным, порядочным человеком, потому, что она ничего не сделала, чтобы пощадить его мещанскую гордость. Это был тихий успокоительный плач, и слезы, казалось, смывали угрызения совести.

Кто-то постучал. Ирина поспешно вытерла лицо и открыла дверь. У порога стоял Динко.

– Пришел прощаться, – сказал он. – Еду к себе в деревню.

Ирина кивнула ему почти враждебно, словно перед нею был не двоюродный брат, а какой-то надоедливый знакомый. Хмурое и замкнутое лицо Динко по-прежнему раздражало ее – раздражало не меньше, чем суконные плащи и котомки деревенских родственников. Кроме того, ее охватил какой-то унизительный страх: наверное, Динко уже узнал от соседей о том, как бушевал отец, услышав о ее новой связи с Борисом. Ей показалось, что Динко пришел поговорить с ней об этом от имени всей родни. Не лучше ли будет раз и навсегда выяснить отношения и пресечь все дальнейшие попытки родственников вмешиваться в ее личную жизнь?

– На молитву не останешься? – сухо спросила Ирина.

– Нет, – ответил Динко. – Я уезжаю… Сказать по правде, я пришел попросить тебя об одной услуге.

Она посмотрела на него и только сейчас с удивлением заметила в нем перемену, па которую раньше не обращала внимания: Динко стал крупным, красивым мужчиной. Его прямые русые волосы были хорошо подстрижены и зачесаны назад, а зеленые глаза светились той твердостью, которая сразу же покоряет людей и так нравится женщинам. «Слава богу, – подумала Ирина, – хоть один приличный двоюродный брат, а если бы он перестал носить костюмы из домотканого сукна, с ним можно было бы показаться в любом обществе». И ей пришло в голову, что, если бы Динко не был так безнадежно увлечен коммунизмом, он мог бы по протекции Бориса поступить в «Никотиану» и сделать карьеру. Но она тут же поняла, что Динко никогда па это не согласится, и снова разозлилась на него.

– О какой услуге? – спросила она. – Входи и закрой за собой дверь.

Динко присел на единственный стул, и тот заскрипел под его тяжестью.

– Я прошу тебя помочь одному человеку, – тихо промолвил он. – Но сначала дай честное слово, что никому не скажешь, о чем я прошу. Обещаешь?

Ирина немного подумала и ответила:

– Обещаю.

– Речь идет о спасении жизни… – Динко понизил голос и говорил почти шепотом. – У нас дома, в деревне, лежит девушка со сломанной рукой… В очень тяжелом состоянии. Высокая температура, бредит… Рука отекла и посинела.

– Почему ты не обратишься к участковому врачу?

– Потому что он фашист, а девушку разыскивает полиция. Он сразу же выдаст ее.

Ирина вздрогнула.

– Так вот в чем дело? – с иронией бросила она. – Значит, вы и в деревне баламутите парод!.. Что это за девушка?

– Лила.

Ирина задумалась. Динко пристально наблюдал за пей.

– Значит, ты хочешь, чтобы я спасала своих врагов – тех, что убили отца?… – сказала она, немного помолчав. – Так?

– Сейчас не время спорить об этом! – Динко гневно повысил голос. – Тебя просят оказать помощь раненой! Поможешь или пет?

– Обязана помочь, – проговорила Ирина с горькой усмешкой.

– Будет верхом подлости, если потом ты ее выдашь.

Ирина засмеялась холодным, невеселым смехом.

– Ты считаешь меня моральным выродком, не так ли? – спросила она.

– Нет! – Голос Динко был по-прежнему тверд. – Потому я и обращаюсь к тебе, что не считаю тебя выродком.

– Спасибо! – Горькая усмешка не сходила с ее губ. – Попытаюсь сделать все, что могу.

– Завтра утром я заеду за тобой на двуколке.

– Ладно. Приезжай.

Динко встал и собрался уходить, но Ирина остановила его.

– Тебе, наверное, хочется поговорить со мной еще о чем-то? – со злой иронией спросила она.

– Незачем, – ответил он. – Все ясно и для нас, и для соседей, и для тебя.

– А я хочу, чтобы стало еще ясней.

Ирина протянула ему свой портсигар, наполненный экспортными сигаретами с золочеными мундштуками. Динко хмуро уставился на серебряную безделушку, украшенную рубинами, и не взял сигареты.

– Ну да! Это от него, – с раздражением сказала Ирина. – Хороший подарок, правда?

– Хороший и дорогой, – равнодушно согласился Динко, закуривая собственную сигарету.

Наступило молчание, и тут Ирина почувствовала, что он сейчас выскажется начистоту. И она была благодарна ему за это.

– Послушай, – начал Динко спокойным тоном, который неприятно удивил и даже несколько уязвил Ирину. – Из всех родственников только я один могу тебя понять. Покойный дядя и тот не понимал тебя. Он был человек честный, но скованный мещанскими предрассудками своей среды… Это тебя тяготило, правда?

– Да, – ответила она тихо.

– А ты уверена, что я могу тебя понять?

– Не совсем.

– Тогда допустим хотя бы, что я искренне стремлюсь к этому.

– Допустим, – сказала она равнодушно.

Он хмуро взглянул на ее смуглую нежную руку, золотые часы, ногти, покрытые темно-красным лаком. На позолоченном кончике ее сигареты осталось пятнышко от губной помады. Ничто так очевидно не выдавало отчужденности Ирины от семьи, как эта изящная, выхоленная рука. И все же это была рука девушки из народа. Об этом напоминали и широкая кисть, и крепкие мускулы предплечья.

– Ну что же, допустим!.. – Он горько улыбнулся. – В таком случае я мог бы задать тебе несколько вопросов, и ты не подумаешь, что я вмешиваюсь в твои личные дела или навязываюсь тебе в опекуны?

– В опекуны? – повторила она, как безразличное эхо. – На это ты не имеешь права… С какой стати?

– Разумеется. Я говорю с тобой просто как друг… Или как представитель семьи, если тебя коробит слово «друг».

– Нет, не коробит… – Ирина потушила сигарету. – Что именно тебе хочется узнать?

– Совсем не то, что ты думаешь. Меня не интересует формальная сторона дела.

– Очень хорошо! – В ее голосе прозвучала сдержанная признательность. – Я пока не могу выйти замуж за Бориса.

– Не в этом дело, не важно, выйдешь ты за него пли нет.

Ирина удивленно взглянула на него. Умные зеленые глаза Динко, не мигая, смотрели на нее в упор. Они излучали спокойный, ясный свет, который помогал ей говорить откровенно.

– Тогда в чем дело? – мягко спросила она. – Ты ошибаешься, если думаешь, что я получаю от него кучу денег… Я не отказываюсь лишь от того, что мне необходимо, чтобы вращаться в его среде.

– Это тоже не имеет значения, – заметил он, к еще большему ее удивлению. – Гораздо важнее самой во всем давать себе отчет. Гораздо важнее, чтобы ты знала, что именно ты любишь: самого Бориса или его мир?

– Могу ответить сразу. Я люблю только Бориса.

– А мне кажется, что ты его уже не любишь, – продолжал Динко задумчиво. – Ты не могла бы любить человека, который бросил тебя как тряпку, чтобы жениться на Марии и прибрать к рукам «Никотиану». Ты помнишь, в каком состоянии ты была тогда? Неужели ты это забыла?

– Я страдала, потому что любила его, – быстро проговорила Ирина. – И сейчас люблю!.. И всегда буду любить! Ради него я готова на все! – В ее голосе неожиданно зазвучала насмешка. – Что еще тебя интересует? – спросила она.

– Ничего! – ответил он, угрюмо усмехнувшись. – Это вполне тебя оправдывает.

– Думай, что хочешь, – сказала она.

Лицо его снова стало спокойным и серьезным.

– По крайней мере я буду уверен, что ты сама себя обманываешь. – Он чиркнул спичкой и опять закурил сигарету, наполнив комнату едким дымом. – Значит, ты его любишь? – В голосе Динко звучала лишь еле заметная ирония. – Но вряд ли так сильно, как раньше, а при теперешних обстоятельствах это уже много.

– Что ты имеешь в виду?

– То, о чем только что говорил. На самом деле ты любишь его мир… Сейчас ты любишь Бориса лишь потому, что дорожишь этим его миром. Тебе лестно быть любовницей человека, перед которым все трепещут.

– Тебе остается только назвать меня содержанкой. Мне все равно.

– Я боюсь именно того момента, когда ты сама почувствуешь, что стала содержанкой.

– А если я выйду за него замуж? – спросила Ирина презрительно.

– Это будет только очередной успех в твоей карьере.

– Это ты и хотел мне сказать?

– Да, это! И еще одно: понимаешь ли ты, что фактически Борис – убийца твоего отца?

– Убийца?… – повторила она, ошеломленная.

Это слово испугало ее. Казалось, оно не вырвалось из уст Динко, а существовало вне его, вне отношения Динко к Борису. То прозвучала сама действительность, которой нет дела до ненависти или снисходительности.

– Неужели это тебе самой не приходило в голову? – продолжал Динко, не дав ей опомниться. – Ты что, уверена, что его убили забастовщики? А кто вынудил голодных рабочих бастовать?… Кто послал твоего отца против них?… Кто отдает приказы правительству, министрам, околийскому начальнику, полиции?… Кто на самом деле управляет страной? Только капитал! Только Борис и другие олигархи вроде него! Отец твой был послушным колесиком в государственной машине – колесиком, которое вчера сломалось и которым тоже управлял Борис! Борис всесилен!.. Но всех честных людей возмущает и «Никотиана», и его поведение. Каждый знает, что он мог бы дать прибавку рабочим и после этого по-прежнему получать миллионные прибыли и жить, как князь… Но рабочие для него – это скот, бесправная толпа, которую можно давить как угодно, лишь бы сэкономить на обработке табака. А эта экономия – часть его прибылей… Зачем ему повышать поденную плату хотя бы на пять процентов, если забастовщики через несколько дней сами будут проситься обратно на работу? Вчера я прошелся по рабочему кварталу. Я видел голодных людей, которые собирались громить пекарню… Матерям нечем кормить детей… Двое ребятишек подрались из-за куска заплесневелого хлеба… Вот что натворила клика, сидящая на шее у болгарского народа!.. Вот что делает твой Борис, который подарил тебе золотые часы и серебряный портсигар с рубинами. Ведь это ворованные, украденные у народа вещи…

– Довольно! – вырвалось у Ирины.

– Ага, ты сердишься!.. – проговорил он насмешливо. – На кого?

– На тебя! Это чудовищное искажение того, что происходит. Это зависть!.. Ненависть!.. Ты просто омерзительный коммунист!..

– Да, я коммунист. Но то, о чем я говорил, видят тысячи людей, которые вовсе не коммунисты. Мы, коммунисты, отличаемся от них тем, что не сидим сложа руки или хотя бы не молчим… Вот почему мы омерзительны.

– Довольно! Перестань! Уходи!..

В голосе Ирины звучали истерические нотки. Лицо ее исказилось от ужаса перед чем-то страшным, о чем она до сих пор бессознательно старалась не думать.

– Нет, я не уйду, – продолжал с мрачным спокойствием Динко. – Раз уж начал, выскажусь до конца. И если у тебя есть характер, ты должна сперва выслушать меня, а потом уже возражать… Ты, очевидно, не представляешь себе, почему вспыхнула забастовка и как ее подавил Борис. Он глумится над правом человека на хлеб и жизнь. Рабочим не позволяют даже устраивать собрания. Как можно с этим мириться?… Позавчера убили твоего отца и работницу, вдову, оставившую на улице двух детей. Но это еще не все жестокости. Два дня назад в околийском управлении забили до полусмерти арестанта, вероятно коммуниста. Военный фельдшер, которого вызвали, чтобы он уколами привел его в чувство, осмелился протестовать – его уволили из армии и пригрозили судом. Симеон – руководитель здешних забастовщиков – бесследно исчез. Исчезло и еще несколько рабочих. Этих людей будут зверски истязать, чтобы они подписали показания о несуществующих заговорах. И только нечеловеческая выдержка, только отказ, несмотря на пытки, подписать вымышленные показания дают им маленькую, шаткую возможность спастись, если только палачи не решат застрелить их без суда… Все преступление этих людей в том, что они организовали забастовку. Попробуй поразмыслить обо всем этом!.. Попробуй понять, почему растет гнев и возмущение людей, которых мир Бориса, да и ты заодно с ним, зовет коммунистами, предателями, изменниками родины!.. Попробуй получше проникнуть в глубь этого мира, и ты увидишь, что он зиждется на крови, насилии и грабеже, что Борис вовсе не сверхчеловек, а всего лишь пройдоха, с помощью женщины прибравший к рукам «Никотиану», хитрый и бездушный лавочник, одержимый манией величия, бесчеловечный филистер без чувств и порывов!.. Завтра, когда устои его мира пошатнутся, ты разглядишь его полное духовное ничтожество, увидишь, как он жалок, беспомощен и труслив. В его слугах, в чинах армии и полиции, которые нас преследуют, все-таки есть что-то человеческое… Они рискуют жизнью в борьбе с нами, они искренно верят в свой казенный патриотизм и в жестокой погоне за куском хлеба вынуждены становиться убийцами… Но их хозяину – финансовой олигархии – все это чуждо! Ей присущи только предельный цинизм и нравственное отупение! Таков мир Бориса, таков и сам Борис! И это твой идеал? Неужели ты можешь его любить? Неужели ты веришь, что и он тебя любит? Неужели ради него ты готова прослыть содержанкой?

– Замолчи! – крикнула Ирина. – Это чудовищно!..

– Так тебя называет весь город! И нам, деревенским простакам, приходится краснеть за тебя.

– Мне нет дела до вас! Я презираю этот городишко!.. Я уеду отсюда навсегда.

– А мать? – спокойно спросил Динко.

– Мать вполне обеспечена.

– Я не это имею в виду! Ведь ей стыдно людям в глаза глядеть!

– Почему стыдно? – Ирина в гневе смотрела на него широко раскрытыми глазами. Потом до нее вдруг дошел смысл слов Динко, и она закричала срывающимся голосом: – Убирайся! Вoн из моей комнаты! Сейчас же вон! Вон!..

Динко невозмутимо поднялся со стула.

– Я заеду за тобой завтра в девять часов, – напомнил он.

Когда настала ночь, Ирина попыталась уснуть, но не могла. Ее раздражали и храп родственников, ночевавших в коридоре, и выпирающая из матраса пружина, и монотонное журчание реки. Она отвыкла от родного дома. Даже смерть отца не могла заставить ее примириться с неудобствами. И тогда Ирина сама себя испугалась. Ей почудилось вдруг, будто в ней живет другой человек, и вселился он уже давно, но только она этого до сих пор не замечала. Ей было стыдно, что ее так тяготят и старый дом, и родственники, и мать, и напыщенная мещанская торжественность похорон. Смерть отца вообще не слишком ее взволновала; новость поразила Ирину, но скорби она не испытала. Даже тогда, когда она вдруг расплакалась, сидя одна в своей комнатке перед приходом Динко, она плакала, скорее, от жалости к себе самой. Да, она стала другим человеком!.. Теперь она принадлежала другому миру, и это был мир «Никотианы» и Германского папиросного концерна, мир Бориса, Костова и фон Гайера, мир власти, роскоши и удовольствий, – мир, в котором когда-то обитала Мария. Этому миру Ирина теперь принадлежала физически и духовно, и потому она была недостаточно огорчена смертью отца, потому эта смерть принесла ей тайное облегчение, потому ее так раздражали и бедная комнатка, и жесткая постель, и храп деревенских родственников.

Но когда Ирина осознала все это одна, в глухой ночи, ей стало страшно. Что-то говорило ей, что сердце ее стало черствым и холодным, как тот мир, в котором она теперь жила. Что-то заставляло ее думать о других вещах, еще более суровых, обличающих, беспощадных. Она вспомнила, как часто говорили студенты-коммунисты медицинского факультета о связи, существующей между всеми явлениями. Сейчас эта связь вырисовывалась в ее сознании с неумолимой отчетливостью. Жестокая истина, на которую Динко указал ей сегодня, не вызывала больше сомнений. Ирина поняла, что не вспыльчивая Спасуна, не озлобленная толпа и не перепуганный околийский начальник убили ее отца. Подлинным его убийцей был мир олигархов, мир Бориса, сам Борис!.. Она вспомнила, как третьего дня на ужине у Костова Борис с небрежной самоуверенностью заявил немцам, что заручился поддержкой правительства и в несколько дней подавит стачку. И он готовится ее подавить. Он уже почти подавил ее ценой таких жестокостей, о которых Ирина раньше и не подозревала. Да, она знала, что Борис потребует увольнения нерасторопного околийского начальника и выдаст денежное пособие семьям погибших полицейских, что он приехал на похороны, желая восстановить ее доброе имя, что ради нее он готов па все!.. Но разве это воскресит ее отца, убитых рабочих и полицейских? Действительно ли она любит Бориса или же ее чувство – это только мстительный порыв честолюбия, оскорбленной гордости, жажды жизни, – порыв, в котором она сама не отдает себе отчета и который она старается скрыть от самой себя отказом выйти замуж за любовника и великодушием к несчастной, больной Марии? Нет, неправда!.. Она еще любит его. Она вспомнила тот октябрьский день во время сбора винограда, когда она впервые увидела Бориса – нищего провинциального юношу в поношенном костюме и стоптанных ботинках, человека без будущею, без гроша в кармане, мрачного и нелюдимого фантазера, который как зачарованный тянулся к золотому миражу табачного царства, отказываясь от всех других путей. Этого юношу Ирина любила!.. И ей захотелось убедиться в том, что она еще любит его, что Борис вовсе не такое чудовище, каким его изображал Динко, что сама она не продажная любовница, а нежная и любящая жена!.. Ей захотелось убедиться в этом сейчас же, потому что то, что она испытывала после разговора с Динко, было страшно, невыносимо!..

Ирина быстро сбросила одеяло, зажгла лампу и с лихорадочной поспешностью стала одеваться.

Еще одеваясь, она поняла, что, если сейчас побежит к Борису – среди ночи и только что похоронив отца, – это вызовет всеобщее негодование. Но она была уже не в силах одна бороться со своими мыслями, становившимися все более мучительными. Ирина знала, что если она останется в своей комнатке, то проведет ночь без сна, в нравственных терзаниях, а утром встанет с постели еще более ослабевшей, еще менее способной справиться с хаосом, который сейчас бушевал в ее душе и грозил надолго отравить ей спокойные дни, на которые она вправе была рассчитывать после того, как одержала победу, после того, как вошла в новый, блестящий и могущественный мир. Скорее к Борису!.. Скорее к тому, кого она любит, чтобы спастись в этот поздний час от одиночества, страха, душевной слабости, чтобы успокоиться после небывалого нервного потрясения. Ирина погасила лампу и медленно, стараясь не шуметь, вышла в коридор. На нее пахнуло тяжелым, спертым воздухом. Духота, запах потных, разгоряченных тел, храп спящих показались ей отвратительными. В то же время она нашла в этом некоторое оправдание своему бегству. Вот от этого грубого мира мещан и мужиков она и бежит!.. Кто дал им право вмешиваться в ее жизнь? Динко сегодня был просто невыносим.

Она спустилась во двор и вздохнула с облегчением. Никто не заметил, как она вышла из дому. Над спящим городком сияла полная луна. В окнах у соседей было темно. Лишь время от времени слышался жалобный крик какой-то ночной птицы.

Ирина быстро зашагала по улице и, свернув по маленькому пустырю к речке, перешла ее по деревянному мостику, потом направилась по узким полутемным уличкам квартала, в котором жили беженцы и мелкие ремесленники, к складу «Никотианы». Когда она уже приближалась к нему, ей встретился военный патруль в стальных касках. Ирина только сейчас вспомнила, что во время забастовки склады охранялись войсками и полицией. Чтобы пробраться к Борису, который ночевал в доме за складом, надо было сначала вступить в разговор– с охранниками и разбудить семью бухгалтера. Наутро весь город будет знать о ее ночной прогулке. Она остановилась в раздумье, но мысль о том, чтобы вернуться домой, не повидавшись с Борисом, заставила ее содрогнуться. Скорей, скорей к Борису!..

Наконец Ирина подошла к складу и вдруг замерла на месте. У железной ограды, обмотанной колючей проволокой, стояли несколько человек. При свете луны она различила среди них и Бориса. Он был в накинутом на плечи пальто и вместе с другими рассматривал что-то темное, распростертое па тротуаре. У нее отлегло от сердца. Слава богу! Теперь пройти на склад будет нетрудно. Надо лишь незаметно подойти к Борису и тронуть его за локоть. Люди, стоявшие вокруг него – бедно одетые жители соседских домишек, несколько полицейских и солдат в каске, – были ей незнакомы. Но немного погодя она разглядела в толпе бухгалтера и Баташского. Что это они так пристально рассматривали?

Ирина сделала еще несколько шагов. Резко запахло бензином. Ей почему-то вдруг стало страшно, она вздрогнула и остановилась. Темный, бесформенный предмет, лежавший на тротуаре, напоминал человеческое тело, и в его неподвижности было что-то жуткое.

Ирина подошла к пожилому длинноусому мужчине в кепке. Как и она, он стоял немного в стороне, словно то, над чем склонились остальные, вызывало у него отвращение.

– Что случилось? – глухо спросила Ирина.

– Не видишь разве? Человека убили… – хмуро ответил мужчина.

– Кто его убил?

– Охранники со склада.

– За что?

Человек с длинными седыми усами махнул рукой и промолчал.

– Поджигатель! – ответил за него хорошо одетый молодой человек с угреватым лицом.

– Поджигатель?

– Забастовщик! – пояснил молодой человек слишком громким голосом гимназиста-старшеклассника, который напускает на себя уверенность. – Знаю я его… Он еще в гимназии был анархистом, а сейчас пытался перелезть через ограду и поджечь склад. Вон банка с бензином!

Молодой человек показал на жестяную консервную банку, валявшуюся под ногами полицейских.

– Пуля в шею попала. Вы не хотите посмотреть поближе? – спросил он, фамильярно взяв [Трипу под локоть.

– Нет! – ответила она, отстраняя его руку. Дрожь пробежала у нее по телу, но она нашла в себе силы попросить: – Позовите, пожалуйста, того господина в пальто.

Молодой человек разочарованно взглянул па нее, но повиновался.

– Ты?… – проговорил Борис, подходя к Ирине. – Как ты сюда попала?

– Я шла к тебе, – ответила Ирина как во сне.

– Хороню, что не пришла раньше, – спокойно заметил он. – Здесь только что случилось происшествие.

Он взял ее под руку и провел в освещенный двор склада.

Это заметил только угреватый юноша: он нахально улыбнулся.

– Иди в дом, – сказал Борис, сделав знак двум охранникам-македонцам пропустить ее. – Там есть коньяк. Выпей рюмку – легче станет. Я подойду немного погодя. Надо договориться с этими идиотами.

– С какими идиотами? – все так же машинально спросила Ирина.

– С полицией… Ждут следователя и не хотят убирать труп. Не могу же я допустить, чтобы завтра весь город собрался здесь.

– Ладно, ступай, – сказала она.

Она пошла к скрытому за деревьями дому, довольная тем, что ее никто не узнал. При лунном свете склад с рядами маленьких квадратных окошек был похож на тюрьму. Она быстро прошла мимо македонцев-охранников, которые сидели на ступеньках ферментационного отделения, держа меж колен карабины, и молча курили. Они сделали свое дело – убили поджигателя, а полицейские формальности их не интересовали. Повернув к Ирине испитые лица, они смотрели на нее тупо и равнодушно. Женщины тоже не очень интересовали их. Когда Ирина прошла, один из них вынул из кармана плоскую бутылку с ракией и отпил несколько глотков.

– Унче, – сказал он на македонском наречии, облизав губы и передавая бутылку соседу, – с хозяина бакшиш причитается…

– Так он тебе и дал… выжига такой…

– Да что ты? Кабы не мы, спалили бы склад!

– Кто его знает! – отозвался Унче, хмуро осушая бутылку. – Мне уж тошно от крови… Того и гляди, хозяев резать примусь!..

– Не распускай сопли! – оборвал Унче другой македонец, бросив на него подозрительный взгляд.

Он давно заметил, что у товарища пошаливают нервы. Впрочем, сейчас он об этом не думал, так как предвкушал угощение, которое собирался завтра же потребовать у Баташского.

Ирина вошла в сад и подождала несколько минут в тени липы, чтобы убедиться, что в освещенном дворике перед домом никого нет. В окнах второго этажа было темно. Жена и дети бухгалтера спали и, наверное, не слышали выстрелов. Все так же спокойно светила луна, а цветущие липы сладко благоухали. На скамейке в посыпанной песком аллее лежали забытые детские игрушки: деревянный велосипедик и жестяное ведерко с лопаткой. Приятно и мирно текла жизнь в господском доме, отгороженном от мира рабочих высокой кирпичной стеной. Потому-то, очевидно, бухгалтер был так предан фирме, потому так свято хранил семейные тайны хозяев. Его жена следила за домом, готовила вкусные кушанья для Костова, когда тот приезжал в местный филиал, а во время летних каникул неизменно уезжала с детьми на курорт, чтобы не мешать Борису с Ириной. Но сейчас, после похорон отца, да еще в такой поздний час, Ирине не хотелось попадаться на глаза этим людям. Она постояла еще немного и вошла в дом.

Свет горел только в комнате, выходившей окнами на лужайку, – когда-то это была спальня Марии. Ирина, бесшумно миновав холл, вошла туда. Это была самая прохладная комната в доме, и в душные летние ночи Борис спал в ней, оставаясь совершенно нечувствительным к тем воспоминаниям, которые могла бы пробудить обстановка комнаты. Все здесь осталось в том виде, в каком было при Марии. Ирине была знакома тут каждая мелочь. Но сейчас и лепной потолок, и бледно-зеленые штофные обои, и натертый паркет, и диван с раскинутой перед ним медвежьей шкурой, и рояль, и круглый лакированный столик в середине комнаты – все это действовало на Ирину гнетуще, словно она была преступницей, пробравшейся сюда тайком. Ей почудилось вдруг, будто где-то рядом витает зловещий призрак безумной и вот-вот бросится на нее и будет рвать ее ногтями своих тонких, костлявых пальцев.

Ирина села на диван и горестно задумалась. Она пришла сюда, чтобы найти какую-то опору, но столкнулась с новым ужасом, который лишний раз подтверждал правоту Динко. Еще один труп… Еще одна человеческая жизнь… Теперь она увидела это своими глазами, и в сознании ее навязчиво вертелся один и тот же вопрос: погиб ли бы ее отец, валялся ли бы тот бедняга, которого она сейчас видела, как убитая собака, там, на тротуаре, если бы «Никотиана» и другие фирмы дали прибавку рабочим? Действительно ли фирмы не в состоянии дать эту прибавку? Если так, почему дивиденды акционеров растут с каждым годом, почему Костов, кроме жалованья и процентов с прибылей, ежегодно получает премию в миллион левов? Почему Борис недели две назад похвастался, как бы между прочим, что скоро станет самым богатым человеком в Болгарии? Во всем это была какая-то страшная бессмыслица, корни которой терялись во мгле, в хаосе, в тревожной неизвестности и за которой смутно маячил призрак гибели и всеобщего распада.

И тогда Ирина почувствовала, что распад грозит не только ее маленькому беспомощному мирку, который она так старается сохранить, но и миру «Никотианы». Да, Борис как раз такой, каким его видит Динко, а сама она лишь содержанка богача, которая старательно внушает себе, что любит его. Но продолжать обманывать себя низко и подло. Напрасно пришла она сюда уверить себя в существовании того, чего на самом деле нет. Напрасно ищет поддержки у Бориса. Он не в силах помочь ей, а она – принять его помощь. Так уж устроен и ее мир, и мир «Никотианы»: если они хотят существовать, они должны идти по предначертанному им пути. И Ирине остается только идти по этому пути до конца. Возвращение теперь уже немыслимо. Глубокая пропасть пролегла между нею и мещанским домом отца, полуграмотной матерью и невежественными деревенскими родственниками. Ирина уже не может спуститься в их здоровый, но тесный мирок с той вершины, на которую поднялась благодаря своему образованию и Борису, не может снова погрязнуть в болоте, где прозябают обыкновенные, бесправные, слабые люди. Не может взять место участкового врача в какой-нибудь глухой деревушке и там погрузиться в убийственную скуку месяцев, которые будут тянуться, как годы. Не может забыть ни ту жизнь, которую привыкла вести в Софии, ни Бориса, ни Костова, ни фон Гайера. Не может она также вступить и на путь Динко, потому что против этого восстанет все, чем она жила до сих пор.

И тогда Ирина поняла, что мир «Никотианы» и Германского папиросного концерна отравил ей душу каким-то ядом, который превратил ее в слабое, безвольное существо, уже неспособное самостоятельно выбрать свою дорогу в жизни. Единственное, что ей оставалось, – это попробовать свои силы в мире Бориса и попытаться сохранить хотя бы часть своего «я».

И когда она поняла все это, на нее вдруг снизошло мрачное спокойствие.

Немного погодя вернулся Борис и сел рядом с ней, меж двух диванных подушек.

– Ну что? – спросила Ирина.

– Убрали его… – ответил он с явным облегчением.

И Борис стал рассказывать ей о том, что произошло.

– Не говори об этом, – прервала она его.

– Ну ладно, – виновато промолвил он, закуривая сигарету. – Мне тоже все осточертело. Все эти события начинают и мне действовать на нервы… Пока банду коммунистов не вырвут с корнем, на складах не будет спокойно.

– Брат твой тоже с ними!.. – хмуро заметила Ирина.

Днем Костов успел рассказать ей об участии Стефана в забастовке.

– Знаю. – сказал Борис. – В конце концов полиция решилась арестовать его. Я категорически запретил Костову ходатайствовать о его освобождении. Стефана давно уже нужно было хорошенько выдрать, чтоб у него дурь из головы выскочила.

– В полиции его будут избивать, – так же хмуро проговорила она.

– Не посмеют. Он умеет спекулировать на моем имени.

– Но ты отказался купить последнюю партию у «Марицы», – напомнила она, пристально глядя ему в глаза, смеющиеся каким-то холодным смехом. – Из-за этого с ним будут плохо обращаться.

– Ну что ж… Попугают его, конечно, но ничего опасного не произойдет. Это и нужно, чтобы одернуть распущенного парня. А если «Марица» сердится и министр внутренних дел в плохом настроении, это меня не касается. Я не намерен ради Стефана портить свой товар всяким мусором… Кроме того, Кршиванек поспешил сообщить Тренделенбургу, что братья у меня коммунисты, и один субъект из немецкого посольства уже справлялся у Лихтенфельда, не являюсь ли и я агентом Коминтерна… Забавно, не правда ли? А Кршиванек как раз сейчас пытается основать новое акционерное общество и подкапывается в Берлине под договоры Германского папиросного концерна с «Никотианой». Я ничего не могу просить у министерства внутренних дел. Это значило бы подтвердить доносы Кршиванека на меня… Ты что?… Почему ты так смотришь на меня?

– Борис!.. – прошептала Ирина в ужасе.

В его голосе и выражении лица было что-то холодное и страшное – как в тот вечер, когда он привел ее в свой дом, чтобы показать ей Марию, как сегодня, когда он стоял над телом застреленного поджигателя.

– Не будь глупенькой, – процедил он с усмешкой и привлек ее к себе.

От него пахло коньяком. Сегодня он много пил после ужина, один, без всякого повода, только в надежде встряхнуться после изнурительного нервного напряжения. И тут Ирина вспомнила, что вот уже год, как у него вошло в привычку пить каждый вечер, чтобы отогнать от себя нечто такое, что тайно грызет его. Может быть, это страх перед возмездием обездоленных, которых он вгоняет в могилу, может быть – горечь сознания, что нет в его жизни чего-то такого, что имеют другие. Но чем бы это ни было, он хочет от этого избавиться, словно опасаясь сбиться с избранного им пути к безумной цели, которой он стремится достичь.

– Но будь глупенькой… – повторил Борис, но уже без насмешки, а с усталой серьезностью. – Мне хочется, чтобы ты стала похожей на меня, чтобы ты стала сильной, чтобы ты избавилась наконец от своей смешной чувствительности…

– А ты сильный? – спросила Ирина пустым голосом.

– Это доказано моей жизнью и моими успехами.

– Зачем же ты тогда пьешь каждый вечер? – спросила она с внезапным ожесточением. – Почему не можешь заснуть без спиртного? Почему прячешься от своей совести, когда приходится давать ей отчет?

– Я всегда даю отчет своей совести, но по-своему.

– Нет!.. Без алкоголя ты уже не можешь делать это даже «по-своему»… Тебе страшно, ты боишься самого себя!

– Самого себя?… – спросил он озадаченно.

– Да! И ты боишься расплаты за все, что помогло тебе достичь успеха, – за подкупы, насилия, трупы.

Он тихонько присвистнул и рассмеялся:

– Крепко!.. Последние дни были для тебя очень тяжелыми, я знаю, но все-таки ты выражаешься слишком сильно. И зачем ты вообще все это говоришь?

Голос его звучал укоризненно. Он поднялся с дивана и налил себе рюмку коньяку.

– Хочешь? – спросил он.

Ирина отрицательно покачала головой. Ей показалось, что в бледном лице Бориса, в его взгляде и даже в манере наливать коньяк есть что-то демоническое, но вместе с тем и что-то одинокое и печальное. Таким он, наверное, выглядит по вечерам, когда остается один.

– Зачем ты все это говоришь? – повторил Борис теперь уже не с упреком, а с раздражением.

– Затем, что все, что ты делаешь, чудовищно! – воскликнула Ирина. Гневные слова словно сами собой сорвались с ее уст. – Затем, что ты мог дать прибавку рабочим и предотвратить забастовку, мог уберечь от смерти и отца и всех других, кого убили! Ты ведь так богат…

– Уберечь твоего отца? – медленно повторил он, опорожнив одним духом рюмку и поставив ее на круглый лакированный столик. Он сдвинул брови – знак того, что он обдумывал что-то, искренне удивляясь. – Что ж, в этом ты права. Если бы забастовка не началась, твой отец не был бы убит. – Борис вынул платок и вытер губы. – Мне очень жаль, да!.. Ты должна простить меня. Это была большая ошибка с моей стороны. Если бы я подумал о том, что твой отец – полицейский и его могут убить, я бы повысил поденную плату в этом районе или же попросил бы никуда его не посылать…

Он был похож на чудовище, которое забавляется зловещими шутками, но Ирина вдруг догадалась, что он просто-напросто пьян. Полупустая бутылка и бездумная болтливость Бориса, на которую она только сейчас обратила внимание, не оставляли сомнений в том, что он начал пить задолго до ее прихода. И в этот вечер он выпил больше обычного.

– Слушай!.. – с неожиданной грубостью выкрикнул Борис. – Кто это тебе внушил все это?

– Что именно? – спросила Ирина, следя за выражением его лица.

Ей показалось, что его грубый тон но вяжется с виноватым и невеселым подрагиванием его ресниц.

– Что, если бы не забастовка, твоего отца не убили бы.

– Ложись спать, – тихо сказала она.

– Я хочу знать!.. – настаивал он, повышая голос.

Ирина опустила голову, чтобы не смотреть ему в глаза, и услышала, как он снова налил себе коньяку. Она поняла, что в этот вечер с Борисом творится нечто необычное. Может быть, его удручал арест брата и принятое им твердое решение ничего не предпринимать для его освобождения? Да и труп убитого перед складом, наверное, тоже лежал грузом на его совести. Но всего этого было недостаточно, чтобы потрясти его до основания и вызвать целительный душевный кризис. Стоя на вершине успеха, он казался очень сильным, а на самом деле был слаб и труслив и в хмеле искал спасения от собственного малодушия. Сейчас он предстал перед Ириной во всей своей жалкой наготе. Она увидела, какое это ничтожество, как бесплодна и мелочна его душа, как скуден его ум, годный лишь на коммерческие махинации. Всего, чего он достиг, мог бы добиться любой безнравственный ловкач, располагай он средствами, какие Борис получил от Марии. Душа Бориса была лишена красок. У него не было даже причуд и увлечений, свойственных другим табачным магнатам, не было ни идеала, к которому он стремился бы всем существом, ни семьи, к которой он относился бы с нежностью, ни пороков, которым он предавался бы. Это был всего лишь случайно разбогатевший, бесцветный и невыразительный человек, выскочка. Никакие посторонние интересы не отвлекали его от намеченной цели, и именно поэтому он так обдуманно и безукоризненно делал свое единственное дело. А дело это сводилось к тому, чтобы наживать и копить деньги, которые только разжигали его манию величия – манию человека, нищего духом, и его жестокость – жестокость труса, случайно дорвавшегося до власти. Чем могущественнее становилась «Никотиана», тем больше им овладевало безумное желание основать собственные филиалы за границей, ибо это желание спасало его от сознания своей неполноценности. А чтобы достичь цели, ему надо было неустанно наживать деньги, не останавливаясь перед подкупом, шантажом и убийствами, которые совершались втайне от других, но которые сам Борис отлично видел. И нервы его начали сдавать. Духовное ничтожество, трус и филистер, случайно вознесшийся благодаря женщине, сгибался под непосильной тяжестью. Одно дело – обманывать людей, и совсем другое – рассылать приказы, которые влекут за собой убийства. Одно дело – тягаться в ловкости с Торосяном, другое – подавлять силой стачки тысяч рабочих. Он был растерян и спиртом старался забить свой страх; он уже походил не на закоренелого разбойника, а на тщедушного, безжалостного и трусливого карманника. Может быть, по вечерам, оставшись один, он видел призрак возмездия тех, кому от отказывал в прибавке, кого полиция преследовала, травила, убивала… Все более грязным, все более жалким и невзрачным вставал Борис перед Ириной в этот вечер… Неужели это тот прежний Борис, с которым она встретилась семь лет назад в золотой октябрьский день сбора винограда?

– Молчишь!.. – процедил он с пьяной сварливостью, готовый начать беспричинную ссору.

Ирина угрюмо посмотрела на него и не ответила. Впервые она видела его в таком состоянии. Было что-то омерзительное в его попытках убежать от своего страха, в его пьянстве и придирках.

– Кто тебе все это внушил? – повышая голос, повторил он.

– Разве я не могла додуматься сама?

Он опустил голову, словно поняв бессмысленность своего вопроса, и сказал более трезвым тоном:

– Ты относишься ко мне не так, как раньше.

– Да. Это тебя удивляет?

– Я знаю… – Он говорил медленно, стараясь не упустить своей мысли. – Это родственники нажужжали тебе в уши… Этот из деревни, как его… твой двоюродный братец… Я с гимназии его помню… Все, бывало, ходил с полосатой деревенской сумкой – книжки в ней носил… Сегодня так на меня уставился, словно проглотить хотел…

– Какое он имеет отношение к нам с тобой? – спросила Ирина.

– Науськал тебя.

– Я не собака, чтобы меня науськивать. Я сама могу судить о тебе.

Он потянулся за рюмкой, чтобы налить еще коньяку, но Ирина вскочила с дивана и вырвала у него бутылку.

– Нет!.. Больше не пей.

– Ты думаешь, я пьян?

– И притом безобразно… Противно смотреть.

Он рассмеялся и с неожиданной нежностью погладил ее по голове.

– Что ж, может быть. Я очень устал.

– Налей и мне, – тихо промолвила Ирина.

Борис молча поднес ей рюмку.

– Еще одну… – мрачно попросила она. – Я хочу сравняться с тобой, чтобы ничего не соображать.

Она свернулась клубочком на диване и смотрела перед собой невидящими глазами. Борис сел рядом и положил *ей* руку на плечо. Теперь Ирину не раздражал противный за пах коньяка, но она еще яснее сознавала, что все рухнуло. Она чувствовала, что в душе ее что-то умирает, гибнет безвозвратно. А умирали в ней радость жизни, уважение к себе самой, трепет и тепло ее любви.

**XVIII**

Ирина бросила быстрый взгляд на Лилу и положила на стол пакет с лекарствами и материалами для гипсовой повязки. Лила лежала на деревянной кровати, укрытая грубым домотканым одеялом. Когда вошла Ирина, она медленно отвернулась к стене.

В тесной комнатушке деревенского домика было жарко и душно. Пол побрызгали водой, и от него пахло сырой землей. На застеленном оберточной бумагой столике лежал переплетенный томик «Анны Карениной» – Лила читала эту книгу незадолго до прихода Ирины. В углу стояло охотничье ружье, а над кроватью висела увеличенная фотография артиллерийского фельдфебеля с лихо закрученными усами – отца Динко, погибшего в первую мировую войну.

Ирина сбросила свой пыльный черный жакет и осталась в тонкой шелковой блузке с короткими рукавами. Мать и младшая сестра Динко наблюдали за ее движениями молча, с благоговением простых людей перед священнодействиями врача. Но для них Ирина была не только ученой девушкой и врачом: она была также невиданным и необычайным существом из другого мира. Эти деревенские женщины с изумлением вдыхали тонкий аромат ее духов, потрясенные, смотрели на ее нежные, ослепительно чистые руки с ногтями вишнево-красного цвета. Им все не верилось, что Ирина – их близкая родственница, которая еще не так давно приезжала к ним в гости на простой деревенской телеге.

– Открой окошко, больной нужен чистый воздух, – сказала Ирина Динко. – Тетя, приготовь мне чистой воды домыть руки… А ты, Элка, что так на меня уставилась?… Помнишь, как ты приехала в город и я повела тебя в кино? Ты первый раз в жизни попала в кино и испугалась, помнишь?

– Помню, – робко ответила девочка.

Элке было двенадцать лет; она была такая же светловолосая, как и Динко. По случаю приезда Ирины мать заставила дочку надеть новый сукман.48

– А теперь ступай побегай по двору. – Ирина погладила девочку по голове. – Если придет кто-нибудь из родных, скажи, что я отдыхаю с дороги… Поняла? Я потом сама их всех обойду.

Мать и сестра Динко не заставили себя упрашивать. В комнатке остались только Лила, Ирина и Динко.

– Выйди и ты, – сказала Ирина двоюродному брату.

Она подошла к кровати и села на одеяло, которым была укрыта Лила. В комнате наступила тишина. На дворе крякали утки. Где-то сонно промычала корова. Ирина склонилась над Лилой и пощупала ей лоб своей прохладной рукой. Лила медленно приподняла веки и открыла глаза. Эти пронзительные светлые глаза с голубоватым стальным отливом запомнились Ирине еще с гимназических лет. Но сейчас острота их взгляда словно притупилась от удивления, которое сменилось страданием, а потом – тревогой и недоверием. Лила снова отвернулась к стене, словно не желая видеть склонившееся к ней красивое и нежное лицо.

Ирина ласково провела рукой по ее лбу.

– Не важно, как это случилось! – сказала она. – Все равно, кто пришел тебя лечить, я или кто-нибудь другой… Не думай сейчас об этом.

– А потом ты выдашь меня? – глухо спросила Лила, не оборачиваясь.

– Разве я выдала тебя, когда отказалась вступить в кружок марксизма-ленинизма?

В комнатке снова стало тихо. Лила высунула здоровую руку из-под одеяла и взяла Ирину за плечо.

– Сколько страшного случилось… – с мучительным усилием проговорила она.

– Я тоже пережила много страшного. И поэтому пришла помочь тебе.

– Поэтому?

– Да, поэтому.

– Я рада за тебя: ты начинаешь разбираться в жизни…

А мне еще в гимназии стало ясно, что такое жизнь, и потому я казалась тебе холодной и злой. Сюртук называл меня фурией… Помнишь?

– Да, помню. Но ты вовсе не злая и не холодная. Ты всегда бунтовала, когда кто-нибудь лгал или подличал.

Ирина все так же нежно и ласково гладила лоб Лилы. Рука Лилы по-прежнему лежала на плече Ирины.

– Но может быть, я жестокая? – Голос Лилы прерывался от волнения. – Я убила… убила человека… Такого же бедняка, как и я, только он продался хозяевам и хотел арестовать меня.

– Молчи… Постарайся забыть об этом.

– Ты понимаешь, я застрелила его вот так… в упор… И потом видела его лицо в пыли… до сих пор вижу… Не могу спать.

– Об этом больше ни слова! Я дам тебе снотворное.

– Нет, позволь мне высказаться до конца… Я не хочу, чтобы ты думала, будто помогаешь кающейся грешнице… Теперь я на нелегальном положении. Может быть, я и еще буду убивать, когда придется защищать свою жизнь или то дело, за которое мы боремся… Что? Я кажусь тебе страшной?

Ирина инстинктивно отдернула руку. В голубовато-стальных глазах Лилы горел мрачный огонь.

– Если так, не мешай мне сдохнуть как собаке… – Лила горько усмехнулась. – Я говорю тебе об этом потому, что знаю – ты меня не бросишь… Иначе я стала бы хитрить, развивать перед тобой теорию о надклассовой гуманности, за которой ваши лицемеры любят прятать свой эгоизм и жестокость. Но я хочу, чтобы ты увидела жизнь, и потому говорю с тобой так откровенно… Я не приму от тебя помощи, если ты не признаешь простой истины, что капиталисты убивают для того, чтобы увеличивать своп прибыли, а мы – сделать жизнь свободной!.. Попытайся понять коммунистов, Ирина. Рабочим это очень легко, а тебе – трудно… Мы раз и навсегда твердо решили уничтожить эксплуатацию. Мы требуем этого во имя человека, во имя человеческого достоинства, и за это нас убивают.

Но тогда начинаем убивать и мы, начинается беспощадная борьба, вступают в действие бесконечные цепи причин и следствий, возникает водоворот, а примитивное мышление сытых и спокойных принимает следствия за причины… Господа и их лакеи сочиняют легенды о нашей жестокости, а кроткие, наивные создания вроде тебя слепо верят им… Посмотри на меня, Ирина… Неужели я такая страшная?

– Да! – сказала Ирина. – Ты страшная… Теперь я понимаю, почему даже учителя в гимназии боялись тебя.

– Они боялись услышать от меня правду.

– Ты страшная!.. – повторила Ирина.

– И как человек?

– Да, и как человек!.. Ты похожа на маленький острый кинжал. От одного его вида волосы встают дыбом.

– И это тебя пугает… – Лила похлопала Ирину по плечу. – А капиталисты, что они такое? Безобидные ягнята? Неужели ты не видишь во мне ничего человеческого, Ирина?

Губы Лилы дрогнули от обиды. В ее голубых глазах сверкнула насмешка.

– Нет, нет!.. – возразила Ирина. – В тебе есть что-то глубоко правдивое и смелое… Это я чувствовала еще в гимназии и всегда восхищалась тобой. Но я не могу согласиться со всем, что ты сказала.

– Ну конечно.

– Что-то мешает мне… Может быть, то, что я люблю, а ты презираешь… Например, покой, хорошие книги…

– Подожди, дорогая моя!.. – Лила усмехнулась. – Я тоже люблю хорошие книги… И не воображай, пожалуйста, будто мне не хочется, чтобы у меня были такие же руки, как у тебя… Или такой же костюм и туфли… Разница между нами совсем не в этом.

– А в чем же?

– Подумай сама и пойми.

– Я уже поняла это прошлой ночью, когда перебрала в уме всю свою жизнь и последние события… Многое в моей жизни заставляет меня идти против совести и мириться со злом, а ты восстаешь против него и открыто борешься с ним… Но дело не только в этом. Я не могу мыслить так, как вы, не могу согласиться с вашим образом действий. Я пробовала, но я не могу, Лила! Что-то мешает мне.

– Это объясняется очень просто – ты уже принадлежишь классу Бориса Морева.

– Я не уверена, что причина в этом. – Ирина усмехнулась.

– Когда-нибудь убедишься.

– Ты меня ненавидишь, Лила?

– Ненавижу! Иначе и быть не может. Ты наш враг!.. Но я люблю то человеческое, что есть в тебе и что привело тебя сюда.

– Как же так?… И любишь и ненавидишь?

– Именно! Я могу и любить тебя и ненавидеть одновременно.

– Что же будет дальше?

– Я буду относиться к тебе так же, пока ты не утратишь этого человеческого в себе или не начнешь нам вредить.

– Ну а если я его утрачу или если тебе покажется, что я начинаю вам вредить?… Неужели ты забудешь и этот день, и эту комнатку, в которую я пришла, чтобы помочь тебе?

– Да. Все забуду.

– Вот она, ваша нетерпимость! – вознегодовала Ирина.

– Нет, это наша непримиримость, – возразила Лила. – Но погоди. Если мы когда-нибудь возьмем власть и лишим тебя нетрудовых доходов, ты возненавидишь нас гораздо больше.

– Я не буду вас ненавидеть даже тогда.

– А я опять скажу тебе: погоди. Не будь в этом так уверена.

Ирина промолчала. Она подумала, что в характере Лилы есть нечто возвышающее достоинство женщины. Ирина не могла и не хотела быть такой, как Лила, но восхищалась ею. Какой суровой, но честной и смелой всегда была эта девушка – даже в пустяках, когда еще училась в гимназии! Какая трудная, но целеустремленная у нее жизнь! И как это было бы жестоко и глупо, если бы Ирина отказалась ей помочь.

– Я утомила тебя, – сказала Ирина немного погодя. – Не надо было начинать этот разговор.

– Нет, надо… Разговор был очень интересным для меня.

– С точки зрения агитации? – весело спросила Ирина. – У тебя всегда агитация на уме.

– Нет… С точки зрения некоторых перемен в моем мышлении… Всего несколько дней назад я приняла бы тебя совсем по-другому… Многие события, в том числе твой приход сюда, показали мне, как я ошибалась.

– Я не понимаю тебя.

– Тем лучше, – отозвалась Лила. – Эта касается только нас, коммунистов.

– Ну довольно болтать! – Ирина поставила Лиле градусник, сунув его под мышку ее здоровой руки. – Лежи спокойно.

– От болтовни мне лучше.

– Но от волнения у тебя, как и вчера, поднимется температура.

– Сейчас у меня нет температуры. Убери градусник.

– Не учи меня, что делать. Мне важно знать, нет ли у тебя температуры от инфекции.

Поставив Лиле градусник, Ирина встала с кровати и закурила сигарету.

– Какая ты красивая!.. – тихо заметила Лила. – И как тебе все идет!

– Не шути, – рассмеялась Ирина. – У меня предрасположение к полноте, скоро придется заниматься гимнастикой, чтобы похудеть.

– Нет… Все у тебя прекрасно… – задумчиво повторила Лила.

– А себя ты разве дурнушкой считаешь? – спросила Ирина.

– Что я!.. Я простая работница.

– Но если бы мы с тобой пошли наниматься в машинистки, то взяли бы тебя, а не меня, потому что ты из породы белокурых демонов. Ты думаешь, я шучу? Я знаю многих женщин, которые выщипывают себе брови и наклеивают ресницы, чтобы глаза казались такими же роковыми и соблазнительными, как твои… А все без толку. Ты почему смеешься?

– Потому что директор нашего склада в самом деле пытался взять меня к себе в машинистки… И притом с помощью полиции.

– И что ты ему ответила?

– Ничего особенного.

– Представляю себе эту картину!.. Мужчины всегда пытаются купить нас по дешевке. Дай-ка сюда градусник!.. Температуры нет, это хорошо. А теперь дай мне осмотреть тебя как следует… Я прослушала курс хирургии, правда, профессор большую часть времени развлекал нас анекдотами, но это не беда…

Ирина осторожно откинула домотканое одеяло и пришла в ужас от белья Лилы. Белье было чистое, но грубое, ветхое, почти сплошь покрытое заплатами. Зато какое у нее было красивое, стройное тело! Глядя на Лилу, Ирина с тревогой подумала о себе – она знала, что молодые женщины преждевременно полнеют и увядают не от работы, а от безделья. Плечо, колени и здоровая рука Лилы были ободраны при падении, но признаков нагноения не наблюдалось: как только Лила добралась до Динко, она смазала ссадины йодом. Но ее сломанная рука внушала серьезные опасения. Правда, наружных повреждений не было, если не считать нескольких царапин, но острые края сломанных костей сдвинулись и сдавили прилежащие ткани. Рука искривилась, а под мышкой образовался тестообразный отек. Ирина озабоченно нахмурилась.

– Ну как?… Срастется криво? – спросила Лила.

– Нет. Сделаем все как надо. Сначала вправим кости, подождем, пока опадет отек, и тогда наложим гипсовую повязку.

– Но ты… – Лила не решилась продолжать.

– Что я?… – Ирина улыбнулась. – Я пробуду здесь еще несколько дней, пока все не сделаю.

Лила на это не отозвалась ни словом. На глазах ее выступили слезы.

Спустя три дня Ирина вызвала по телефону такси из города и уехала. Вместе с ней уехал и Динко. Он вернулся только через неделю, обросший и запыленный. Проводив Ирину до Софии, он отправился на нелегальную конференцию. У Лилы рука была еще в гипсе. Сидя у открытого окна, Лила перечитывала «Анну Каренину». Динко взял эту книгу в сельской библиотеке для себя. Солнце склонялось к закату; с улицы доносилось мелодичное позвякивание колокольчиков, время от времени заглушаемое мычаньем коров и блеяньем овец. Стадо возвращалось с пастбища. Вечер был тихий и спокойный.

– Как рука? – с широкой улыбкой спросил Динко.

– Прекрасно… Уже не болит.

Лила поняла по его улыбке, что с конференции он привез хорошие вести.

– Что нового? – в волнении спросила она.

– Целая куча новостей… – Динко положил на стол блестящий чемоданчик, привезенный из Софии. – Прежде всего – новый Центральный Комитет!.. Ты представляешь, что это значит? Не то что раньше: этот оппортунист, тот – сектант… Единая, железная партия! Конец всем раздорам!..

– Значит, компромисс! – озабоченно промолвила Лила.

– Никакого компромисса! – Динко присел на кровати, отер пот с лица и закурил. – Теперь во главе партии будут стоять старые, опытные деятели рабочего движения, а не фантазеры, которые витают в облаках.

– А ты не витал в облаках? – сказала Лила, глядя на него искоса из-под полуопущенных век.

– Я гораздо раньше тебя взялся за ум, а в отношениях с людьми никогда не был сектантом… В последнее время ты и меня начала поедом есть, черт тебя подери! Ненадежный элемент… крестьянское происхождение… и прочие глупости.

– Ближе к делу! – прервала его Лила.

– Да… На конференции выступал один товарищ по имени Малек. Очевидно, из Коминтерна. Судя по говору, он из наших мест. Теперь все, о чем мы с тобой спорили ночи напролет, кажется мне детским лепетом. – Динко внезапно насторожился. – Смотри не проболтайся где-нибудь о Коминтерне и Малеке!

Лила снисходительно улыбнулась.

– Рассказывай! – сказала она.

– Точка! – отрезал Динко. – Это самое главное. Лила опять усмехнулась.

– Значит, теперь я – ненадежный элемент!.. – с горечью промолвила она. – Бывшая сектантка.

– Мы тебя быстро вернем на путь истинный.

– О моих стариках что-нибудь узнал? – с грустью спросила она после паузы.

Лицо у Динко вытянулось.

– Их арестовали, – тихо ответил он.

– И наверно, забили до смерти!..

Лила опустила голову. По ее щекам покатились слезы.

– Об этом я не слышал, – возразил Динко. – Они не посмеют… Ты своим поступком подняла дух рабочих. Все табачные центры бурлят. Забастовка принимает неслыханные размеры. Правительство растерялось, а хозяева дрожат за свой товар… Табак уже начинает плесневеть.

– Не заплесневеет. – Лила вытерла слезы. – Они удвоили жалованье ферментаторам.

– И тем не менее во многих местах ферментаторы бастуют. Позавчера полиция освободила легальный стачечный комитет, и Блаже возобновляет переговоры с Борисом Моревым. Главный эксперт Костов досрочно вернулся из отпуска и дал понять, что хозяева склонны пойти на уступки… Если это не простая уловка с целью затянуть переговоры, стачка может закончиться победой.

– Что с Луканом?

– Его чуть не до смерти избили в ночь накануне забастовки. Он хоть и заблуждался, но всегда был честным и храбрым товарищем… Никого не выдал. Если выживет, молчание избавит его от виселицы.

– Я по-прежнему уважаю этого человека.

– И я тоже, но не так восторженно, как ты, – сказал Динко. – Я никогда не прощу ему того, как он исключал из партии. И этот холод… Мумия!.. Камень!.. Всякий раз, как я с ним встречался, я спрашивал себя, что любит этот человек, за что он борется? Просто не могу себе объяснить, как ему удавалось увлекать за собой товарищей! Но послушай! Есть еще одна новость – ты сейчас подпрыгнешь до потолка. Мы говорили с товарищем Малеком о том, чтобы перебросить тебя в Советский Союз. Будешь учиться в Москве, в Высшей партийной школе.

Лида смотрела на Динко, онемев от волнения. Шея у нее покрылась красными пятнами. Но вдруг лицо ее омрачилось.

– Они будут возражать… – глухо сказала она.

– Кто?

– Наши… городские. Я… сектантка.

– Ничего подобного! – Динко потрепал ее за ухо. – Как ни странно, но именно те товарищи, которых ты исключила из партии, дали о тебе хорошие отзывы и настаивали на твоей командировке… Для них ты не только сектантка!.. Теперь тебе ясно, чем еще отличаются сектанты от несектантов?

**XIX**

Берег был низкий и ровный. Узкая песчаная коса отделяла соленые воды моря от пресноводного лимана, который весной разливался, образуя непросыхающие топи и болота. Между болотами шла зигзагами насыпь, по которой проходила дорога к белеющему вдали зданию тюрьмы. Зимой над побережьем ползли туманы, а с моря дул резкий сырой ветер, который пронизывал до костей и заставлял даже одетых в тулупы часовых проклинать свою жизнь. Лето приносило невыносимую жару, духоту и лихорадку. Медленно тянулись часы дремотного дня, а под вечер солнце, окутанное красноватой дымкой болотных испарений, погружалось в трясину за тростниками. Перед тем как скрыться, оно заливало все вокруг зловещим кровавым светом, который отражался в стоячей воде медно-красными отблесками. В этот час ничто не нарушало глубокой тишины дня. Но когда солнце исчезало совсем, из темных тростниковых зарослей вылетали болотные птицы, в вечернем сумраке звучали лягушачий концерт и пискливое жужжанье несметных комариных полчищ. Усталый тюремщик, задержавшийся в городе, быстро шагал по насыпи, чтобы успеть вовремя спрятаться за густыми противокомарными сетками своей комнаты. Отделение солдат, с примкнутыми штыками, в касках, рукавицах и накомарниках, выходило сменять часовых. В этот час в тюрьме сотни мужчин и женщин торопливо доедали свой скудный ужин, состоявший из постной похлебки и черствого хлеба. Раскатисто звучали суровые слова команды, замирал гул голосов, а за ним и мерное покорное постукивание деревянных налымов по каменным плитам коридоров. Надзиратели проверяли решетки, запирали камеры, отдавали последние распоряжения. И тогда наступала тишина – немая, унылая и гнетущая тишина душной ночи, терзающей людей бессонницей и лихорадкой, тишина затерянной среди болот тюрьмы, из которой еще никому не удалось бежать. Лишь время от времени, когда шаги дежурного надзирателя удалялись, из какой-нибудь переполненной камеры долетали то приглушенный голос узника, рассказывающего о своих мытарствах, то бред мечущегося в лихорадке, то проклятие несчастного, которому что-то приснилось.

Зловещей и неприступной была эта тюрьма, которую стерегли тюремщики, потерявшие человеческий облик. Иногда им удавалось найти у заключенных газету или запрещенную книгу, и тогда они хватали провинившихся и бросали их в карцер. Бывали дни, когда в предрассветный час они врывались в одиночную камеру политзаключенного-смертника и уводили его на виселицу. Обычно они сразу же кучей наваливались на обреченного, так как ожидали сопротивления. Однако нередко случалось, что осужденный и не думал сопротивляться, но сам протягивал руки и позволял связать их, словно желая этим выразить свое презрение к палачам. Когда же его выводили в коридор, он запевал хриплым, неверным голосом боевой марш коммунистов. Тогда камеры политзаключенных просыпались, из них разносился беспорядочно и гневно стук деревяшек – только так могли выразить свой протест товарищи осужденного. Этот дробный угрожающий стук постепенно нарастал, охватывая все камеры, раскатывался по всей тюрьме и наконец замирал в глухом безмолвии болота. Невозможно было ни прекратить этот грохот, сухой и безликий, ни покарать за него виновных, и в этом было что-то напоминавшее о возмездии. Нервы у тюремщиков не выдерживали: срывая злобу на осужденном, они били его по голове. Но осужденный становился еще более дерзким и насмехался над их бессилием. И тогда даже эти звери робели, понимая, что и близость смерти не в силах сломить дух осужденного. Они торопились поскорее вздернуть его на виселицу и по обычаю палачей всех времен делили между собой его вещи.

Стефан остался лежать на нарах в камере, а его товарищей увели на обед. Истощенный, обливающийся потом после очередного приступа лихорадки, он чувствовал, как с каждым днем тают его силы и слабеет дух. Тропическая малярия, которую когда-то занесли в эти места сенегальские солдаты, превратила его в скелет. Все более однообразными, навязчивыми и беспомощными становились его мысли. Давно он уже не думал ни о партии, ни о забастовке, ни о товарищах. Одно, только одно желание владело им день и ночь: связаться с Костовым, который может добиться его освобождения, вырвать его из проклятого адского пекла, из рук злодеев. Он вспоминал, что следствие тянулось бесконечно долго, а потом была какая-то жалкая пародия на суд при закрытых дверях. Вспоминал перекрестные допросы, очные ставки, угрозы, обещания помилования. У менее стойких от истязаний помутился рассудок, и они давали фантастические показания, признавали несуществующие факты. Некоторых из них уже казнили, других приговорили к тюремному заключению, третьих выпустили на свободу. Симеон умер от побоев во время следствия. Шишко, Блаже и Лукан перенесли пытки с твердостью настоящих коммунистов, ничего не признали и отделались семью годами тюрьмы. Стефан держался хорошо. Впрочем, его не истязали, и никто не заставлял его подписывать вымышленные показания. Фамилия спасла его от пыток. Его только обвинили в публичном распространении антигосударственных идей и приговорили к полутора годам тюрьмы. Один полицейский многозначительно намекнул ему, что можно надеяться на помилование, однако Стефана вскоре отправили в эту ужасную тюрьму. И теперь он думал, что ему не выжить.

Он приподнялся и с отвращением обвел глазами грязные одеяла, соломенные тюфяки, пропитанные потом, жалкие пожитки ушедших обедать товарищей – всю эту страшную обстановку, в которой томились двенадцать политических заключенных, посаженных в тесную общую камеру. Свет проникал сюда через два маленьких окошка, прорубленных под самым потолком и забранных железными решетками. В одном окне синел кусочек неба, а в другое вместо стекла была вставлена проволочная сетка от комаров. Сетка прорвалась, и комары без помехи влетали внутрь. Половина заключенных в этой камере страдала малярией. Стены были испещрены непристойными надписями, оставшимися от прежних обитателей – уголовников.

У Стефана дрожь прошла по телу. Ему хотелось кричать от отчаяния, но он удержался – только стиснул зубы. Среди его товарищей по камере были простые рабочие, которые нигде не учились, но были тверды как скала и так стойко переносили свои страдания, что он, образованный, мог только позавидовать их нравственной силе. Был в камере один молодой писатель, близорукий человек с всклокоченными пепельно-русыми волосами. Его всю зиму гоняли из одной тюрьмы в другую. Во время этих странствий он обморозил ногу, и кандалы так глубоко врезались в его опухшее тело, что раны до сих пор не заживали. Другого заключенного бросили в камеру полуживым, с вывихнутыми суставами и посиневшим телом. Несколько недель он не мог подняться с тюфяка, и товарищи кормили его, как малого ребенка. Но Стефан ни разу не видел, чтобы кто-нибудь из них пал духом, стал раскаиваться или охладел к идее, за которую все они боролись. Напротив, они ободряли слабых, поддерживали чистоту в камере и все свободное время учились и учили других. Закаленные, сильные, вполне сложившиеся коммунисты, эти люди были настоящими вождями обездоленных, несмотря на то что вышли из простого народа, несмотря на свое скудное образование. А Стефан, который считал себя призванным свершить великие дела, Стефан, которого палачи и пальцем не тронули, так упал духом, что позорно обдумывал, как ему связаться со своим заступником из враждебного мира!.. Да, он ослабел и потерял веру в себя. Тяжкие испытания сломили его. Ничего уже не осталось от той смелости и упорства, какие отличали его, когда он был гимназистом-комсомольцем.

Все это он понял сейчас, лежа на спине и глядя на синеющее за решеткой небо. Он понял, что страдает теми же неразрешимыми противоречиями, той же тайной болезнью духа, которые внушали Максу равнодушие к смерти. Макс был прав. Невидимые следы, оставленные другим миром, подтачивали и его волю, и волю Стефана. Теперь Стефан неустанно думал только о тихой, спокойной жизни, которой он жил после обогащения брата, об университете, о книгах…

Он отчаянно сжимал кулаки, стараясь удержаться от поступка, который должен был раздавить его гордость. Но именно сейчас, когда его товарищи ушли обедать, было самое удобное время подговорить кого-нибудь из надзирателей. Не следовало больше откладывать, терять время. Тело его хирело, слабело, а он хотел жить, жить… Собравшись с силами, он хрипло крикнул:

– Надзиратель!.. Эй, надзиратель!..

Дежуривший в коридоре надзиратель кашлянул, но не откликнулся. Он привык к тому, что заключенные вечно пристают с просьбами, и не обращал на них внимания.

– Надзиратель, поди сюда! – повторил Стефан слабеющим голосом. – Я болен, не могу встать.

– Здесь не санаторий, – проворчал надзиратель.

– Загляни па минутку… Заработаешь.

Надзиратель нехотя подошел к двери, и его косматое лицо с маленькими, близко поставленными глазками появилось за решетчатым оконцем.

– Чего тебе надо, трепло?… Что с тебя взять? Ты гол как сокол.

Стефан молчал. Он совсем изнемог.

– Сигарет нужно, что ли? – грубо спросил надзиратель. – Двадцать левов пачка!.. Вчера на своем горбу тащил из города.

– Я хочу, чтобы ты для меня написал письмо.

– Вон оно что! Может, прикажешь ноги тебе помыть?

– Не злись, надзиратель! Я дам тебе адрес одного большого человека в Софии, который может вытащить меня отсюда… Его фамилия Костов. Миллион левов жалованья в год получает в одной табачной фирме. С министрами вместе ест и пьет… Напиши ему, что я здесь и что я при смерти. Пошли письмо без подписи – тогда тебе не придется отвечать…

Надзиратель недоверчиво таращил на него глаза сквозь решетку.

– Все так болтают! – пробормотал он. – И ты не лучше уголовников! Те всегда врут, что с большими людьми водятся.

– Но я-то не вру! – возразил Стефан. – В кармане у меня двести левов и часы… Входи и бери себе все!.. Если напишешь письмо, получишь еще деньги… много денег… и бутылку греческого коньяка – такого, какой пьют только господа.

– Врешь, чертяка, – неуверенно проговорил надзиратель.

– А ты знаешь, как моя фамилия? – спросил Стефан.

– Номер знаю.

– Ну так найди по номеру мою фамилию и тогда увидишь, кто я такой. Ты слыхал про «Никотиану»?

– Слыхал… Ну и что?

– Мой брат – генеральный директор этой фирмы.

– Полегче, парень! – рассердился надзиратель. – Я не дурак, чтобы всякой болтовне верить. У тебя от лихорадки в башке помутилось.

– Если так, я не стал бы ждать, пока других уведут на обед. Поверь мне, надзиратель! Мой брат человек богатый, очень богатый: «Никотиана», десятки складов, миллионы килограммов табака – все в его руках… Министры ему кланяются, генералы упрашивают принять на службу их родственников… Ты сам знаешь, теперь всем правят деньги.

– Тише, парень!.. – смущенно промолвил надзиратель.

– Все слушают моего брата.

– Если так, почему ты попал сюда?

– Потому, что я коммунист.

– Как же это можно: ты – коммунист, а твой брат – генеральный директор «Никотианы»?

– Так оно и есть! Все может быть!.. На свете полно ангелов и дьяволов, которые иной раз рождаются от одной матери… Брат мой – грабитель и кровопийца, а я боролся за голодных…

– Перестань, парень! С тобой еще беды наживешь. А почему брат не вызволил тебя до сих пор?

– Мы с ним поссорились. Ненавидим друг друга как кошка с собакой.

Надзиратель кивнул головой. Суровая профессия сделала его психологом. Если бы заключенный врал, он не говорил бы так, не предлагал бы часы и деньги… Да и нечего ему было ждать от вранья – разве только неприятностей.

– Теперь понятно, – проговорил надзиратель. – Наверное, брату твоему хочется, чтобы ты исправился и стал толковым человеком… Так, значит, ему написать?

– Нет, брату я не верю. Напиши лучше эксперту. Эксперт – мой приятель. Он умеет давать взятки и знает, что надо делать.

– Слушай, парнишка, молокосос ты еще. О таких делах так не говорят… – Надзиратель с опаской оглянулся, потом отпер дверь и вошел в камеру. – Давай сюда часы и говори адрес! Если вырвешься отсюда, смотри не забудь про меня! Мне давно осточертело наше ремесло… Каждую ночь повешенные снятся.

Стефан вынул часы и подал их надзирателю. Но движение это сразу его обессилило. В глазах у него заплясали черные тени, на грудь навалилась какая-то тяжесть; он задыхался. Его обуял тупой, животный страх. Глаза его внезапно расширились от ужаса, и он прохрипел:

– Умираю!.. Умираю!..

– Не бойся! – успокоил его надзиратель. – Я шепну директору, чтобы он перевел тебя в больницу… Скажу, что ты не из простых. Он тоже чиновник, дрожит перед большими людьми.

Немного погодя Стефану стало легче. Еле тлевший огонек жизни вспыхнул и снова разгорелся. Стефана охватила жажда прохлады, воздуха и свободы. В памяти его возникли родной город, лицо матери, покой, книги. Борис уже не вызывал в нем такого омерзения, как раньше. Стефан решил, что навсегда откажется от нелегальной деятельности. Для нее нужны воля и самоотречение, которых у него нет. И тут же он осознал: раньше, в комсомольские годы, он обладал волей и был способен на самоотречение, но утратил все это от спокойной и сытой жизни, которую Борис обеспечил семье.

Изнуренный хаосом противоречивых мыслей, Стефан закрыл глаза. Надзиратель вышел из камеры, а снизу послышался топот деревянных подошв. Заключенных разводили по камерам.

Приближался конец лета – непродолжительный мертвый сезон, когда работа в «Никотиане» замирала, а генеральный директор фирмы и главный эксперт получали возможность полнее отдаваться развлечениям.

Однажды вечером, в конце июля, Костов нанес визит госпоже Спиридоновой и договорился с ней относительно использования вилл, оставшихся после папаши Пьера. Мария все не умирала, как-то упорно не умирала, и это создавало юридические трудности при решении вопросов имущественного характера. Госпожа Спиридонова старалась сохранить свою репутацию красивой женщины при помощи отчаянного спартанского режима – массажа, гимнастики и диеты. Она согласилась провести остаток лета со своим гвардейским ротмистром в чамкорийской вилле, а зятю а его официально признанной любовнице предоставила не слишком удобную виллу в Варне.

Против ожидания госпожа Спиридонова наконец простила Борису его скромное провинциальное происхождение. Каждый год после подведения баланса он перечислял на ее счет в банке около пяти миллионов левов – полагающуюся ей по закону долю прибыли, соответствующую количеству ее акций «Никотианы». Поэтому ее личное состояние после смерти мужа не только не уменьшилось, но даже возросло, несмотря на щедрость, с которой она удовлетворяла прихоти ротмистра. Более того, она продала часть отцовского наследства, чтобы превратить его в золотоносные акции «Никотианы».

– Вы не находите, что мой зять – чудесный молодой человек? – спросила она Костова, после того как вопрос о виллах был решен и эксперт остался у нее ужинать. – Как жаль, что бедный Пьер скончался, так и не увидев всех его успехов!.. Именно в таких руках хотел он оставить «Никотиану».

– Да. – Костов рассеянно взглянул на безнадежно расплывшиеся телеса госпожи Спиридоновой и с удивлением подумал о любовном самопожертвовании ротмистра. – Но мне кажется, что вы преувеличиваете… Я бы вам не советовал вкладывать все ваши средства в «Никотиану».

– Почему? – спросила она немного снисходительным тоном.

– Потому что торговля табаком всегда связана с большим риском… Посмотрите на Торосяна!.. Два раза доходил до банкротства.

– Но Борис не чета Торосяну!

– Конечно, однако на международном рынке иногда случаются такие события, каких даже Борис не может предвидеть. Сейчас на акции «Никотианы» большой спрос. Продайте часть своих и вложите деньги в «Гранитоид» или в страховые общества.

Госпожа Спиридонова улыбнулась. Ей нравилось играть роль деловой женщины. Но для нее вся сложность экономической жизни сводилась к тому, что одни акции приносят высокие дивиденды, а другие – низкие, а значит, вся премудрость в том, чтобы обладать первыми. Кроме того, она знала, что смелые игроки в покер всегда выигрывают.

– Но я вполне доверяю Борису!.. – заявила она, все так же снисходительно глядя на Костова.

Она подумала, что, когда мужчины начинают стареть, они становятся во всех отношениях нудными и не в меру осторожными. Эксперт в свою очередь окинул ее снисходительным взглядом.

– Я не говорю, что вы непременно прогорите, – терпеливо пояснил он, – но Борис увлекается, а ваша поддержка только подливает масла в огонь. Почему вы до сих пор не разделите наследства?… Ведь он распоряжается всеми вашими средствами. Если вы уточните свою долю, Борис будет осторожней, а это в интересах всех акционеров «Никотианы».

– Вы явно настраиваете меня против своего шефа, – заметила Спиридонова.

– Да, – ответил эксперт. – Я немного старомоден.

Но, одержимая молодыми порывами, госпожа Спиридонова не могла оценить по достоинству мудрый совет. Она уже решила и в этом году обратить половину своих дивидендов в акции «Никотианы».

Костов ушел от госпожи Спиридоновой в одиннадцатом часу, надеясь застать в «Унионе» Бориса с Ириной, которые ужинали там по пятницам. Он погнал машину в клуб. Приятно веяло ночной свежестью, из садика при синоде доносился аромат цветов, на темном небе сквозь легкую дымку мерцали звезды. Но ни прохладный вечер, ни предвкушение целого месяца беззаботного отдыха не развеяли дурного настроения Костова. Главному эксперту «Никотианы» не давали покоя мучительные мысли о непостоянстве и коварстве женщин. Оперная примадонна два дня назад отправилась в турне по Европе в обществе некоего молодого архитектора.

Клуб был почти пуст. В этот вечер здесь сидела только знаменитая компания игроков в покер, которая обычно встречала рассвет среди гор жетонов и банкнотов, один из секретарей министерства иностранных дел с красавицей женой, испанский дипломат и еще несколько человек. Почти все они любезными кивками приветствовали Костова. Главный эксперт «Никотианы» не считался значительной фигурой, но слыл человеком изысканным и приятным. Он не был ни бывшим министром, ни известным дипломатом, ни знаменитым врачом, ни ловким адвокатом, ни даже очень богатым человеком. Но зато он был похож на киноартиста и, несомненно, служил одним из украшений клуба. Как только он вошел, все с должным уважением посмотрели на его высокую стройную фигуру, прекрасно сохранившиеся серебристо-белые волосы и лишний раз признали, что он недаром славится своей непревзойденной элегантностью. Все члены этого старинного клуба, куда имели доступ лишь избранные, непременно должны были чем-нибудь славиться.

Костов сел в кресло возле открытого окна и заказал себе вермут. Ни Ирины, ни Бориса в клубе не было, и это окончательно испортило его настроение. От подошедшего кельнера он узнал, что они ушли полчаса назад, не оставив ему даже записки. Костов закурил и снова стал размышлять о недостойной выходке архитектора и примадонны. Близ него сидели, надоедливо болтая, советник испанского посольства и болгарский публицист, редактор газеты, который усердно пичкал читателей подвалами на тему о блеске и великолепии императорской России. Так он создал себе славу и писателя, и непримиримого врага большевиков – могильщиков романтического мира императоров, гусар и княгинь. Испанец был явно озабочен международным положением, а публицист-болгарин, наоборот, с трудом скрывал свое радостное возбуждение.

– La situation est mauvaise! Très mauvaise!49 – говорил испанец.

– Почему? – Болгарин с отвращением сосал гаванскую сигару, которой его угостил представитель новоиспеченной авторитарной державы. – Буду говорить с вами вполне откровенно. Плохо тем, у кого совесть нечиста, кто притесняет национальные меньшинства… Но нам, болгарам, каждый ход Гитлера внушает новые надежды.

– Если вспыхнет война, в нее вмешается и Советский Союз, – пессимистично заметил испанец.

– Русские – великий народ!.. – признал публицист, чтобы не уронить память императоров, гусар и княгинь. – Но нельзя отождествлять народ с правящим режимом. Если Германия решит помериться силами с Советским Союзом, русский народ станет естественным союзником немецкой армии.

«Этот тип совсем спятил», – подумал Костов и повернулся в другую сторону. Но тут он услышал разговор между секретарем министерства иностранных дел, его женой и седым полным господином. Полный пожилой господин описывал ужин, который он давал в клубе в честь приезжего американца, и перечислял имена присутствовавших гостей. Этот господин был директором крупного страхового общества. От него веяло спокойствием человека, не знающего риска и с математической регулярностью получающего такие дивиденды со своих акций, каких он и ожидал. В его жестах и манере говорить не было и следа лихорадочной нервности, свойственной табачным магнатам, которых волновало малейшее колебание цен на международном рынке. На пальце у него сверкал золотой перстень с крупным бриллиантом. Клубные ветераны уверяли, что за этот искрящийся бриллиант директор заплатил «в свое время» тридцать тысяч золотых левов.

– Буби! – обратилась к секретарю его жена, вспомнив, что они тоже были приглашены на этот ужин. – Как жаль, что мы не пошли!

– Я ведь дежурил в министерстве, – мрачно отозвался Буби.

Вспомнив об этом, жена его грустно вздохнула и поджала пухленькие губки.

– Мы превратились в каких-то отшельников! – сказала она.

Буби в гордом молчании вытерпел бунт жены против рабских цепей карьеры.

– Я попытаюсь замолвить словечко вашему шефу, – покровительственно заметил полный господин, тронутый бедственным положением молодоженов, – А в министерстве не поговаривают о вашем назначении куда-нибудь за границу?

– Поговаривают!.. – со злостью ответил Буби. – Пошлют в Тирану.

Господин с бриллиантом захохотал. Ответ Буби показался ему верхом находчивости. И, желая понравиться супруге секретаря, он добавил серьезно:

– Посмотрим, что скажет ваш шеф, если я шепну ему на ушко насчет Рима.

Буби презрительно покачал головой. Он не очень-то верил в ходатайства, если только они не шли по испытанной дворцовой линии. Это был мрачный, пресыщенный жизнью красавец со смуглым лицом, черными волосами и темными, как маслины, глазами. Он с необыкновенной легкостью обольщал женщин и потому сумел жениться на дочери помещика-болгарина, владеющего землей в Добрудже. Он был неглуп, но любил вышивать диванные подушки и носил длинные, выше колен, шелковые чулки, которые пристегивал к дамскому поясу с резинками. Кроме того, он слыл большим знатоком старинных восточных ковриков. Все эти чудачества привели к тому, что начальство стало относиться к Буби недоверчиво.

Полный пожилой господин сказал еще несколько слов, но Костов их не расслышал, потому что в это время по салону прошла шумная компания игроков в покер. Непременным членом этой компании был невысокий плешивый доктор, толстый, но необычайно подвижной: по утрам он принимал у себя пациентов, после обеда разъезжал с визитами, а вечера проводил за карточным столом. У него было много пациентов, он славился как отличный диагност и из всех членов клуба имел самый честный источник дохода.

Компания прошла в игорный зал, и в гостиной снова стало тихо. Советник испанского посольства и публицист, убедив друг друга в гениальности Гитлера, разошлись по домам. Немного погодя за ними последовали обиженный судьбою секретарь с женой и полный седой господин, бриллиант которого, купленный «в свое время» за тридцать тысяч золотых левов, искрился холодным, завораживающим блеском. Этот бриллиант словно колдовской силой притягивал к себе взгляды жены секретаря, которая хоть и обладала ларчиком черного дерева, набитым драгоценностями, но сейчас, сама не зная почему, сгорала от желания положить туда и этот камень. Потом она вдруг поняла всю нелепость этого желания и подавила зевок.

После их ухода в салоне воцарилось приятно-сонное настроение. Костов попросил официанта погасить хрустальную люстру. Горели только лампы па курительных столиках. Их желтоватый свет смягчал краски персидского ковра и бархатной обивки мебели. Из игорного зала доносились приглушенные голоса любителей покера. Очевидно, играли по крупной, потому что смеха не было слышно. Кто-то объявил тройной релянс.

– Оплачено! – сказал доктор.

Снова все умолкли, и наступила напряженная тишина – как всегда перед тем, когда игроки раскрывают карты.

– Фул! – провозгласил доктор.

– Хороший фул, – равнодушно произнес незнакомый голос.

Послышался сухой звук передвигаемых жетонов.

Неслышными, кошачьими шагами подошел кельнер и подал Костову вермут. Эксперт залпом выпил рюмку. Взгляд его, усталый и пустой, бесцельно блуждал по утонувшей в желтоватом полумраке гостиной. Наступил час полуночной неврастении, час, когда некуда идти и нечего делать, час одиночества, меланхолии и безнадежного недовольства всем на свете.

Костов вернулся домой к пяти утра, после того как заменил за карточным столом доктора и не моргнув глазом проиграл в покер тридцать тысяч левов – деньги, на которые семья какого-нибудь бедного служащего могла бы кормиться целый год. Загоняя машину в гараж, он ощутил знакомую тупую боль в области сердца и в левой руке. Начался приступ грудной жабы. Давящая поющая боль еще больше испортила ему настроение. Костов не соблюдал никакого режима, и болезнь могла неожиданно свалить его с ног. Бессонная, глупо проведенная ночь, карточный проигрыш и эта боль, неумолимо напоминающая о приближении старости и смерти, заставили его еще раз ощутить, что жизнь он ведет совершенно бессмысленную. Костов тяжело вздохнул и позвонил.

Ему открыл Виктор Ефимович, русский эмигрант, бывший белогвардеец, в совершенстве владевший искусством служить богатому старому холостяку.

Пока Костов облачался в пижаму, Виктор Ефимович заботливо повесил на плечики и убрал в гардероб снятый костюм, а вместо него вынул другой – для завтрашнего утра. У Костова было около пятнадцати будничных костюмов, которые он носил по очереди, чтобы давать им возможность отвисеться и сохранить линии. Виктор Ефимович поставил возле костюма ботинки ему в тон, но более светлые, потом достал рубашку и галстук соответствующей расцветки. Затем он учтиво пожелал хозяину спокойной ночи и направился к двери. Виктор Ефимович некогда служил хорунжим в армии Врангеля и с тех пор сохранил, кроме привычки напиваться через день, непоколебимое уважение к иерархии; поэтому он свысока смотрел на некоторых посетителей Костова. Подходя к двери, он замедлил шаг, зная, что хозяин по обыкновению задержит его для короткого делового разговора на тему о туалетах.

– Виктор, ты отнес итальянский поплин портному? – спросил эксперт, с шумом бросаясь на кровать.

– Да – ответил Виктор Ефимович. – Рубашки будут готовы завтра к вечеру.

– Скажи ему, чтобы был повнимательнее с воротничками! Он слишком далеко прострачивает край, куда вставляют косточки, и воротничок морщится на сгибе.

– Непременно скажу, – заверил Костова Виктор Ефимович, сознавая всю важность поручения.

– Смотри не забудь!

Костов растянулся на кровати. Он подумал: как это унизительно и глупо – заботиться о каких-то воротничках!

– Поганая штука – жизнь, Виктор Ефимович! – неожиданно добавил он.

– Так всегда кажется после полуночи, – заметил бывший хорунжий.

– Ты прав, – немного успокоившись, сказал Костов. – Спокойной ночи.

Виктор Ефимович почтительно удалился, Костов протянул руку, чтобы погасить лампу, стоящую на ночном столике, но вместо кнопки нащупал конверт, который уже две недели валялся невскрытый. «Надо же наконец прочитать это послание, черт бы его побрал!» – с раздражением подумал он. Ему уже не раз хотелось порвать письмо не читая и бросить в корзину. Но он удерживался, полагая, что это какой-нибудь мелкий, несправедливо уволенный служащий фирмы письменно просит о заступничестве. И во имя справедливости эксперт две недели терпел это письмо у себя на столике возле кровати, но так и не удосужился прочесть его. Письмо было в обыкновенном синем конверте с безграмотно написанным адресом. Костов помял его в руках и хотел было снова отложить. Давно пора спать. Лучше завтра. Но он знал, что завтра проснется поздно, часов в одиннадцать, и еле поспеет к началу заседания спортивного клуба, в котором числится почетным председателем. Нет, лучше уж сейчас!.. Наконец Костов решился, вскрыл конверт и рассеянно начал читать. Но вдруг лицо его побледнело. Он перечитал письмо еще несколько раз. Затем нетерпеливо позвонил Виктору Ефимовичу и приказал разбудить себя в семь часов.

С утра до полудня Костов объезжал на своем автомобиле приемные министров и высших администраторов. Приказ об освобождении Стефана он достал в полдень, а вечером уже сел в спальный вагон поезда, направлявшегося в приморский город. Несмотря на усталость от проведенного в хлопотах дня, он был в приподнятом настроении. В этот день новое, неизведанное чувство заполнило пустоту его жизни. Он испытывал волнующую, до слез болезненную радость, как в тот сочельник, когда он приехал однажды с подарками к сиротам в приют.

Он думал о Стефане как о человеке, уцелевшем во время кораблекрушения или стихийного бедствия. Прежде всего надо зайти с ним в магазин готового платья, затем сводить в хороший ресторан и устроить в удобной, чистой гостинице. Впоследствии его можно будет ввести в Теннис-клуб, где среди теннисисток много элегантных и красивых девушек из хороших семейств, и, показав ему преимущества буржуазного мира, внушить на всю жизнь отвращение к коммунистической идеологии. И наконец, Стефану останется только вступить в «Никотиану» и сделаться верным помощником своего брата. Эксперт ни минуты не сомневался, что так именно и будут развиваться события. Надо лишь тактично свести и помирить братьев. Уверенный, что так все и случится, Костов снова ощутил тихую радость. На душе у него стало светло, а вчерашняя бессонная ночь, утомительная беготня днем и мерный стук колес клонили ко сну.

Немного погодя вошел проводник и принес свежей воды. Костов начал раздеваться. Он бережно повесил пиджак и брюки на деревянные плечики, которые всегда возил с собой в чемодане, а в ботинки вставил специальные пружины, для того чтобы они не теряли формы. Затем надел пижаму, улегся и погасил плафон. Купе залил успокаивающий синий свет. Не желая, чтобы его беспокоили незнакомые пассажиры, Костов всегда занимал в спальном вагоне целое купе.

Спустя четверть часа он уже безмятежно спал, как и все бесполезные добряки из мира «Никотианы».

Проводник разбудил его рано утром, за полчаса до прибытия поезда. Выйдя из вагона, Костов с наслаждением вдохнул свежий морской воздух, насыщенный запахом водорослей. Инженер-путеец в железнодорожной форме, приехавший по делу в город, козырнул ему, а полицейский, стоявший на посту у вокзала, щелкнул каблуками. Оба они приняли Костова если не за самого министра, то за какое-то должностное лицо, занимающее высокий пост и требующее, чтобы его приветствовали, – так импозантны были его серебристо-белые волосы и высокая фигура в дорогом костюме. С не меньшим почетом его встретили и в гостинице, где Виктор Ефимович накануне заказал ему номер по телефону. Но комната оказалась неказистой и неуютной, как в любой провинциальной гостинице, и Костов поспешил на улицу. Было еще рано идти к областному начальнику, на имя которого было адресовано письмо премьер-министра. Стремясь убить время, Костов зашел в кондитерскую, выпил кофе, пробежал глазами местную газету, заполненную объявлениями и баснями о курортных достоинствах города, и пошел прогуляться по обсаженному платанами приморскому бульвару, по которому уже шагали загорелые курортники, спешившие на пляж. Мягко синело небо, вода в заливе зыбилась мелкими волнами. Опаленные солнцем женщины с накрашенными губами вызывающе оглядывали эксперта, словно щекоча его своими взглядами, а он проходил мимо со скучающим и рассеянным видом, который он напускал на себя скорее по привычке вечно позировать, чем потому, что действительно скучал.

Пройдя бульвар, он вошел в приморский парк, где на высоком крутом берегу стояло казино. К морю спускалась широкая лестница с площадками, уставленными пальмами и кактусами в огромных кадках. Пляж тянулся длинной узкой полосой; его серый, как железо, песок, по словам местной газеты, обладал целебными свойствами. Вдоль пляжа шла узкоколейка; справа от пляжа из городского канала в море вливалась мутная струя нечистот, смешиваясь с портовыми отбросами. Несмотря на ранний час, пляж был усеян голыми телами, которые валялись на мостках, лениво переползали с места на место или же недвижно лежали на песке, словно трупы. Громкоговоритель раздирал воздух модными танцевальными мелодиями, в порту хрипло ревел гудок парохода, а немного погодя по узкоколейке прошел поезд и обдал отдыхающих на пляже счастливцев густыми клубами каменноугольного дыма.

Костов посмотрел на часы. Пора было идти к областному начальнику и привести в действие громоздкий механизм, от которого зависело освобождение Стефана. По приморскому бульвару он вернулся к центру города. Солнце уже стояло высоко и начинало припекать, а в воздухе ощущалась теплая и душная влага – город был окружен болотами. От порта потянуло неприятным запахом соленой рыбы и лежалых продуктов. Главная улица, ведущая от вокзала к центру, была сейчас почти безлюдна. Над витринами магазинов уже опустили полотняные тенты, защищающие от солнца. В кафе полуголые цыганята собирали под столами окурки. В тени на тротуаре дремали чумазые грузчики с желтыми малярийными лицами. Было тихо и убийственно скучно. Надвигались знойные часы безветрия, когда весь город, обессиленный нездоровым климатом и тропической малярией, замирал в сонном оцепенении. Настроение у Костова упало.

Наконец он подошел к областному управлению и, хотя прием посетителей еще не начинался, вошел в здание. Двое рассыльных лениво и тихо переговаривались у окна. Какая-то особа, скорее всего дама полусвета, нервно прохаживалась по коридору. На двери кабинета начальника висела строгая надпись: «Без доклада не входить». Костов рассеянно прочел ее, небрежно постучал и, не дожидаясь ответа, открыл дверь. Рассыльные бросились было к дерзкому посетителю, но остановились, смущенные его внушительной внешностью и самоуверенным видом. Какой-то миг длилось безмолвное замешательство. В кабинете начальник расчесывал пробор, любуясь собой в зеркале. Он повернул голову, недоумевающе глядя то на Костова, то на вошедшего за ним служителя. Но эксперт, не дав ему времени разгневаться, отрекомендовался с апломбом представителя «Никотианы», который знает, как внушить чиновникам должное уважение к себе.

– Что вам угодно? – холодно спросил начальник.

В его области табак не выращивался и табачных фирм не было, поэтому начальник не имел понятия об их могуществе. Костов объяснил ему, зачем приехал.

– У меня с собой приказ и письмо премьер-министра! – добавил эксперт, протягивая ему два конверта. – Я полагаю, что вы не задержите меня излишними формальностями.

Начальник, высокий румяный мужчина, превыше всего ценил свой авторитет. Даже знай он, как могущественны табачные фирмы, он все равно резко одернул бы их служащего, который запросто вошел в его кабинет, словно в кондитерскую. По письмо меняло дело, и самомнение ретивого администратора растворилось в благоговении перед премьер-министром.

– Да! – пожевал он губами, прочитав письмо, краткое и ясное. – Да, помилование!.. Вероятно, какой-нибудь заблуждающийся молодой человек… Да, я немедленно приму меры, конечно… А как поживает господин министр? – вдруг спросил он.

– Все так же. Слишком много работает, – ответил эксперт, наслаждаясь в душе своей шуткой.

Начальник зацокал языком, желая показать, что он очень обеспокоен столь неразумным отношением премьер-министра к своему драгоценному здоровью. Потом он заговорил о выдающихся достоинствах министра, о его гениальных дипломатических ходах, а Костов кивал головой и поддакивал все так же насмешливо. Эксперт знал, что бывали случаи, когда некоторые партии выдвигали деспотичных, по способных премьер-министров. Но никогда еще дворец не ставил во главе правительства более смешной тряпичной куклы, чем та, которая была у власти теперь.

Поговорив еще немного в том же духе, Костов и начальник области убедили друг друга в том, что премьер-министр – их лучший друг и что во имя этой дружбы они всегда будут готовы оказывать друг другу услуги. Затем Костов изъявил желание поехать в тюрьму и лично встретить там освобожденного.

– Тюрьма за городом… – замялся начальник. – Но можно было бы… Подождите минуточку!

Он вызвал звонком рассыльного и приказал немедленно подать служебную машину.

– Мы поедем вместе, – сказал он. – Нет, нет, ничего!.. Прошу вас, не беспокойтесь, пожалуйста! Мне будет очень приятно проехаться с вами.

Он приказал соединить его с директором тюрьмы. Пока начальник говорил по телефону, Костов живо представлял себе ликующую улыбку, которой его встретит Стефан. Но вдруг эксперт насторожился. Лицо у начальника перекосилось, голос его внезапно охрип, и в нем зазвучали тревога и огорчение.

– Что? – кричал он в трубку. – Вчера вечером?… Вы уверены, что это он? Вы будете отвечать!.. Я потребую расследования. Я лично немедленно выезжаю…

Он положил трубку и в испуге пробормотал:

– Молодой человек, за которым вы приехали, скончался вчера вечером от малярии.

В кабинете было жарко, но у Костова по телу пробежала холодная дрожь.

**XX**

После экономического кризиса и двух государственных переворотов, один из которых имел целью ограничение монаршей власти, а другой – ее укрепление, страна стала походить на древнюю Аркадию – можно было подумать, что бедность, расправы и гнет канули в прошлое. Его величество по-прежнему любил выступать в роли паровозного машиниста и поражать иностранных ученых глубоким знанием бабочек и редких растений, о которых он перед аудиенцией наскоро прочитывал кое-что в дворцовой библиотеке. Брат царя затеял тяжбу о наследстве в Чехии и, как уверяли злые языки, был замешан в темных аферах, связанных с поставками оружия.

Одни табачные фирмы процветали, другие, наоборот, ликвидировали свои дела и прощали склады. Хозяева зажили спокойной жизнью, а рабочие, казалось, примирились со своей участью. Коммунисты изменили тактику, отрешившись от узкого и бесплодного сектантства, и уже не тратили зря свои силы, а осторожно готовили народ к грядущим великим событиям. Блаже отсиживал свой срок в тюрьме, Шишко выпустили, и он снова сделался жестянщиком, потому что ни один табачный склад не брал его на работу. Лукану удалось бежать из тюрьмы. Вдова Симеона нанялась в швейную мастерскую, а коммунисты со склада «Никотианы» каждую субботу выделяли из своей скудной получки немного денег для сирот Спасуны. Семья погибшего Чакыра воздвигла на его могиле роскошный мраморный памятник, и, глядя на него, каждый догадывался, что за подобный памятник мог заплатить только господин генеральный директор «Никотианы». Память о Стефане сохранилась лишь в сердце его матери и тех друзей, что работали с ним в комсомоле. Но никто из них не знал, что, прежде чем умереть физической смертью, Стефан умер духовно. Трагические события стачки были скоро забыты теми, кто в ней не участвовал.

В последнее из этих мирных лет в окрестности Варны в конце августа съехалось избранное общество – придворные, беспартийные политиканы, промышленные магнаты и лощеные выскочки, нажившиеся на торговле. Солнце грело мягко и ласково, море отливало нежной лазурью, фруктовые деревья и виноградные лозы сгибались под тяжестью зреющих плодов. Пляжи пестрели модными купальными костюмами, на теннисных кортах не смолкали глухие удары ракеток и мелькали резиновые мячи, а по вечерам молодежь до поздней ночи танцевала на верандах вилл румбу и танго. Все развлекались и флиртовали, как и в прежние годы, но в воздухе незримо нависла тревога. В разговорах все чаще поминали Польский коридор. Надвигалась война. Завсегдатаи ресторана «Унион», рантье и космополиты, помрачнели: война грозила нарушить их покой; зато фабриканты и торговцы предвкушали наживу. Генералы запаса печатали в газетах длинные статьи, в которых писали о немецко-болгарской дружбе эпохи первой мировой войны, а новый премьер-министр (на этот раз царь поставил во главе правительства археолога50) таинственно намекнул на то, что Болгарии уготовано светлое будущее.

«Никотиана» и другие табачные фирмы выполнили свои обязательства перед Германским папиросным концерном. Германия уже поглотила тридцать миллионов килограммов табака и несметное количество шерсти, жиров, консервированных фруктов и бекона. Увозившие все это пароходы и вагоны возвращались, груженные пушками, танками и пулеметами. Генералы и полковники стали обзаводиться дорогими квартирами, а принц Кобургский уплатил наконец судебные издержки по ведению процесса о наследстве в Чехии.

Борис воспринял развивающиеся события как неизбежное зло и сделал все, чтобы к ним приспособиться. Теперь уже нельзя было продавать Америке и Голландии крупные партии товара. Государство взяло под контроль валютные операции, и «Никотиана» больше не могла свободно распоряжаться своими заграничными вкладами в долларах и гульденах. Немцы оттеснили в сторону местных заправил и незаметно прибрали к рукам правительство, сделав его послушным орудием своей военной экономики. Германский папиросный концерн перебрасывал на счета «Никотианы» крупные суммы в бумажных марках, которые Борис немедленно вкладывал в строительство новых складов и расширение предприятия. «Никотиана» росла, но как-то уродливо и однобоко, словно прожорливый ребенок, которого пичкают однообразной пищей. Поглощенные ею деньги снова возвращались по каналам клиринговых соглашений в германские кассы. Разумеется, некоторое выравнивание цен было неизбежно, но волшебное немецкое счетоводство осуществляло его таким образом, что пятьдесят килограммов табака, за которые можно было приобрести мотоцикл, оказывались равными по цене двум электрическим чайникам. Фон Гайер каждый год невозмутимо снижал цены на табак и напечатал статью, в которой туманно намекал, что болгары должны из чувства патриотизма поддерживать Германию в борьбе с общим врагом. Вместе с тем он увеличивал закупки табака, так что прибыли «Никотианы» оставались на прежнем уровне. Цены он перестал сбавлять лишь тогда, когда Борис и Костов заявили ему, что крестьяне больше не будут сеять табак.

«Никотиане» надо было защищаться и от другой опасности: карликовые табачные фирмы, возглавляемые придворной челядью и генералами запаса, вырастали как грибы и становились угрожающими соперниками, потому что Германский папиросный концерн полностью субсидировал их, уже не стараясь это скрывать. Все они наперебой заискивали перед немцами, и фон Гайер оплачивал их услуги совсем уж дешево – давая им всего три-четыре лева прибыли на килограмм табака. Немецкий осьминог хищно впился своими щупальцами в тело «Никотианы». Однако Борис ясно видел, что это чудовище обречено на гибель, потому что оно жаждет поглотить весь мир. Но пока оно еще не погибло, надо было использовать его и терпеливо выжидать, сохраняя спокойствие. Надо было делать все возможное, чтобы сохранить благоволение немцев и, не теряя времени, превращать бумажные деньги в инвентарь, табак и недвижимость.

Тихие послеобеденные часы Ирина провела за чтением привезенных из Софии немецких и французских медицинских журналов. Она еще не утратила способности долго, упорно и терпеливо работать над научной литературой с усидчивостью, завоевавшей уважение мужчин. Лишь время от времени, переворачивая страницу, она приподнимала голову и потом снова погружалась в чтение, замкнутая и сосредоточенная. Было вполне вероятно, что один из больных, за которыми она наблюдала в клинике, болен кала-азаром. До сих пор в Болгарии были описаны только два случая тропической спленамегалии. Третий могла теперь установить Ирина – и очень этим гордилась. Профессор советовал ей опубликовать результаты ее наблюдений в одном немецком журнале.

Когда Ирина перестала читать, солнце уже склонялось к западу, и вечерние тени удлинялись. Серебристое зеркало моря отражало краски заката. Было тепло и приятно. Над морем пролетали чайки. Из малахитовой зелени виноградников, опрысканных купоросом, выглядывали стены вилл, окрашенные в яркие тона. Из сада веяло ароматом зрелых персиков. Сквозь стрекот цикад Ирина услышала несвязный лепет Марии, которую сиделка вывела гулять.

Ирина с грустью задумалась о судьбе Марии. Болезнь ее переходила в последнюю стадию. Жена Бориса превратилась в лишенное сознания существо, которое реагировало на все лишь блаженной бессмысленной улыбкой. У нее прекратились даже приступы ипохондрии. От прежней Марии осталась высохшая, пожелтевшая мумия с пустыми глазами и бесцветными поредевшими волосами. По настоянию Ирины ее привезли на берег моря, чтобы лечить солнечными ваннами. Был ли в этом какой-нибудь смысл? Никакого, кроме удовлетворения чувства нравственного долга. Но и нравственные соображения становились неуместными по отношению к такому жалкому и бесполезному существу. Ирина вспомнила светловолосую молодую женщину, излучавшую опаловый блеск, которую она видела восемь лет назад в баре.

Она открыла портсигар и взяла сигарету. В это время на террасе появился Виктор Ефимович с подносом, на котором стояла бутылка коньяка и три рюмки.

– Господа спрашивают, кончили ли вы читать… Они желали бы посидеть с вами, – учтиво проговорил он и застыл в выжидательной позе.

Он сказал неправду: господа ничего не спрашивали, а просто приказали ему отнести коньяк и рюмки на веранду к Ирине. Борису хотелось выпить, и он искал собутыльника – вот почему на подносе стояли три рюмки. Но Виктор Ефимович был человек старого закала, бывший хорунжий, и слугой сделался поневоле. Он умел придавать изысканную форму обращению с дамами.

– Пусть приходят, – равнодушно ответила Ирина.

Виктор Ефимович поставил поднос на столик, торопливо чиркнул спичкой и поднес ее Ирине. Движения у него были неловкие и неуклюжие, потому что Костов под страхом увольнения запретил ему пить среди дня и от вынужденного воздержания у бывшего хорунжего мучительно дрожали руки. Но все же Виктор Ефимович был доволен и виллой, и безоблачными, лазурными днями, и приятной возможностью любоваться красивыми женщинами. Все это напоминало ему молодость и последние дни армии Врангеля в Крыму. Он пододвинул к Ирине два шезлонга и спустился в сад, чуть-чуть опьяненный тем, что смог ей услужить.

На веранду вышел Костов. Он был в брюках из фланели табачного цвета и серебристо-сером свитере, защищавшем от вечерней прохлады.

– Получена телеграмма!.. – сказал он.

– Какая?

– Очень приятная!.. Завтра прибывают немцы, а с ними Зара… Лихтенфельду еще не надоело таскать ее за собой. Вы согласитесь показываться вместе с ней в дансинге?

– Я не имею права ее чуждаться, – негромко заметила Ирина.

– Почему?

– Потому что у нас с ней одинаковое положение в обществе.

– Нет, вы несравнимые величины, – сказал эксперт, переводя глаза с прекрасного лица Ирины на разбросанные по столу медицинские журналы, – Борис решил пригласить и Зару, чтобы не давать ходу мелким фирмам.

Он сел на стул и закурил.

– Не понимаю, какая связь между Зарой и мелкими фирмами?

– Зара – довольно дорогое вино, а у Лихтенфельда ничего нет, кроме жалованья от концерна, а потому щедрым он быть не может… Но он может угождать ей, постоянно твердя фон Гайеру о том, что мелкие фирмы плохо обрабатывают табак, и даже преувеличивая недостатки их товара… Теперь вам ясно?

– Да, – глухо проговорила Ирина.

– Шеф у меня – человек незаурядный, – продолжал Костов. – Вряд ли другой такой когда-либо рождался на свет… Он с таким нетерпением ждет немцев, что я начинаю подозревать, уж не собирается ли он воспользоваться и вашей помощью.

– Что вы хотите этим сказать? – резко спросила Ирина.

– Фон Гайер вам нравится, – откровенно ответил Костов.

– Допустим! Но что из этого?

– Он тоже к вам расположен.

– Вы, должно быть, не пожалели времени па наблюдения.

– Я наблюдаю прежде всего за делами «Никотианы»… Положение фирмы далеко не блестящее. Лихтенфельд проболтался Заре, что фон Гайер собирается сократить поставки «Никотианы» на одну треть, чтобы бросить кусок мелким фирмам придворных, которые теперь стараются вовсю по политической линии. Но фон Гайер может отказаться от своего намерения, если вы его… так сказать… разубедите.

Эксперт оборвал речь на полуслове. Темный румянец залил лицо Ирины. Руки ее невольно стиснули подлокотники кресла.

– Не браните меня! – поспешно продолжал Костов. – Дело обстоит не так, как вам кажется на первый взгляд… Всего можно добиться обыкновенным разговором. Фон Гайер – довольно своеобразный человек. Я хочу сказать, что у него нет склонности к вульгарным приключениям и он вас искренне уважает.

Она ничего не ответила. Заря угасала, но в наступающих сумерках лицо Ирины все еще казалось ярким. Она была в чесучовом платье с короткими рукавами. Золотистый загар на ее лице приобрел медно-красный оттенок, от округлых плеч и высокой груди веяло здоровьем.

– Вы кончили? – спросила она вдруг.

– Нет, – ответил эксперт. Он закурил новую сигарету и приготовился было продолжать, но вместо этого проговорил с досадой: – Тише!.. Шеф идет.

На веранду ленивой и разболтанной походкой поднимался Борис с зажатой в зубах сигаретой. Он был в брюках от будничного костюма и цветной рубашке с отложным воротником и засученными рукавами. Его пренебрежение к одежде – Борис никогда не задумывался над тем, как лучше одеться, – особенно бросалось в глаза, когда рядом был элегантный Костов. Генеральный директор уже не казался молодым человеком. Глаза его запали еще глубже, а в мрачном взгляде, который некогда очаровал Ирину, теперь сквозили подозрительность и сварливость. Восемь лет у руля «Никотианы» не прошли для него даром.

– Все флиртуете? – проговорил он, усевшись рядом с Ириной и немедленно наливая себе коньяку.

– Неужели это начинает тебя задевать? – заметила Ирина.

Костов глазами посоветовал ей держаться спокойнее.

– Опасный тип! – продолжал Борис, показывая рюмкой на эксперта. – Плюнет и разотрет, а женщинам это очень нравится.

– Здорово вы меня раскусили, – промолвил Костов.

– Что бы там ни было, а шевелюре вашей я завидую, – продолжал приставать Борис, посматривая на эксперта.

– Это парик, – отозвался Костов.

– Вы хотите сказать – красиво, как парик. – Борис провел рукой по намечающейся плеши на темени. – Одолжите-ка мне какой-нибудь из своих бесчисленных флаконов.

– Вам они ни к чему, – ответил эксперт. – «Никотиана» оставляет вам слишком мало времени, чтобы думать о своей внешности и о женщинах.

– Значит, на меня опять поступили жалобы!.. – Борис с усмешкой взглянул на Ирину. – А что станет без меня с «Никотианой»?

– То же, что и под вашим руководством!.. Она превратится в захолустный филиал Германского папиросного концерна.

– Но ведь именно этого мы стараемся избежать!

– От старанья до успеха далеко.

– На этой неделе все выяснится… Завтра приезжают фон Гайер и Лихтенфельд, – добавил Борис, обращаясь к Ирине.

– Я уезжаю, – неожиданно бросила она в ответ.

Ее слова были как гром среди ясного неба. Наступило молчание.

– Что это значит? – хрипло спросил Борис.

Ленивая расслабленность покинула его лицо, оно сразу стало настороженным и злобным.

– Поеду в Софию, вот и все. – Голос Ирины прозвучал холодно. – Профессор вызывает меня в клинику.

– Ко всем чертям твоего профессора! – Лицо Бориса перекосилось от гнева. – Никуда ты не поедешь.

– Почему? – спросила Ирина.

– Потому что это будет хамством с твоей стороны!.. Люди знают, что ты здесь.

– Фон Гайер, ты хочешь сказать?

– Он самый!.. Мы как раз теперь должны определить условия нового договора, и нечего устраивать ему демонстрации!.. А я, дурак, на тебя рассчитывал.

Снова наступило молчание, и стали слышны далекие звуки джаза. Тьма в саду сгущалась. Повеял теплый ветерок и принес с собой запахи полевых цветов. Из-за моря выплыла, окутанная дымкой испарений, оранжевая луна.

– Господин Костов! – прервала молчание Ирина. – Оставьте нас, пожалуйста, на минутку.

Эксперт сконфуженно поднялся, жалея, что затеял этот разговор с Ириной.

– Надеюсь, вы не будете ссориться, – мягко сказал он, направляясь к выходу.

Луна медленно поднималась над горизонтом, озаряя бледным фосфорическим светом морскую ширь, а ее отражение трепетало в волнах. Над садом проносились летучие мыши. Борис залпом выпил еще рюмку коньяка. Последнее время он пил каждый вечер, не слушая советов Ирины, предупреждений Костова и доводов собственного разума. Он чувствовал потребность встряхнуться после дня напряженной работы, но выбрал для этого губительное средство. Вначале при виде этого у Ирины разрывалось сердце. Теперь она равнодушно относилась к его пьянству.

– Что это за комедия?… – спросил он, почувствовав приятное опьянение. – Тебя оскорбляет присутствие Зары, так, что ли? Пришлось пригласить и ее из-за Лихтенфельда… Ведь мы решили заняться политикой!

Он цинично усмехнулся.

– Ясно!.. Зара будет забавлять Лихтенфельда, а я – фон Гайера… Важно, чтобы немцы остались довольны.

– Что же тут неестественного?

– Ничего, кроме полного отсутствия у тебя чувства собственного достоинства.

– Это Костов тебе заморочил голову!.. Старый пижон ревнует тебя ко всем… Что ты воображаешь?… Что я хочу использовать тебя, как Зару?

– Если нет, почему же ты настаиваешь, чтобы я осталась здесь?

– Потому что ты мне нужна. Твой ум может пригодиться.

– Как и тело Зары.

– Между тем и другим образом действий огромная разница.

– Но цель одна и та же: обольстить мужчин, чтобы ты мог на них нажиться.

– Будь ты моей женой, ты бы так не рассуждала… Я понимаю, что в твоем положении нельзя не быть чувствительной. Но не сегодня-завтра наши отношения будут узаконены. Представь себе: мы тогда приглашаем на ужин фон Гайера или кого-нибудь другого, приходим в чудесное расположение духа и заключаем выгодную сделку!.. Ну разве это похоже на обольщение? Пойми меня правильно. Сейчас положение совершенно то же.

– Нет, не то же!.. Я пока еще не твоя законная жена. Да и вообще, твоя манера заключать сделки с помощью женщин кажется мне гнусной.

– Вот как?… Но я прошу тебя лишь оказать мне услугу, в которой нет ничего дурного, – будь с фон Гайером просто любезной, не больше, это приведет его в хорошее настроение, и нам легче будет вести переговоры. Про него ведь нельзя сказать, что он человек ограниченный или грубый… Ты сама однажды призналась, что в нем есть какая-то мрачная привлекательность… Если и ты ему нравишься, если ему приятно с тобой разговаривать, что в этом плохого?… Неужели ты думаешь, что я позволил бы что-нибудь большее?

Ирина тихо рассмеялась, без гнева, без обиды, даже без горечи. Сейчас Борис показался ей разительно похожим на Бимби.

– Ах, да замолчи ты!.. – сказала она. – Есть вещи, которые ты не в состоянии понять.

Она сделала еще один шаг на пути к познанию подлинной натуры Бориса – теперь он предстал перед нею без прикрас, нравственно отупевший, лишенный элементарнейшей человеческой способности – уменья отличать зло от добра, подлость от благородства. Ничтожный торгаш, моральный урод, безумец… Она подумала, что даже неразборчивый и неотесанный Баташский и тот, наверное, с возмущением отбросил бы самую мысль о том, чтобы заключать сделки с помощью своей жены. Но чего еще можно было ожидать от Бориса – этого сводника, который поставлял немцам женщин, этого ограниченного и закоренелого филистера, который ничем не интересовался, кроме «Никотианы», не читал книг, не ходил в концерты, не переступал порога выставок и театров? Опять в душе Ирины полыхал опустошительный пожар, и в его пламени сгорали последние остатки старого чувства, все пережитые страдания, все надежды и сомнения. Но вот пламя угасло так же внезапно, как вспыхнуло, и пепелище подернулось грустным спокойствием, тихой и ровной печалью. И под покровом печали холодно и расчетливо заработал разум. Все ясно!.. Значит, прошлое ушло безвозвратно, но на этот раз она уже не испытывает ни горя, ни тревоги, ни сожалений. Теперь она твердо стоит на ногах, умудренная житейским опытом и знанием людей. Она могла бы выполнить просьбу Бориса, но лишь на определенных условиях, не жертвуя собственным достоинством… Она могла бы повлиять на фон Гайера, но обманывать и пресмыкаться она не станет. И только в этом случае она будет сама себе госпожой, будет наслаждаться жизнью и еще раз справится с кризисом в своем сознании.

Луна уже высоко поднялась над горизонтом, и ее отражение, трепещущее на волнах, сверкало все ярче. Все вокруг было залито мягким лучистым сиянием, чернели только деревья и виноградные лозы. Крупный светлячок полз по бетонной балюстраде веранды. Из открытого окна столовой доносился звон ножей и вилок, стук тарелок: Виктор Ефимович накрывал стол к ужину.

У Ирины вырвался глубокий вздох облегчения. Противоречия, которые неотступно томили ее душу, наконец исчезли. Она почувствовала себя свободной, уверенной в своих силах и уже не жалела о пяти пролетевших годах, которые научили ее распознавать зло и не обманываться в оценке собственных поступков. Но вдруг она услышала сиплый мужской голос, незнакомый, чужой и далекий голос, шепеляво бормочущий какие-то доводы, ложь, жалкие оправдания, которые уже не могли ее тронуть. Костлявые, противные пальцы сжали руку Ирины и стали гладить ее, пытаясь быть нежными. Голос юлил, умолял:

– Не говори глупостей!.. Мы с тобой связаны гораздо теснее, чем ты думаешь… Делай что хочешь… Уезжай или оставайся здесь… Не важно, увеличит Германский папиросный концерн свои закупки или нет.

– Я останусь здесь, – сказала она сухо.

– Прекрасно!.. – В его голосе прозвучала жалкая, противная радость. – Ты все-таки поняла меня наконец?

– Да, вполне!.. Я попрошу фон Гайера не сокращать закупок у «Никотианы»… Но как я этого добьюсь – мое личное дело… Буду действовать, как мне заблагорассудится… И так будет отныне и впредь… Всегда…

– Что ты намерена делать? – спросил он.

В голосе его была тревога: Борис почувствовал, что в этот вечер Ирина вырывается из-под его власти и навсегда уходит из его жизни, оставляя за собой пустоту. Он еще не осознал этого, не понял до конца, но ему стало не по себе.

– Что ты намерена делать? – повторил он.

– То, что считаю нужным, – ответила она устало и бесстрастно.

Она поднялась, пересекла темную веранду и направилась к двери в залитую светом комнату.

Эксперт сидел в столовой, облокотившись на стол, и в томительном ожидании разглядывал маникюр на своих красивых руках.

Увидев Ирину, он вздохнул с облегчением. Лицо у нее было такое же спокойное и ясное, как и тогда, когда она читала на веранде. На бледное и расстроенное лицо Бориса Костов не обратил внимания.

– Итак, вы остаетесь? – спросил эксперт.

– Да, – ответила Ирина таким тоном, словно ничего особенного не произошло.

Виктор Ефимович стал подавать к столу.

– Неплохая репетиция вашей будущей семейной жизни, – сказал Костов. – Но вы почти не повышали голоса… Во время семейных сцен спокойствие одного из супругов обычно выводит из себя другого.

Ирина рассмеялась.

– Это нам не угрожает, – заметила она.

– Что именно?

– Супружество.

Костов озабоченно взглянул на помрачневшего Бориса и опустил голову. Разговор не клеился. Все умолкли.

– Есть еще какие-нибудь новости из Софии? – спросила Ирина, чтобы нарушить неловкое молчание.

– Баташский от нас уходит, – ответил эксперт.

– Вам жаль его терять?

– Конечно! Баташский – незаменимый человек! Он вымогает, крадет, надувает всех и вся, но тем не менее приносит пользу фирме.

Ирина положила себе на тарелку большой кусок тушеной телятины с блюда, которое Виктор Ефимович с благоговением держал перед ней. Борис не принимал участия в натянутом разговоре.

– На что вам нужен подобный тип? – рассеянно спросила она.

– О, для нашей фирмы это был идеальный служащий.

Борис взглянул исподлобья на Костова, но ничего не сказал.

– И что он будет делать дальше? – продолжала спрашивать Ирина.

– Войдет в компанию с одним отставным генералом.

– Не завидую этому генералу. А кто будет их субсидировать?

– К сожалению, Германский папиросный концерн.

– Ну, с этой компанией мы справимся, – сказала Ирина. – Пусть только приедет фон Гайер.

Она рассмеялась, а глядя на нее, рассмеялся и Костов. Это был бодрый смех двух беззаботных людей, которые не обращали внимания на мрачный хаос в душе третьего.

– Довольно! – вдруг рявкнул Борис. – Слушать тошно!.. Вы забываетесь!..

Он отшвырнул нож и вилку, встал и вышел из столовой, оставив за собой неприятную, тяжелую пустоту… Костов перестал есть, а Ирина невозмутимо доканчивала ужин.

– Ну?… – спросил эксперт.

– Все приходит к своему естественному концу, – ответила она. – Но пока, пожалуйста, не спрашивайте меня ни о чем и не стройте никаких предположений.

Костов, склонив голову, погрузился в мрачные размышления о жизни и о любви. Ирина доела десерт.

– Спокойной ночи, – промолвила она, вставая из-за стола.

– Спокойной ночи, – ответил эксперт.

Он рассеянно перекинулся несколькими словами с Виктором Ефимовичем, приказав ему починить одну из своих теннисных ракеток, и отправился на соседнюю виллу играть в бридж.

Окна виллы, увитые японскими розами, диким виноградом и плющом, гасли одно за другим. Постепенно засыпали и утомленные развлечениями обитатели соседних вилл. Костов, усталый и немножко навеселе, вернулся после полуночи, напевая себе под нос мелодию модного танца «ламбет-уок». Над морем, виноградниками и виллами сияла луна. С пляжа доносился глухой и тоскливый шум прибоя, где-то далеко пели под аккордеон. На рейде тускло горели огни парохода.

Борис лежал пластом в своей комнате, мрачный и удрученный. Когда все в доме стихло, он встал с постели и нажал ручку двери, ведущей в спальню Ирины. Но дверь оказалась запертой изнутри. Он тихо постучал.

– Нельзя!.. – отозвалась Ирина.

– Давай поговорим спокойно, – сказал Борис.

– Не сейчас.

Голос ее был сух, тверд, неумолим.

Борис немного подождал, потом ударил кулаком в дверь. В тишине снова послышался голос Ирины, но на этот раз он был полон гнева и презрения:

– Если ты не перестанешь скандалить, я вызову но телефону такси и уеду немедленно.

Борис бессильно сжал кулаки. В комнате у него был коньяк. Он выпил несколько рюмок подряд и бросился на кровать. В открытое окно заглядывала светлая приморская ночь. Плеск волн, порывы ветерка и шелест листьев перекликались невнятными звуками, замиравшими в ночной тишине.

На следующее утро Борис приказал сиделке отвезти Марию в Чамкорию. С помощью Виктора Ефимовича и шофера сиделка чуть ли не силой втиснула в автомобиль бессмысленно улыбающееся несчастное создание. Законную владелицу виллы вынесли как надоевшую, безобразную рухлядь, чтобы не портить настроение гостям.

В ожидании немцев Костов усердно трудился на пользу «Никотиане». Он составил подробную программу утренних, послеобеденных и вечерних развлечений, заботливо разузнал, кто из соседей может оказаться приятным собеседником для фон Гайера, и приказал настроить рояль, на котором когда-то играла Мария. Фон Гайер был музыкален. Он часто играл Бетховена и Вагнера – играл умело, хоть и небрежно, а Борис сделал из этого вывод, что немец – человек несерьезный и его легко перехитрить. Рояль перенесли в комнату, которую предназначали фон Гайеру, – лучшую комнату во всей вилле. Окна выходили на море и пляж, окаймленный черными, разбросанными в беспорядке утесами, между которыми пенились волны. Особые инструкции были даны кухарке и человеку, которого посылали в город за продуктами. Костов делал все это вовсе не из любви к немцам, а просто потому, что подобного рода хлопоты были ему приятны. Из немцев он уважал до некоторой степени только фон Гайера.

Однако приехавшие гости были настолько озабочены, что не смогли должным образом оценить созданные Костовым удобства. Они прибыли поздно вечером, усталые от длительного путешествия в вагоне, наутро встали поздно и весь день не отрывались от радиоприемника, слушая передачи из Германии. Все их внимание было поглощено международными событиями. Даже Лихтенфельд утратил свою спесивую говорливость. Война была вопросом дней или недель.

Настроение гостей немного улучшилось после того, как был подписан германо-советский пакт. Вечер прошел в оптимистических разговорах о молниеносной войне. Но даже подписание пакта не смогло рассеять никому не ведомые заботы фон Гайера. Не было сомнений, что летний отдых и окружающая обстановка ему приятны, однако он с первого же дня отгородился от остальной компании холодной и вежливой предупредительностью. Он вставал рано и каждое утро уплывал в открытое море, с методическим упорством покрывая полтора-два километра, и всегда возвращался к тому времени, когда остальные уже кончали завтракать или собирались идти на пляж. Вернувшись, он уединялся в своей комнате и читал, а за обедом был одинаково холодно вежлив со всеми. Под вечер он гулял один по крутой и скалистой части берега – там, где не бывал никто. Обманув ожидания тех, кто знал о его пристрастии к роялю, он ни разу не прикоснулся к клавишам. Он смотрел сквозь пальцы даже на бесцеремонные выходки Зары и Лихтенфельда, которые прежде вывели бы его из себя. Короче говоря, он держался как замкнутый, но весьма воспитанный человек. Ирина не раз чувствовала, что к ней он относится не так, как к остальным. Но он по-прежнему не выдавал себя ни каким-либо поступком, ни даже намеком.

Как-то раз Ирина направилась к тростниковым кабинам на пляже раньше обычного – в тот час, когда фон Гайер уплывал в море. Утро было тихое и свежее. Поблекшая листва, соленый запах моря, голубоватая дымка, заволакивающая берега залива, казались первыми признаками грядущей осени. Солнце словно потускнело и как-то устало освещало землю. На горизонте – там, где море соединялось с небом, – разлилась холодная акварельная синева.

На пляже еще никого не было. Ирина вошла в кабину и стала раздеваться, мысленно упрекая себя за свою медлительность и нерешительность. Время бежало, а она все еще ничего не предприняла с фон Гайером, словно ей не хватало смелости приобщиться к буйному празднеству жизни с ее радостями и треволнениями. Она надела плотно облегающий шелковый купальный костюм кирпично-красного цвета. Ирина не могла похвастаться модной хрупкостью Зары, но от ее стройного тела с крутыми бедрами и округлыми плечами веяло здоровьем и красотой. Золотисто-терракотовый цвет кожи придавал ей сходство с бронзовой статуей. Свои черные волосы, густые, отливающие металлическим блеском, она повязала красной лентой в тон купальному костюму.

Ирина растянулась на песке, надела темные очки и снова стала думать о своей жизни. Она не могла отделаться от мысли, что глупо вела себя по отношению к Борису как во время недавнего разговора на веранде, так и после. Не следовало его раздражать. Лучше было хорошенько обдумать, как его использовать. Вместе с любовью как будто распалось и прежнее «я» Ирины, умерло и ее прошлое. Сейчас это прошлое стало казаться ей давно прочитанным романом, а от его героев остались лишь расплывчатые и призрачные воспоминания, подобные воспоминаниям о далеком детстве. Робкая девушка, спешившая с замирающим сердцем на тайные свидания, исчезла. Замкнутая целомудренная весталка из храма науки сожгла себя, чтобы превратиться в любовницу, весьма неравнодушную к роскоши, деньгам, развлечениям и… конечно, к науке тоже; впрочем, наука была нужна ей уже только как поза и украшение, которым могли щеголять далеко не все женщины. Теперь будущее раскинулось перед нею, как сад, который ей предстояло пройти, срывая плоды со всех деревьев.

Она приподнялась на локте и всмотрелась в морскую даль. Темная точка, которую она видела еще из окна виллы, теперь приближалась к берегу. Скоро немец выйдет из воды. Ирина снова растянулась на песке и стала ждать.

Решено! Больше она не промедлит и не отступит, чтобы не чувствовать себя потом разбитой и униженной и не жаться в уголке, словно перепуганная мышь!.. Нет, только сейчас, казалось ей, для нее начинается настоящая жизнь, жизнь-игра, насыщенная восторгом лихорадочного напряжения. Фон Гайер нравился ей давно. Их флирт, в сущности, начался два года назад, но всегда оставался недовершенным и молчаливым, и от этого их еще неудержимее влекло друг к другу. То была не любовь, а, скорее, физическое влечение, к которому примешивались взаимопонимание и спокойное восхищение друг другом. Не настало ли время дать волю этому влечению и отмести то последнее, что еще удерживало ее при мысли о Борисе?… Но она тут же подумала, что тогда и Борис и фон Гайер перестанут ее ценить и она потеряет многие свои теперешние преимущества. Нет, лучше ей оставаться по-прежнему сдержанной и делать вид, что она все еще любит Бориса, которого на самом деле презирает. Тогда она сохранит свой текущий счет в банке. Только не в пример прошлому она теперь не станет так скупо расходовать эти деньги. Бережливая и скромная подруга потребует, чтобы выполнялись все ее прихоти, она покажет длинные, жадные когти расточительной содержанки.

Ирина приподнялась и еще раз посмотрела на море. Фон Гайер быстро плыл к берегу.

Немец выбрался на пляж, отряхнулся и после короткого колебания направился к Ирине. Ему казалось неудобным подойти и сесть рядом с нею – ведь на пляже они были одни. Но приветливая улыбка Ирины рассеяла его опасения, и он вновь почувствовал, как не раз чувствовал раньше, что нравится этой молодой женщине, чуть замкнутой и гораздо более порядочной, чем многие законные супруги. Ни внешность Ирины, ни ее манеры никак не вязались с его представлениями о любовницах богачей. Ирина была умна, и с ней можно было говорить обо всем, а таких женщин фон Гайер встречал очень редко, и ему никогда не доводилось быть с ними в близких отношениях.

– Вы собираетесь поплавать? – спросил он.

– Я совсем не умею плавать, – ответила Ирина.

Она говорила по-немецки медленно и правильно, как человек, который терпеливо изучал язык с преподавателем и по книгам. Но это-то как раз и нравилось фон Гайеру. Это свидетельствовало о ее методичности и дисциплинированности, а немцы ценят эти качества очень высоко. «Медицина подходит ей как нельзя лучше», – подумал он одобрительно. Сильно прихрамывая, он сходил в свою кабинку за портсигаром и зажигалкой.

– Можно закурить? – спросил он.

– Пожалуйста! – ответила Ирина, ничуть не удивленная его старомодной галантностью.

В Софии ничего не было слышно о его связях с женщинами. Он жил очень уединенно и был почти застенчив, кроме тех случаев, когда делал строгие внушения Лихтенфельду, диктовал правительству клиринговые соглашения или заключал сделки с «Никотианой». Таким он, наверное, был в молодости – суровым на службе и застенчивым с женщинами, которые ему нравились. Впрочем, Ирина была не совсем уверена в его застенчивости с женщинами. Скорей всего, они ему просто надоели.

– Дайте и мне сигарету, – попросила она.

Фон Гайер протянул ей никелированный портсигар, простой и удобный, без монограмм и других украшений, которыми был усеян серебряный портсигар Лихтенфельда. Портсигар казался под стать его владельцу. Фон Гайер был привлекателен внешне, но не отличался модной элегантностью. Он был невысокого роста, коренастый и широкоплечий, с подобранным животом и крепкими мускулами, игравшими под загорелой кожей оранжевого, как у большинства шатенов, оттенка. Одна нога у него была гораздо короче другой, но увечье придавало его облику что-то драматическое, сразу напоминая о боевом прошлом этого летчика эскадрильи истребителей Рихтгофена. Глаза у фон Гайера были суровые, цвета светлой стали.

Ирина закурила сигарету и села. Немец растянулся на песке рядом с ней, подперев голову рукой. Море по-прежнему было недвижно, как озеро. Прозрачная голубая дымка, окутывавшая берега залива, начала рассеиваться.

– Вы довольны своим отдыхом? – спросила Ирина.

– Трудно назвать это отдыхом, – возразил фон Гайер и усмехнулся.

– Почему?

– Отдыхать можно, только когда ты спокоен, а мы ждем войны и волнуемся.

– Но войны, может быть, удастся избежать!..

– О нет! – Немец спокойно вмял окурок в песок. – Война – вопрос дней.

– Судя по вашему виду, вы ничуть не волнуетесь, – сказала Ирина.

– Волнуюсь. – Фон Гайер опять усмехнулся, словно желая сказать, что если немцы и волнуются, то совсем не так, как другие люди. – Но мы не сомневаемся в своей победе.

Ирине показалось, что напыщенная самоуверенность, с какой были сказаны эти слова, никак не вяжется с уравновешенным характером немца.

– Если так, что же вас волнует? – спросила Ирина.

– Сама война!.. – Усмешка застыла на его лице, и Ирина поняла, что в этом смехе к гордости примешивается чувство горечи. – Да! – продолжал он. – Сама война!.. Так же волновались Нибелунги, когда Гаген фон Тронье сражался с сыном Кримгильды, так же волнуются и все те немцы, которые мыслят, воспитывают других людей и руководят ими, так волнуюсь и я… Весь мир считает это варварством, но мы знаем, что это чувство духа, который борется за свое воплощение… Вы ненавидите немцев? – вдруг спросил он.

– Никогда не задавала себе такого вопроса.

– Сейчас это самая модная тема!

– Я похожа на вас, – заметила Ирина. – Немножко старомодна… Но для того, чтобы любить немцев, надо или быть философом, или торговать табаком.

– Вы, бесспорно, философ.

– Не вполне!.. Не забывайте, что я живу в атмосфере табака.

– Ваше замечание мне нравится, – усмехнулся фон Гайер. – Табачная атмосфера мне тоже не по душе. Но как вы оцениваете некоторые события? В Софии студенты пытались выбить стекла в нашем посольстве. Какой-то ученик немецкой гимназии высмеял перед всем классом своего классного наставника. В колбасной один болгарин ударил немца по лицу…

– Это позиция среднего человека, – сказала Ирина.

– А вы ее одобряете?

– Нет! – Она усмехнулась. – Я стараюсь быть философом.

– И приходите к цинизму.

– Напротив! – Ирина рассмеялась. – Я пытаюсь рассуждать по-вашему. Вас волнует воплощение германского духа. В результате этого воплощения несколько тысяч человек воспользуются всеми материальными благами, а остальные превратятся в пушечное мясо. Но те, что погибнут, – это серые, тупые средние люди, которые по воскресеньям пьют пиво с сосисками и слушают духовой оркестр… Разве вы одобрите их позицию, если они откажутся умереть во имя воплощения германского духа?

Немец нахмурился.

– Вы становитесь откровенной, и мне это нравится, – серьезно заметил он. – Но вы превратно толкуете нашего лучшего философа.

– Я просто делаю объективные выводы из его философии.

– Тут-то вы и ошибаетесь!.. Ницше презирает толпу, но тем самым становится ее величайшим благодетелем. Он хочет отучить ее от сосисок, пива и духовых оркестров. Это основной мотив немецкой истории, философии и музыки!.. В этом и состоит великая миссия германского Духа.

– Боюсь, что вы слишком романтично ко всему относитесь и все приукрашиваете… Табачная атмосфера ищет себе оправдания в ваших словах. Ваша философия тем и удобна, что может оправдать все на свете. Но я в нее не верю!.. Пока германский дух будет осуществлять свою миссию, я предпочитаю оставаться средним человеком, который, правда, рассуждает цинично, но зато трезво и в свою пользу… И я буду отстаивать эту точку зрения во всех наших разговорах с вами.

Немец удивленно взглянул на нее светлыми, холодными, как сталь, глазами. Он хотел было ей возразить, но запнулся на полуслове. К ним приближался Костов.

В этот день на главного эксперта «Никотианы» все действовало удручающе – и передачи немецких радиостанций, и мрачные мысли о судьбах человечества, и зрелище, представшее перед ним на пляже. Сейчас он был одет в белые брюки и модный пиджак с короткими рукавами. Костюм не по возрасту, однако он шел Костову. Осторожно переступая, чтобы не набрать песку в ботинки фирмы «Саламандра» (самая изысканная модель сезона), он рассеянно кивнул Ирине и фон Гайеру и пошел раздеваться в одну из кабинок. Немного погодя он вышел оттуда в купальных трусах; их карминно-красные и ярко-синие полосы красиво гармонировали с цветом кожи его поджарого загорелого тела. Чтобы добиться столь эффектного сочетания цветов, Костов долго и усердно жарился на солнце, рискуя получить приступ грудной жабы.

Когда эксперт уже выходил из кабинки, на дорожке, ведущей к вилле, показались Зара и Лихтенфельд в компании отдыхающих. Нарядные пижамы и светлые летние платья сливались в пестрый букет. На пляже компания чинно разошлась по кабинкам, словно стая важных павлинов, распустивших хвост веером. Но сегодня павлины рисовались не так усердно, как обычно. Быть может, на них повлияли известия, переданные по радио, а может быть – конец сезона, усталость от флиртов и первое холодное дыхание осени. Ласковые лучи солнца, тишина и спокойная гладь моря навевали грусть. Словно что-то незримое навсегда уходило вместе с летом. Одиноко замирал смех женщин, мужчины нервно затягивались дымом и не изощрялись в остроумии. Пожилые господа негромко вели серьезные разговоры. Молодые люди обсуждали, как им избавиться от военной службы и дополнительных лагерных сборов. Все они, как и главный эксперт, накануне до поздней ночи слушали передачи европейских радиостанций, а с утра снова сидели у радиоприемников, жадно просмотрели утренние газеты и теперь говорили о последних событиях. Одни опасались за свою ренту, другие с азартом выискивали возможности увеличить прибыли. Мир на земле еще агонизировал. Предпринимались последние лицемерные и заведомо безнадежные попытки его спасти: Гендерсон снова вылетел в Лондон. Быть может, в последнюю минуту случится чудо, и немецкое безумие, отвернувшись от Запада, ринется на Восток.

Занятый невеселыми мыслями, эксперт сел недалеко от Ирины и фон Гайера. Конец всему!.. Мир катился к гибели, роскошь, покой, космополитическое бытие готовы были рухнуть в суматохе страшной войны, за которой не видно было ничего. Взгляд Костова рассеянно скользнул по толпе. Подходили все новые и новые люди, пляж становился оживленнее, солнце начинало припекать, С моря доносились всплески воды, смех и шутки.

Некоторые купальщики были в приподнятом настроении; они горячо спорили и превозносили бронированный кулак, нарушивший спокойствие Европы. По крикливым голосам и убогим доводам сразу можно было узнать выскочек, разбогатевших на вывозе яиц, бекона, фруктов и табака. Эксперт чувствовал себя оскорбленным этими людьми, которые множились, как поганки, и нагло заполняли все модные курорты.

Он повернулся к Ирине и фон Гайеру, словно ища у них поддержки. Но, охваченный почти враждебным чувством, он нарочно сел метрах в двух от них и теперь не мог сразу вмешаться в их беседу. Они, как видно, были увлечены разговором, и Костова это раздражало. Значит, и эта женщина задета распадом того мира, от которого хочет остаться независимой. Эксперт попытался угадать, заняты ли собеседники торговой сделкой или же к деловым переговорам примешались чувства, не оскверненные деньгами. Но Ирина и немец говорили очень тихо, и он ничего не мог расслышать.

– Что нового? – громко спросила его Ирина.

– Немецкие станции трубят марши и предупреждают, что передадут важное сообщение, – ответил Костов с досадой.

– Когда именно?

– Может быть, в полдень. Точно не говорят.

– Ультиматум Польше, – небрежно заметил фон Гайер.

– Может быть, поляки примут ультиматум, – сказала Ирина.

– Вряд ли, – отозвался фон Гайер.

Немец устремил свои светло-серые глаза на море. Далеко на горизонте цепочкой плыли миноносцы – крохотный болгарский флот. Казалось, он тоже вышел на военную демонстрацию и, словно маленький безобидный зверек, показывал зубы, выражая преданность своему будущему союзнику.

– Но это война!.. – воскликнула Ирина.

– Война неизбежна, – отозвался немец.

Костов попытался разведать, как далеко зашли их отношения.

– Вечером в городе симфонический концерт, – заявил он таким тоном, словно немецкий ультиматум больше не заслуживал внимания. – Я закажу днем билеты.

– Я не пойду, – сказал немец.

Его отказ был в порядке вещей, фон Гайер не посещал никаких зрелищ.

– Л вы? – обратился Костов к Ирине.

– Я тоже не пойду, – поспешно ответила она. – Надо переписать кое-что на машинке.

Костов мрачно усмехнулся. Он знал, что Ирина уже переписала свою статью о кала-азаре.

– Я так и думал, – мрачно проговорил он по-болгарски.

Ирину его слова задели за живое.

– Вы уже три дня собираетесь на этот концерт! – ехидно заметила она. – Наверное, узнали, что будет присутствовать царь.

– Я не знаю, будет ли он присутствовать, – сердито отозвался эксперт. – Но вы должны благодарить нас, снобов… Я мог бы остаться и помешать вам.

– Вы совсем не опасны.

– Значит, колесо завертелось вовсю?

– Даже трудно было ожидать, что оно завертится так быстро!

Костова передернуло. Он закурил сигарету, но тут же воткнул ее в песок. Это была уже десятая сигарета с утра, а ему было запрещено курить. Фон Гайер плохо понимал по-болгарски, но бдительно прислушивался к колкому разговору.

– Всюду война! – заметил он с неуклюжим немецким юмором, когда Костов и Ирина умолкли.

– Вы правы!.. – подтвердила Ирина. – Табачная атмосфера отравляет все вокруг.

Эксперт посмотрел на них с удивлением. Он еще не остыл и хотел было снова начать атаку, но этому помешал приход Зары и Лихтенфельда. Их встретили с неудовольствием. Ирина собралась уходить. Барон потягивался па песке, подставляя солнцу свое тощее и не очень ладное тело (ноги у пего были слишком длинные, а бедра плоские), а Зара стояла выпрямившись, чтобы поразить публику новым купальным костюмом. Покрасовавшись и пощебетав на трех европейских языках (чтобы все узнали, как бегло она говорит на них), Зара уселась на песке между фон Гайером и Лихтенфельдом. У нее была тонкая фигурка, на ногах – педикюр, голова обмотана желтым шарфом в виде тюрбана, а смуглое бедуинское лицо еще сохраняло девическую свежесть. Только глаза уже глядели по-другому – их изменили и годы, и нарастающее отвращение к мужчинам. Прежнее их выражение невинного и какого-то трагического легкомыслия уступило место насмешливому цинизму и расчетливой, самоуверенной наглости. Зара уже скопила себе приличное состояние за счет своих прежних любовников, но тем не менее выжимала из Лихтенфельда все, что только могла. Барону все чаще приходилось брать авансы под свое огромное жалованье в Германском папиросном концерне и занимать у Прайбиша. Теперь Зара мастерски умела выкачивать деньги из мужчин, но тем не менее вырвать у этого тупицы Лихтенфельда сразу крупный куш ей все еще не удавалось. Барон давно опротивел ей до тошноты, но с ним поневоле приходилось поддерживать отношения, чтобы не потерять доверия немецкой разведки, от которой Зара тоже получала деньги.

Фон Гайера Зара раздражала, как надоедливая муха. Лихтенфельд, который не упускал случая поухаживать за каждой красивой женщиной, поспешил расположиться на свободном пространстве между Ириной и Костовым. Он в двадцатый раз предложил Ирине поучить ее плавать, но она отказалась. Барон лишний раз убедился, что женщина эта – неприступная крепость. Она стоила денег, больших денег!.. А у Лихтенфельда денег не было. Горькое сознание своей бедности примешивалось к скверному настроению, в которое он пришел с самого утра. Он тоже почти всю ночь слушал немецкое радио и теперь ходил злой и расстроенный тем, что какой-то презренный австрийский ефрейтор распоряжается восемьюдесятью миллионами немцев, и в том числе не кем иным, как самим Эбергардтом фон Лихтенфельдом.

Пока барон изощрялся перед Ириной в умении развлекать женщин, Зара наклонила к фон Гайеру свою бедуинскую голову и с таинственным видом принялась рассказывать ему о новейших слухах, циркулирующих среди про-английски настроенных обитателей вилл. Приукрашенные воображением Зары, эти слухи поражали своей нелепостью. Немец досадливым жестом оборвал ее болтовню.

Ему стало стыдно за немецкую разведку, которая не брезгала услугами Зары, но что он мог поделать? Во главе разведки в Софии стоял обыкновенный полицейский болван, который лишь при поддержке знакомого провинциального обергруппенфюрера поднялся до дипломатического поста.

Немного погодя Ирина поднялась и пошла к кабинке одеваться. Лихтенфельд с Зарой стали купаться, а Костов сел поближе к фон Гайеру.

– Что, в сущности, представляет собой эта женщина? – спросил немец, когда Ирина ушла.

– Она содержанка господина Морева, – хмуро ответил эксперт.

– Но не в вульгарном смысле этого слова, не правда ли?

– Конечно, нет!.. Господин Морев вообще очепь бесцеремонно обращается с женщинами и не раз обманывал и разочаровывал ее. Они накануне разрыва.

– Вот как?… – насмешливо проговорил немец. – И это ее огорчает?

– Да. Она вам жаловалась?

– Скорее, рисовалась.

– Иной раз рисуются, чтобы сохранить свое достоинство.

– Жаль!.. – рассеянно обронил фон Гайер. – Так, значит, они разойдутся?

– Я в этом не уверен. В известном отношении они не могут обойтись друг без друга.

– Если они разойдутся, мы лишимся искусного игрока в бридж.

В голосе немца звучало искреннее сожаление.

– Да, – грустно подтвердил Костов. – Если только не подыщем какой-нибудь почтенный источник дохода, который помог бы ей остаться в нашей среде.

– Например? – осведомился фон Гайер.

– Например, комиссионные.

Моложавое лицо фон Гайера не дрогнуло, но у глаз его собрались мелкие морщинки холодного беззвучного смеха.

– Об этом надо будет подумать, – сказал он.

– В отношениях с ней нельзя руководствоваться своими прихотями, – добавил эксперт.

Немец загляделся на морскую лазурь, словно обдумывая что-то, и после недолгого молчания проговорил с улыбкой:

– Не слишком ли вы щепетильны по отношению к женщинам?

– Нет, – почти грубо ответил Костов.

– Хорошо! Что-нибудь устроим. – Фон Гайер снова усмехнулся. – Но разумеется, комиссионные – за счет продавца… Я не имею права вводить в расходы концерн ради приятных мне партнеров в бридж.

Костов молча кивнул. Немец бесстрастно постучал сигаретой по крышке своего простого никелированного портсигара.

– Знаете что? – сказал он немного погодя таким тоном, словно разговор об Ирине не оставил никакого следа в его душе. – Вчера вечером я сообщил вашему шефу, что некоторые обстоятельства вынуждают концерн сократить поставки «Никотианы».

– Я с вечера не виделся с шефом, – сухо отозвался эксперт.

– Интересы болгарской экономики требуют распределения части поставок между более мелкими фирмами, – невозмутимо продолжал фон Гайер.

– Да, – согласился эксперт.

А сам подумал: «Значит, вы уже начали заботиться и о болгарской экономике».

– Мы хотим включить болгарскую экономику в нашу программу социального переустройства Европы.

– Этого следовало ожидать, – уныло пробормотал эксперт. (И тут же сказал себе: «Никотиана» мешает концерну еще больше сбить цены».)

– Вам это, вероятно, кажется странным… – заметил фон Гайер.

– Объективно говоря – нет. («Не настолько мы глупы!»)

– До сих пор отношения у нас были самые лучшие. («Концерн предоставил вам почти монопольное право торговать с Германией и получать огромные прибыли».)

– Этого нельзя отрицать, – отозвался эксперт. («А вы сами разве мало заработали?»)

– Надеюсь, отношения эти не испортятся и в будущем. («Однако теперь мы начнем крепче стягивать петлю на шее «Никотианы»!»)

– Я тоже надеюсь. («Но ваша веревка может лопнуть».)

– Хорошо… – В голосе немца звучал дерзкий, почти неприкрытый цинизм. – Я очень рад, что ваш шеф показал себя патриотом в этом вопросе. («Концерн не потерпит монопольного предприятия в Болгарии, а потому «Никотиану» надо постепенно задушить».)

– Мой шеф – исключительно умный человек. («Концерн не успеет задушить «Никотиану», потому что ваш свихнувшийся фюрер еще раньше столкнет Германию в пропасть».)

– И я убедился в этом. Ваш шеф сознает, что судьба болгарского народа связана с успехами нашего оружия. («Мы начинаем тяжелую войну. Несмотря на пакт, положение на Востоке продолжает оставаться неопределенным».)

– Бесспорно!.. («Идиоты!.. Зачем же вы тогда ее начинаете?»)

Собеседники замолчали и переглянулись с затаенной неприязнью. Они уважали друг друга, были даже приятны один другому, но сейчас речь шла о табаке, и все человеческое отступало на второй план. Двойной разговор их окончился, но у каждого мысли бежали своей чередой, теряясь во мраке, тревоге и неизвестности.

Фон Гайер медленно поднялся.

– Мне пора, – сказал он. – Сегодня я долго был на солнце.

Он вежливо попрощался с Костовым и направился в свою кабинку одеваться. Немного погодя эксперт увидел, как он, сильно прихрамывая, поднимается по тропинке, ведущей к виллам. Костов подумал, что, несмотря на свое превосходное воспитание, немец держится надменно и нестерпимо дерзко. Он принял приглашение погостить у Бориса на берегу моря и вместо благодарности отплатил хозяину виллы новостью о сокращении поставок. Костов горько усмехнулся, признав, однако, что немец по-своему прав. На циничное раболепие он отвечал циничной наглостью. К этому его приучили греческие и турецкие табачные вассалы.

Эксперт растянулся на песке и закрыл глаза. Мир, в котором он жил, снова показался ему безнадежно прогнившим и обреченным на гибель. Его перестал волновать даже образ Ирины. Она походила на красивую, но запачканную розу, упавшую в грязь всеобщего растления. Холодная печаль охватила Костова, и он попытался забыться, вслушиваясь в плеск волн.

А в это время фон Гайер шел по тропинке, ведущей к вилле, и, как всегда, когда бывал один, предавался грустным мечтам о величии германского духа. В ушах его звучал хор философов, с пафосом декламирующий поэму о воплощении этого духа, а неземные звуки музыки Вагнера подхватывали слова хора и уносили их в бесконечность пространства и времени. Но в то время как хор предрекал победу, в одухотворенной музыке, перед которой бледнела человеческая мысль, звучали мрачные диссонансы – то зловеще гремело проклятие судьбы. Немец шагал, хромая и волнуясь, и все прибавлял шагу, сам не зная почему. Внезапно он остановился. Ему показалось вдруг, что в тишине солнечного дня, в мертвенной неподвижности моря, в выжженной солнцем траве, в пробегающих по камням ящерицах таится что-то страшное. То было враждебное сопротивление материи, которая отказывалась следовать за полетом духа. Даже его собственное тело, уставшее и вспотевшее от быстрой ходьбы по жаре, как будто отказывалось повиноваться ему. Но он взял себя в руки и, отбросив неприятные мысли о материи, продолжал свой путь. Снова в его сознании зазвучали хор философов и музыка Вагнера, но мрачные диссонансы, предвещавшие возмездие судьбы, уже не слышались. В этот миг немец приветствовал войну и жаждал ее, как в дни молодости, как двадцать пять лет назад, когда в такой же вот скованный унылым затишьем летний день он впервые вылетел на своем истребителе разить врага. Приближающиеся раскаты войны звучали в его ушах и пробуждали в душе какое-то древнее, атавистическое возбуждение. До начала войны оставались дни, может быть – часы…

К пяти часам вечера все снова собрались у радиоприемника в столовой, ожидая, что немецкие станции передадут обещанное утром сообщение.

Костов нервно крутил ручки настройки, ловя новости со всего мира. Тучи все более сгущались, известия час от часу становились все тревожней, события неслись стремительно, как лавина, которую уже ничто не в силах остановить. Французские и английские станции сообщали о ходе всеобщей мобилизации. Москва продолжала осуждать войну и бесстрастно комментировала германо-советский пакт. Папа составлял слащавые энциклики, ратующие за мир, и, подобно Пилату, старался заранее умыть руки и отречься от злодеяния, в котором сам был замешан. Американское правительство призывало своих подданных покинуть пределы Германии. Радиостанции Берлина и Гамбурга в перерывах между военными маршами описывали зверства поляков, якобы угнетающих немецкое меньшинство. Но даже фон Гайер и Лихтенфельд не верили этим описаниям. Все они были на один лад, и по ним можно было заключить, что поляки просто решили покончить с собой и сделать все возможное, чтобы обрушить на свою голову немецкие бомбы. Сообщения то прерывались, то набегали одно на другое, сливаясь в угрожающий грохот бури, переходившей из эфира в сознание миллионов встревоженных людей. Наконец эксперт переключился на волну Софии, передававшей танцевальную музыку, и устало поднялся со стула. Его место тотчас же занял Лихтенфельд.

– Эбергардт, дай отдохнуть немного!.. – взмолилась Зара. – Послушаем танцевальную музыку.

Но Эбергардт только взглянул на нее исподлобья косыми глазами и снова принялся искать в эфире немецкие станции. Неожиданно Берлинское радио передало странное известие: Гендерсона встретили в рейхсканцелярии с воинскими почестями. Собравшиеся в столовой обратились в слух. Сквозь тучи блеснул слабый луч надежды на сохранение мира. Все зашевелились, стряхивая с себя оцепенение, с которым слушали радио. Немного погодя диктор объявил, что важное сообщение откладывается на завтра. Союзники Польши предпринимали последнюю попытку повернуть Гитлера на Восток. В столовой все повеселели. Даже Костов поддался общему оптимистическому настроению.

– Пойдем на концерт? – спросил он, держа в руках билеты, которые Виктор Ефимович только что привез из города.

– Конечно! – ответила Зара за себя и за Лихтенфельда.

Борис тоже согласился, а Ирина и фон Гайер снова отказались.

– В таком случае нам надо будет отужинать пораньше, – сказал Костов. – Концерт начинается в девять часов.

Зара устремила на Ирину свои темные глаза.

– А вам не будет скучно одной? – озабоченно спросила она.

– Нет, – ответила Ирина. – Фон Гайер остается здесь.

После ужина Ирина ушла в свою комнату, села у открытого окна и закурила сигарету. Синеватый вечерний сумрак медленно сгущался, поглощая очертания берега, виноградников и соседних вилл. В саду стрекотали цикады, но теперь, в конце лета, от песни их веяло тоской и одиночеством. С суши тянул прохладный ветерок, а поверхность моря мерцала фосфорическим светом. Охотничья собака Лихтенфельда, для которой вызванный из города столяр сделал специальную конуру, жалобно выла. В тишине вечера этот вой звучал зловеще, и, охваченный суеверным страхом, барон старался успокоить собаку ласковыми словами. В визгливом голосе немца слышались растерянность и огорчение, и все это было так комично, что Ирина не могла удержаться от смеха.

Костов вывел машину из гаража, не переставая бранить Виктора Ефимовича за какое-то мелкое упущение, потом сел за руль и начал подавать продолжительные сигналы. Барону удалось наконец успокоить собаку, и он сел в машину. Эксперт продолжал нервно сигналить, но Борис и Зара все не появлялись. Наконец они вместе вышли из парадного подъезда с какими-то виноватыми лицами. Ирина равнодушно подумала, что Зара с успехом может ее заменить в спальне Бориса, но что ему не будет никакой пользы от нее в отношениях с фон Гайером. Костов завел мотор, и машина с глухим дребезжанием скрылась во мраке. Виктор Ефимович закрыл за нею железные ворота. Наступила тишина. Ирину внезапно охватило ощущение одиночества и пустоты, словно в этот – только в этот – вечер закончился ее долгий роман с Борисом. Она вздрогнула от тихого стука в дверь. Послышался сиплый голос Виктора Ефимовича:

– Господин фон Гайер просит вас выйти на веранду.

– Сейчас приду, – ответила Ирина.

Она зажгла лампу, поправила прическу и подкрасила губы. Проделывая все это, Ирина испытывала какой-то неясный стыд, который ее глубоко уязвил. Она вдруг поняла, что прихорашиваться ее побуждает сейчас не врожденное женское кокетство, но обдуманный расчет женщины, которой *необходимо* понравиться. Это мгновенно убило в ней волнение, вызванное вниманием немца. Ирина почувствовала себя слабой и беспомощной. Ее угнетало сознание, что ей предстоит совершить низкий и гнусный поступок, который запятнает ее на всю жизнь. Неужели действительно необходимо так поступить?… Теперь пришла пора действовать, но жесткая и циничная ясность размышлений Ирины на пляже внезапно потонула в стыде и отвращении. Неужели она не может отказаться от роскоши и мотовства, неужели она не может существовать, не продаваясь? Живут же своим трудом сотни врачей в Болгарии, живут пусть скромно, но в достатке, пользуясь всеобщим уважением. Зачем ей превращать флирт в сделку, а искреннее влечение к фон Гайеру разменивать на деньги и прочие блага? Нет, она ни слова не вымолвит о мерзком табаке «Никотианы», который отравляет все вокруг!..

Фон Гайер потушил настольную лампу с абажуром, которую Виктор Ефимович выносил по вечерам на террасу. Ирина разглядела только рдеющий кончик сигареты и ощупью пошла на красный огонек.

– Хотите, я зажгу свет? – спросил немец.

– Мне все равно, – ответила она.

– Тогда лучше не зажигать, – равнодушно промолвил фон Гайер. – Здесь много комаров.

Ирина понемногу освоилась с темнотой и села рядом с ним в плетеное кресло. Вечерний холодок заставил фон Гайера надеть шерстяной свитер с длинными рукавами. От тела его исходил легкий приятный аромат мыла. Ирина рассталась с немцем, когда он сидел у радиоприемника, и теперь спросила, что нового.

– Немецкие дивизии уже вступают в Польшу, – спокойно ответил он. – Я только что разговаривал по телефону с посольством.

– Значит, война началась?

– Да, началась.

– А чем она кончится?

Фон Гайер медлил с ответом. В рассеянном свете луны, еще не поднявшейся над горизонтом, его лицо казалось нервным и мрачным.

– Германия победит, – сказал он. Но в голосе его слышался отголосок глубоких сомнений, и слова звучали неубедительно. – Разве вы в этом сомневаетесь? – спросил он внезапно.

– Просто я думаю о своей родине.

– Ах, да!.. – Немец вспомнил о существовании маленького народа, считавшегося союзником Германии. – Мы будем брать у вас только продовольствие, табак и рабочие руки… На вашу долю выпадет лишь совсем малая часть всех тягот войны. – Он умолк, словно обдумывая, как лучше выразить то, что ему надо было сказать, и продолжал все тем же нервным тоном: – Вот, например, предстоит новое снижение цен на табак… А вчера вечером я предупредил господина Морева, что концерн сократит свои закупки у «Никотианы». Решение это исходит от меня. По моему мнению, прибыли от табака следует распределить равномерно между всеми болгарскими фирмами. Вы слышали об этом?

– Да, – промолвила Ирина. – Но я попросила бы вас не говорить сейчас о табаке!

– Почему? – с удивлением спросил фон Гайер, и голос его прозвучал немного насмешливо.

– Этот разговор мне неприятен.

– А я хочу сделать его приятным!.. – Из груди бывшего летчика вырвался беззвучный нерадостный смех. – Я могу изменить свое решение.

Наступило короткое, напряженное молчание. Где-то в саду одинокий кузнечик никак не мог кончить свою песню, тихо шелестела на деревьях листва. Из-за моря поднялась луна и залила веранду печальным, мертвенным светом. Ирина пристально всмотрелась в лицо фон Гайера и прочла на нем недоверие, циничную немую насмешку, готовность выслушать любую ложь. То было разочарованное лицо пресыщенного мужчины, который имел много любовниц и был не прочь завести еще одну. Как и у всех, кто жил в мире «Никотианы» и Германского папиросного концерна, оно было мертво, отравлено табаком. Бодрящее приятное волнение, которое всегда овладевало Ириной в присутствии фон Гайера, теперь улеглось, и в этом тоже был повинен табак. И тогда она поняла, что ей остается только уйти с веранды.

– Спокойной ночи, Herr Hauptmann! – сказала она и быстро поднялась. – Вам незачем менять свое решение.

– Куда вы? – спросил неприятно удивленный фон Гайер.

– Спать, – ответила Ирина.

– Останьтесь, докончим разговор.

– Нет, – возразила она. – Если я останусь, мы окончательно испортим этот вечер.

Немец снова рассмеялся холодным, безрадостным смехом. Но вдруг он встал и схватил ее за плечи.

– Садитесь!.. – приказал он.

Ирина вздрогнула, когда к ней прикоснулись сильные руки, но стала упорно сопротивляться. И тут же почувствовала, что эти руки сжали ее как в тисках и она не в силах вырваться. Она услышала тонкий аромат мыла и запах здорового чистого мужского тела (немец каждое утро плавал и делал гимнастику, а зимой обтирался снегом). На мгновение ее обуяло желание отдаться этому мужчине, ответить ему таким же объятием. Но это была лишь вспышка животного инстинкта, а то душевное влечение, которое она испытывала раньше, исчезло. Она сознавала только, что какой-то дерзкий мужчина обнял ее, и равнодушно, с досадой ждала, когда же он ее отпустит. Поведение немца казалось ей слащавым и смешным, как скверно разыгранная сцена в спектакле.

– Я могу разорить ваш концерн! – сказала она.

– Я бы пошел даже на это.

– Вам совсем не идет притворяться легкомысленным. – Она рассмеялась и добавила: – Пустите меня, Herr Generaldirector.51

Фон Гайер разжал руки.

– Почему вы называете меня Herr Generaldirector? – резко спросил он.

– Чтобы не называть вас Herr Hauptmann.

– Вот как?… – Немец говорил хриплым голосом и как будто утратил прежнюю самоуверенность. – А какая между ними разница?

– Та, которую мне следовало бы предугадать.

У бывшего летчика вырвалось глухое восклицание, как будто его больно ударили. Он неожиданно выпустил Ирину и бросился в кресло.

– Хорошо сказано, – прохрипел он. – Вы попали не в бровь, а в глаз!.. Впрочем, от вас этого и надо было ждать.

Фон Гайер рассмеялся резким, нервным смехом и схватился за голову, но в этом движении не было ничего фальшивого или смешного. Он крепко пригладил обеими ладонями свои каштановые, тронутые сединой, аккуратно причесанные волосы. Луна уже высоко поднялась над морем, так что Ирина хорошо видела его лицо и торс, обтянутый свитером.

– Итак – Generaldirector! – продолжал он все тем же хриплым голосом. – Богатый, нахальный, ожиревший и противный – верно?

– Нет!.. – сказала с улыбкой Ирина. – Во всяком случае, не жирный и не противный.

И затем добавила:

– Спокойной ночи.

– Спокойной ночи, – откликнулся немец.

На следующий день Ирина уехала в Софию. Она попрощалась только с Борисом, который разбирал бумаги у себя в комнате. Сложившиеся обстоятельства и стремление сохранить хотя бы остатки собственного достоинства заставили ее пойти на примирение. Она позволила Борису поцеловать себя и равнодушно пожала ему руку на прощание. Зара и немцы еще спали, а Костов ждал ее в машине у подъезда.

– Не думаю, чтобы вы были довольны своим поступком, – мрачно пробурчал эксперт, когда они выехали на шоссе, ведущее к вокзалу.

– Каким поступком? – спросила Ирина.

– Вчера вечером после концерта я допоздна разговаривал с фон Гайером.

– Вот как? – проговорила Ирина. – Значит, не смогли обуздать свое любопытство?

– Теперь вы уже не возбуждаете во мне ни малейшего любопытства, – со злостью отозвался эксперт. – Фон Гайер сидел на веранде и позвал меня. Похоже, что ему не спалось и что разные волнения отогнали от него сон. Он сказал мне, что не будет сокращать поставки «Никотианы» в течение будущего года.

– И вы сделали из этого соответствующие выводы?

Ирина бросила на него лукавый взгляд. Она подумала, что этот человек действительно жестоко страдает от ее поступков. Его красивое, поблекшее с годами лицо внушало симпатию, но во всех его привычках и в пристрастии к франтовству было что-то чудаковатое, что делало его смешным. Ирина решила, что табак в какой-то мере отравил и Костова.

Он сказал:

– Для меня важно не как это случилось, а ради чего это случилось.

– Вот на этот вопрос я не могу вам ответить точно… Могло случиться многое, но не случилось ничего. А если бы и случилось, мои мотивы могли бы быть самыми разнообразными. Теперь вы довольны?… Можете больше не волноваться из-за моего поведения.

Эксперт ничего не ответил. Гнетущие мысли снова овладели им. Значит, Ирина уже не борется с течением жизни, не пытается ему противостоять. Костову показалось, что Ирина сама отрезала себе путь к спасению. Он взглянул на нее, надеясь увидеть в ее чертах знакомое выражение чистоты, которое отличало ее от стольких других женщин, но не увидел его. Теперь перед ним было лицо женщины-стяжательницы – напряженное, с обострившимися чертами, неприятное своей непоколебимой самоуверенностью. Теперь это было лицо Зары. Мир табака превратил Ирину в Зару. Нежность и теплота навсегда слетели с ее лица. И тогда Костов отчетливо понял, что она останется любовницей Бориса, но уже расчетливой, неверной и, возможно, такой же подлой, как и все женщины, торгующие своей любовью.

Они ехали по улицам города. Утро было свежее и прохладное, синева неба казалась размытой, полинявшей, мглистой. По светлым асфальтированным улицам, заботливо политым ночью, к купальням, как всегда, стекались потоки загорелых отдыхающих в белых костюмах и темных очках. Но сейчас эти потоки были уже не такими шумными и жизнерадостными, как раньше. Люди останавливались, покупали газеты, волнуясь, разворачивали их и прочитывали заголовки последних известий. Потом медленно и озабоченно продолжали свой путь, собираясь дочитать газеты на пляже. Мальчишки-газетчики кричали о первых бомбардировках Варшавы. Все говорили возбужденным тоном, и даже гудки автомобилей звучали тревожно. Смутное волнение обуревало всех и вся. Только солнце и море, которым не было дела до людских тревог, сияли все так же тихо, спокойно и ослепительно.

Костов остановил машину у входа на вокзал и вместе с Ириной вышел на перрон. Вагоны были переполнены курортниками, возвращавшимися в Софию. С большим трудом эксперт нашел для Ирины место в купе первого класса, где уже расположилось многочисленное немецкое семейство. Двое краснощеких загорелых мальчишек в тирольских штанишках и со свастикой на рубашках уплетали за обе щеки бутерброды с ветчиной. Девочка-подросток лет пятнадцати – наверное, их сестра – с важным видом возилась с фотоаппаратом. Отец читал болгарскую газету и время от времени поглядывал в окно – как видно, новости не очень его волновали. Он был представителем торговой фирмы в Софии и не боялся, что его пошлют на фронт: для этой цели давно были подготовлены огромные стада горячей и неистовой гитлеровской молодежи. Мать, преждевременно увядшая от частых родов, спокойно и властно утихомиривала мальчишек. Когда Ирина вошла в купе, все учтиво, но равнодушно подвинулись, чтобы дать ей место. Благоденствующее немецкое семейство, расплодившееся на болгарских хлебах, относилось к войне гораздо спокойнее, нежели болгары.

До отправления поезда оставалось еще десять минут, и Ирина вышла на перрон, чтобы поболтать с Костовым, но разговор не клеился. Что-то невидимое лишило его прежней сердечности. Ирина попыталась ее вернуть.

– Простите меня, пожалуйста, – сказала она. – В последнее время я была с вами слишком резка. Вы знаете почему.

– Никогда больше не буду вмешиваться в ваши дела, – равнодушно отозвался эксперт.

– Вы вмешивались с самыми лучшими намерениями… Теперь я знаю, как мне устроить свою жизнь, и надеюсь, что стану более спокойной.

– Рад за вас, – проговорил он, но про себя подумал: «Да, жизнь свою ты устроишь превосходно, потому что теперь ты начала торговать». И тут Костов вспомнил, что в этот день он обычно подстригается и что одна знакомая пухленькая дамочка пригласила его поиграть в теннис после обеда.

Кондуктор попросил пассажиров занять места. Поезд тронулся. Эксперт медленно побрел к выходу с перрона. Как только он сел в машину, его охватило тошнотворное чувство серой, невыносимой скуки. Ему захотелось разогнать машину и с полного хода бросить ее в пропасть там, где шоссе вилось по краю отвесного скалистого морского берега. Но он знал, что немного погодя желание это пройдет, как бывало не раз. Машину он повел к парикмахерской, в которой обычно подстригался.

День прошел, и настал вечер; мировые события развивались своим чередом. Немецкие самолеты осыпали бомбами Варшаву, танковые колонны врезались в огромные массы кавалерии. Падали бомбардировщики, сбитые зенитной артиллерией, горели города, гремели взрывы, гибли обезумевшие от ужаса женщины и дети.

По софийским улицам маршировали польские юноши, которые провели лето в Болгарии и возвращались на родину, чтобы вступить в армию. Юноши пели, а прохожие провожали их рукоплесканиями.

Сидя в вагоне, Ирина размышляла о том, как глупо было с ее стороны ссориться с Борисом и отказываться от его подарков – квартиры и маленького спортивного автомобиля. Зара и Лихтенфельд танцевали румбу в морском казино. Борис, запершись в своей комнате, обдумывал очередные торговые сделки, а Костов лениво ухаживал за пухленькой дамочкой, с которой днем играл в теннис.

Фон Гайер сидел на веранде и думал о гравюре Дюрера, изображавшей рыцаря, собаку, дьявола и смерть. Он не мог отделаться от навязчивой мысли, что дьявол этот олицетворяет немецкие концерны, рыцарь – зло, а собака – глупость.

В ту ночь уцелевшие после разгрома стачки табачников коммунисты из города X. собрались на тайное совещание, чтобы обсудить последние директивы Центрального Комитета.